АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XI

4

~~ИЮЛЬ~~ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1962

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, И. А. Бакаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *А. И. Ефимов*, *И. И. Конрад* (зам. главного редактора), *М. В. Панов, Г. Д. Санжеев*, *Б. А. Серебренников, И. И. Толстой* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. С. Чикобава*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

Технический редактор *Д. А. Фрейман-Крупенецкий*

Т-09306 Подписано к печати 18.7.1962 Тираж 5750 экз. Зак. 707
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Печ. л. 13,7 Бум. л. 5 Уч.-изд. листов 17,4

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

СОДЕРЖАНИЕ

К изучению состояния и развития национальных литературных языков народов Советского Союза 3
С. Роспонд (Вроцлав). Перспективы развития славянской ономастики . 9
И. Казлаускас (Вильнюс). К развитию общебалтийской системы гласных 20

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М. М. Гухман (Москва). Понятие системы в синхронии и диахронии . . . 25
А. А. Уфимцева (Москва). К вопросу о лексико-семантической системе языка 36
Р. Б. Лиз (Урбана, США). О возможностях проверки лингвистических положений 47
Об общеславянском лингвистическом атласе 56

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. С. Соколова (Москва). О некоторых сигналах границы слов в современном французском языке 66
М. Я. Блох (Москва). К понятию рамочной конструкции предложения . . 72
М. Д. Боголюбов (Ленинград). О происхождении рамочной конструкции в немецком языке 77
Л. В. Бондарко и Л. Р. Зиндер (Ленинград). Фонетическая характеристика различных типов синтаксических сочетаний в нивхском языке 84

КОНСУЛЬТАЦИИ

Ю. К. Лекомцев (Москва). Основные положения глоссематики 90

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Арн. Чикобава (Тбилиси). К вопросу о первых текстовых записях по горским иберийско-кавказским языкам 98

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

А. Хилл (Остин, США). О грамматической отмеченности предложений . . 104
Н. Хомский (Кембридж, США). Несколько методологических замечаний о порождающей грамматике 110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Г. С. Клычков (Москва). Развитие диахронической фонологии за последние годы (обзор литературы) 123

Рецензии

Ю. Я. Глазов (Москва). *Н. М. Hoenigswald.* Language change and linguistic reconstruction 129
Л. Э. Калнынь (Москва). *И. Леков.* Насоки в развоя на фонологичните системи на славянските езици 133
К. Е. Майтинская (Москва). «A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan» 138
А. А. Реформатский (Москва). Об одном издании Комитета технической терминологии АН СССР 142
Я. М. Боровский (Ленинград). Труды I и II конгрессов живой латыни 145

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 149

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

К ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1

В принятой на XXII съезде КПСС «Программе Коммунистической партии Советского Союза» констатируется, что «стирание национальных различий, в особенности языковых различий,— значительно более длительный процесс, чем стирание классовых граней». Одна из важных задач строительства коммунистического общества —«обеспечивать и в дальнейшем свободное развитие языков народов СССР, полную свободу для каждого гражданина СССР говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке, не допуская никаких привилегий, ограничений или принуждений в употреблении тех или иных языков. В условиях братской дружбы и взаимного доверия народов национальные языки развиваются на основе равноправия и взаимообогащения».

Современное состояние языков братских народов СССР характеризуется очевидным подъемом уровня их развития. Языковой прогресс базируется на широком распространении образования всех степеней, вплоть до высшего. Охват обязательным школьным обучением всего населения, устранение всяких — экономических, социальных, политических — препятствий к получению не только среднего, но и высшего образования играли и играют огромную роль в прогрессе культуры языка народных масс. В равной степени необходимо учитывать значение массовой коммуникации, принявшей в наше время поистине всеохватывающий масштаб благодаря развитию таких орудий массовой речевой практики, как радиовещание, телевидение, массовая периодическая печать, различные формы коллективного языкового общения — съезды, собрания, конференции всевозможных масштабов, уровней, назначений.

Литературная норма в национальном языке данного народа получила всеобщее значение. Происшедшее в языках народов Советского Союза сближение литературного языка и языка повседневного общения народа должно оцениваться как явление крупнейшего значения.

Наблюдения над процессами, протекающими в языке наций, вступивших на путь социализма, приводят к новым обобщениям, новым выводам, относящимся к социальной природе литературного языка и к историческим закономерностям его развития. Становится очевидным, что литературный язык, сложившийся в буржуазном обществе, можно считать национальным только в том смысле, что он зиждется на языковой основе, значимой для всего народа, слившегося в нацию; видеть же в литературном языке буржуазной нации орудие всей общественно-речевой практики, т. е. считать его практически достоянием всего народа, еще нельзя: в той или иной мере продолжают существовать местные диалекты, сохраняются противопоставления таких категорий, как «литературный язык» и «народный язык». Превращение литературного языка социалистической нации в норму всей общественной практики в корне меняет это положение. Диалектизмы и структурные элементы просторечия в определенном отборе становятся принадлежностью обиходной речи, т. е. разговорной практики, общества в целом, а не какого-то его особого слоя. Есть основания думать, что огромный запас диалектной лексики и лексики так называе-

мого просторечия, а также наблюдающийся здесь интенсивный словотворческий процесс превращают эти две сферы языка в богатейший, постоянно возобновляющийся источник обновления и пополнения лексики и фразеологии литературного языка, т. е. общенациональной языковой нормы. Слова и выражения, идущие из этих сфер языка, на первых порах могут сохранять свой особый колорит, но уже в смысле своей стилистической, а не социальной принадлежности. Таким образом, в языковой действительности социалистической нации существенно изменяется содержание, которое вкладывается в понятие «литературный язык». Многие языковые явления, обычно рассматриваемые в аспекте локальных и социальных диалектов, превращаются в факты стилистики языка.

Все эти явления необходимо досконально изучить и проверить на материале языков социалистического содружества народов СССР. Изучение языковой действительности народов СССР—в обществе, где нет разделения на классы,— имеет огромное значение для науки о языке вообще. Языки столь многочисленны и различны по своей истории, по своим системам, по своему строю, уровню развития, что в них исследователь получает интереснейший материал для разработки проблемы национального языка, являющейся, несомненно, одной из важнейших в языкознании. Глубокий интерес — практический и теоретический — представляют младописьменные языки Советского Союза, т. е. такие, которые не имеют длительной письменной традиции (некоторые из них до Октябрьской революции вообще не имели такой традиции). Языки эти в своем развитии, таким образом, не проделали «нормальный» для досоциалистического общества исторический путь: от языка племени или языка народности к языку буржуазной нации; они совершили непосредственный переход от языка народности к языку социалистической нации. Этот факт для языкознания имеет столь же важное значение, как для истории факт перехода ранее отсталых народов к социализму и коммунизму, минуя этап капиталистического развития. Ввиду всего этого одной из задач языковедов Советского Союза остается изучение процессов, происходящих в различных национальных языках нашей страны, сопоставление этих процессов, имеющих в каждом отдельном случае свои особенности, и разработка на этой основе новых теоретических положений, а вместе с тем — определение действительно плодотворных мер научно-общественного воздействия на качественную сторону речевой практики, воздействия, совершенно необходимого при сознательном регулировании общественной жизни. Лишь обстоятельное, длительное и непрерывное изучение фактов и процессов, возникающих в языковой действительности, может обеспечить безукоризненность всякого нового теоретического положения и эффективность какого-нибудь практического решения.

Все это относится к любому литературному языку Советского Союза. В применении к русскому языку к этому присоединяется, однако, еще особая проблема, связанная с его особым местом в языковой практике народов Советского Союза в целом. Помимо своей роли родного языка русской нации, «русский язык,— как записано в «Программе КПСС»,— фактически стал общим языком межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР». Роль русского языка как орудия межнационального языкового общения, разумеется, была подготовлена историей нашей страны и этой историей вполне обоснована. Но вместе с тем существо этого факта в корне изменила Октябрьская революция: если раньше русский язык был орудием межнационального общения в силу своего положения языка господствующей нации и в силу шовинистической политики был орудием подавления всех проявлений самобытного развития культур неравноправных народов, то после 1917 года с ликвидацией самого понятия «господствующей нации» вообще русский язык стал фактором, сближающим различные нации Советского Союза, сплачивающим их в единую семью социалистических наций.

В период развернутого строительства коммунизма, характеризующегося высокими темпами развития производительных сил общества и планомерным интенсивным развитием народного хозяйства в ранее малонаселенных районах нашей страны, усиливается подвижность и миграция населения, сильно расширяет производственную сферу взаимного общения на русском языке представителей разных национальностей.

Русский язык играет и роль языка-посредника в области культурного взаимообмена между народами СССР, говорящими на языках различных семей и групп, причем и здесь в корне изменилось и возросло значение русского языка. Если до Октябрьской революции русский язык был главным образом орудием продвижения русской культуры, русского просвещения к другим народам России (что само по себе было вполне закономерно и даже исторически плодотворно), то после Октябрьской революции русский язык стал мощным орудием взаимообмена культурными ценностями между русским народом и другими равноправными народами СССР, между разноязычными народами нашей страны (равно как и проводником мировой культуры). Эта функция русского языка активизировалась на основе, во-первых, небывалого развития национальных культур отдельных народов Советского Союза, в частности — национальных литератур, во-вторых, продвижения прошлого культурного достояния народов нашей страны, в частности — их литературных памятников, к русскому и другим братским народам СССР. Роль русского языка как языка-посредника отражается и на нем самом: несомненно, что общение с представителями разных народов, переводы с их языков, особенно художественные, вносят,— пусть медленно,— некоторые новшества и в русский язык, главным образом в его лексику и фразеологию.

Необходимо обратить внимание еще на одно явление, а именно — на проникновение во многие разносистемные языки нашей страны русской лексики. Наблюдения, делаемые в этой области нашими языковедами, отчетливо показывают, что проникновение русской лексики отмечается главным образом в сфере терминологии как общественных, так и естественных и технических наук.

Колоссальное развитие научной терминологии в наше время объясняется стремительным и непрерывным развитием наук. Одновременно с этим наблюдается и широкое внедрение научной терминологии, часто даже — узкоспециальной, в массовую речевую практику, в сферу массовой коммуникации. Вопрос этот крайне сложен и требует самого внимательного и непредубежденного рассмотрения.

Как известно, научная терминология в разных языках создавалась при помощи не только своих собственных, но и разно-языковых средств, причем для разных народно-культурных ареалов источником пополнения терминологии были разные классические языки (греческий и латинский для романских, германских и славянских языков, санскрит для индоевропейских языков Индии, классический арабский письменный язык для иранских и тюркских языков, классический китайский письменный язык для языков китайского, японского и корейского). В последнее время, однако, положение в этой сфере несколько изменилось: во многих языках выработка терминологии на старой основе по интенсивности процесса и его количественным показателям, по-видимому, уступает заимствованиям терминов из новых языков; ведущую роль в этом случае стала играть терминология, образовавшаяся в составе европейских языков. Наиболее существенной причиной отхода многих языков мира от собственного словотворчества и возникновения благоприятных условий для проникновения европейской терминологии является огромное развитие межнационального общения в рамках всего мира, развитие, которое в таких масштабах и интенсивности ранее не наблюдалось.

Вполне естественно, что если при сильно возросшей степени знания европейских языков одни зарубежные народы воспринимают научную

терминологию через французский язык, другие — через английский, то народы Советского Союза, в особенности те, языки которых не принадлежат к индоевропейской группе, воспринимают общую научную терминологию через язык русский. Появление во многих языках Советского Союза большого лексического слоя, основанного на словарных заимствованиях из русского языка, понятно и естественно. Это нисколько не «принижает» заимствующий язык и не «возвышает» язык, из которого идут заимствования. Это — естественный процесс мирового общения языков, столь интенсивно развившегося в нашу эпоху сложения подлинно мировой науки.

Таковы некоторые из явлений, наблюдаемых в языках народов СССР. Они требуют самого пристального внимания и тщательного изучения. Без этого новые теоретические положения или практические мероприятия не смогут дать действительно плодотворных результатов.

2

Основными проблемами современного советского языкознания, в разрешении и изучении которых обнаружились самостоятельные пути развития нашей науки о языке, являются:

1. Вопросы образования и развития национальных литературных языков в связи с формированием и развитием наций.

2. Теория грамматики, особенно в сфере морфологии и словообразования (точное определение и разграничение основных языковых единиц); здесь у нас раньше всего была преодолена статическая точка зрения соссюровского синхронизма.

3. Функциональная стилистика, особенно проблемы исследования стилей художественной литературы.

4. Принципы структурной типологии языков (прежде всего типологии диахронической, исторической).

5. Некоторые вопросы теории и практики сравнительно-исторического изучения родственных языков (схождения и расхождения в развитии грамматических систем после расщепления языка-основы).

6. Разработка новых методов языкознания [проблемы: 1) язык и общество с марксистской точки зрения; 2) неравномерность развития разных сторон языка; 3) специфика литературных языков и т. п.].

7. Структуральная лингвистика в общей теории языка.

8. Изучение закономерностей развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху (старописьменные и младописьменные языки, своеобразие их образования и развития).

9. Исследование закономерностей взаимодействия многочисленных языков народов СССР в различных социальных, лингвистических условиях в разные периоды развития советского общества.

10. Важнейшие особенности расширения и сужения общественных функций различных языков советских народов, обусловленные закономерностями развития советского общества на разных этапах строительства социализма и коммунизма в СССР.

11. Основные закономерности расширения общественных функций русского языка в союзных, автономных республиках, автономных областях и национальных округах; его роль в развитии национальных языков.

12. Проблема «Язык и общество» на материале различных языков не только народов СССР, но и зарубежных социалистических стран.

13. Социологическое и лингвистическое освещение своеобразия постановки и решения проблемы языка в условиях многонационального государства в связи с задачами сближения наций и их культур в эпоху развернутого строительства коммунизма.

14. Возникновение и развитие различных типов двуязычия в СССР, их научное и практическое значение. Важнейшая задача советских язы-

коведов в области разработки данной проблемы — изучение закономерностей развития двуязычия, где вторым родным языком служит русский язык, выполняющий функции языка межнационального общения и важнейшего средства поднятия общеобразовательного и культурного уровня малых народностей, приобщения их к социалистической культуре советских наций, к мировой культуре.

15. Пути развития бесписьменных языков очень малочисленных народностей и этнических групп.

16. Монографическое исследование современного состояния и путей дальнейшего развития различных групп родственных языков в СССР (тюркских, финно-угорских, кавказских и др.).

17. Создание трудов, способствующих улучшению изучения русского и других национальных языков, повышению культуры речи.

18. Разработка проблем языка современной художественной литературы, его роли в развитии литературных языков социалистических наций.

19. Проблема соотношения стихийных и сознательно регулируемых процессов в развитии современных языков.

20. Мировые культурные контакты и их влияние на языки отдельных стран.

21. Тщательное, планомерное изучение проблемы взаимоотношения и соотношения общественных функций национальных (местных) литературных языков и языка межнационального общения в СССР.

22. Закономерности образования общего лексического фонда в языках народов СССР.

23. Детальное описание грамматического строя и изучение словарного состава языков и диалектов, находящихся в процессе постепенного исчезновения (некоторые диалекты мансийского, хантыйского и карельского языков, языки — юкагирский, кетский, саамский, нивхский, орочский, некоторые одноаульные языки Кавказа, а также языки мелких иранских народностей Памира).

24. Изучение истории языков народов СССР. Создание сравнительно-исторических грамматик групп родственных языков (финно-угорских, тюркских, иранских, картвельских и др.). Составление историко-этимологических словарей этих групп языков.

25. Изучение отдельных деталей грамматического строя языков народов СССР. Составление нормативных и диалектных словарей.

26. Продолжение работы в области изучения диалектов языков народов СССР (история происхождения диалектов, их взаимоотношения и процессы, происходящие в диалектах в настоящее время).

27. Изучение истории литературных языков народов СССР, в особенности языков, имеющих давнюю письменную традицию.

28. Изучение истории стилей литературных языков народов СССР.

29. Детальное изучение структуры языков народов СССР современными методами структурной лингвистики.

30. Изучение результатов влияния русского языка на языки народов СССР.

Весь этот сложный, полный грубокого и разнообразного содержания круг актуальных проблем советского языкознания требует планомерно организованного, систематического, тщательного изучения. Подмен полученных таким путем надежных выводов и обобщений поспешными рекомендациями и априорными положениями противоречит основным принципами методики и методологии советской науки о языке[1].

[1] В этой связи нельзя не отметить, что в передовой статье журнала «Вопросы языкознания» № 1 за 1962 г. получили несколько схематическое и субъективно-оценочное освещение перспективы и судьбы развития разных языков народов СССР, а также отразились в известной мере поспешные тенденции рекомендательного характера относительно функции русского языка в культурной и общественно-политической жизни отдельных языков Советского Союза.

3

В середине октября 1962 г. в городе Алма-Ата будет проведена Всесоюзная конференция, посвященная вопросам изучения закономерностей развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху в свете исторических решений XXII съезда КПСС. Здесь частично будут обсуждены проблемы, выдвинутые в первых двух разделах нашей статьи.

На пленарных заседаниях конференции предполагаются коллективные доклады: «Основные итоги разработки вопросов письменности и развития литературных языков народов СССР», «Русский язык — язык межнационального общения народов СССР», «Основные принципы разработки проблемы „Русский язык и советское общество“».

На конференции будут работать четыре секции: 1) секция русского языка, 2) секция тюркских языков, 3) секция национальных языков с давней литературной традицией, 4) секция младописьменных языков — финно-угорских, кавказских, северных и иранских народов.

Секция русского языка выслушает и подвергнет широкому обсуждению проект коллективного труда «Русский язык и советское общество», доклады: «О строении современного русского национального языка», «Об изменениях в фонетической и грамматической системах русского языка в советскую эпоху». Основная задача этой секции — рассмотрение некоторых, наиболее важных вопросов развития словарного состава, фонетической системы, грамматического строя русского языка (как национального литературного языка русского народа) в советскую эпоху. Заслуживают внимания секции и вопросы об особенностях живой русской речи в национальных республиках, о своеобразных отклонениях от русской общенациональной литературной нормы, обусловленных влиянием местных языков.

На секции тюркских языков будут представлены коллективные доклады: «О современном состоянии и путях дальнейшего развития литературных тюркских языков», «О нормах казахского литературного языка».

На секции национальных языков с давней литературной традицией предполагается один коллективный доклад на общую тему: «О современном состоянии и путях дальнейшего развития отдельных национальных языков с давней литературной традицией». За ним последуют развернутые выступления, посвященные проблемам развития в советскую эпоху украинского, белорусского, армянского, грузинского, молдавского, латышского, литовского, эстонского и других национальных литературных языков.

В круг деятельности секции младописьменных языков финно-угорских, кавказских, северных и иранских народов войдут коллективные доклады: «О современном состоянии и путях развития письменных (литературных) языков народов Севера», «О современном состоянии и путях развития младописьменных языков финно-угорских народов», а также развернутые выступления по вопросам формирования и развития в советскую эхопу младописьменных кавказских и иранских языков.

Конференция должна быть широко представительной. В настоящее время в нашей стране развертывается деятельная подготовка к этой Всесоюзной конференции советских языковедов.

Так, руководствуясь историческими решениями XXII съезда КПСС, советские языковеды прилагают свои усилия к тому, чтобы подвести главные итоги развития науки о языке в нашей стране, наметить основные задачи, определить наиболее важные направления дальнейшего развития советского языкознания и своими трудами внести посильный вклад в дело строительства коммунизма в нашей стране.

№ 4 1962

С. РОСПОНД

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛАВЯНСКОЙ ОНОМАСТИКИ

1. Истоки славянской ономастики восходят ко времени, почти совпадающему с зарождением славистики [в России — А. Востоков (1820), в Чехии — И. Добровский (1822)], т. е. в общем к первой половине XIX в. В первую очередь здесь следует назвать работы Я. Коллара, Ф. Палацкого, М. Морошкина, Н. П. Барсова [1]. Славянский ономастический материал стал предметом научного исследования тогда, когда началось изучение немецкого ономастического материала, т. е. еще до возникновения индоевропеистики в Германии [Ф. Бопп (1816), Я. Гримм (1819)][2].

2. С середины XIX в., когда появились монументальные труды Фр. Миклошича [3], начинается первый этап развития ономастики. Для этого этапа прежде всего характерно преобладание работ, выполненных историками, которые использовали не всегда правильно понятый ономастический материал, а нередко и злоупотребляли им [4]. Уместно вспомнить, что не собственно языковедческим было зарождение и европейской ономастики, например французской или немецкой [5].

3. Второй период ономастических исследований, относящийся уже к XX в., характеризуется переходом инициативы в руки лингвистов — индоевропеистов и славистов,— ищущих ономастической документации индоевропейского и славянского этногенеза; это исследования Я. Розвадовского (1900), А. И. Соболевского (1910), А. А. Шахматова (1912), П. Скока (1913), М. Фасмера (1909), Ст. Младенова (1915) и др. [6].

4. Третий — современный — этап исследований, начавшийся приблизительно с 1918 г. и продолжающийся вплоть до настоящего времени, отмечается многочисленными монографиями и рядом трудов обобщающего характера. В этот период славянская ономастика выдвигается в первые ряды языковедческих дисциплин; исследования ведутся

[1] J. Kollár, Jmeslov ili rječnik lični imena razni naroda slavenski, Budim, 1828; F. Palacký, Popis staročeských osobných a křestných jmen, Praha, 1832; его же, Rozbor etymologický místních jmen československých, Praha, 1834; М. Морошкин, Славянский именослов или собрание славянских личных имен в алфавитном порядке, СПб., 1867; Н. П. Барсов, Материалы для историко-географического словаря России, I — Географический словарь русской земли (IX—XIV ст.), Вильна, 1865.

[2] Ср.: T. D. Wiarda, Über deutschen Vornamen und Geschlechtsnamen, Berlin — Stettin, 1800; W. Wackernagel, Über die germanischen Personennamen, Frauenfeld, 1837; A. F. Pott, Die Personennamen, Leipzig, 1853.

[3] F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, Wien, 1860—1874.

[4] Ср. такие работы: T. Wojciechowski, Chrobacja. Rozbiór starożytności słowiańskich, Kraków, 1873; F. Piekosiński, Ludność wieśniacza w Polsce w dobie piastowskiej, «Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego», I, Kraków, 1897; H. Jireček, Slovanské pravo v Čechách a na Moravě, Praha, I — 1863, II — 1864; K. Kadlec, O prawie prywatnym zachodnich Słowian przed X wiekiem, «Encyklopedia polska», IV, 2, Kraków, 1912.

[5] Ср.: A. Longnon, Dictionnaire topographique du departement de la Marne, Paris, 1891; W. Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen deutscher Stämme zumeist nach hessischen Ortsnamen, Marburg, 1875.

[6] См.: S. Rospond, Onomastyka słowiańska. Osiągnięcia badawcze i postulaty metodologiczne, «Onomastica», II, 2, 1956; его же, «Onomastyka słowiańska. II — Postulaty metodologiczne, Onomastica», III, 1, 1957. См. также «I Międzynarodowa slawistyczna konferencja onomastyczna. Księga referatów», Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961.

с большой интенсивностью. Так, цифровой баланс, например, польской ономастики весьма замечателен; он составляет (с середины XIX в. до 1958 г.) около 3200 работ, не считая статей в ежедневной прессе [7]. Эти достижения польской ономастики являются заслугой прежде всего Я. Розвадовского, а также следующих ученых: М. Рудницкого (редактора журнала «Slavia occidentalis», тт. I—XIX — 1922 и сл.), В. Ташицкого (автора основополагающего труда о старопольских личных именах, о классификации славянских географических названий), С. Козеровского (автора ценных исторических собраний имен, главным образом по Великопольше), С. Роспонда (автора работ по стратиграфии словообразовательных типов, структурно-грамматической классификации славянских географических названий, инициатора первого славянского ономастического журнала «Onomastica» — 1955 и сл.), З. Штибера, Т. Милевского, С. Храбеца, П. Зволиньского, Х. Сафаревичевой, М. Карася и др.

Комиссия по географическим названиям при Управлении Совета Министров ПНР, работавшая первоначально под руководством К. Нича, а ныне — В. Ташицкого, определила географические названия так называемых Воссоединенных земель (Поморье и Силезии) и собрала местные материалы почти на всей территории Польши. В процессе подготовки находятся следующие словари: словарь старопольских имен (В. Ташицкий), словарь силезских фамилий (С. Роспонд), словарь географических названий Силезии (С. Роспонд).

Чешскую и словацкую ономастику обогатили прежде всего исследования Ф. Черного и П. Ваши (1907), В. Шмилауэра (1932, 1960), Й. Свободы (1958), Я. Станислава (1941). Первое место среди них занимает словарь А. Профоуса «Географические имена в Чехии» [8]. Сербскохорватская и словенская ономастика представлена работами П. Скока, а также ряда зарубежных ученых: О. Франка (1932), С. Пирхеггера (1927), С. Роспонда (1937), Э. Диккенмана (1939—1941), З. Кранцмайера (1950). Образованная в Загребе при Академии наук «Ономастическая комиссия» (М. Храсте) к настоящему времени уже собрала значительный исторический и территориальный материал. В Словении готовится исторический топографический словарь, охватывающий период до 1500 г. (М. Кос); Ф. Безлай интенсивно занимается гидрографией (1956) и лексикальной стратиграфией. В Болгарии под руководством В. Георгиева ведутся систематические региональные исследования, ознаменовавшиеся работами И. Дуриданова (1952, 1959), И. Заимова (1959).

Обширный и ценный славянский ономастический материал, представленный на территории Советского Союза, ждет систематической лингвистической обработки. Серьезный вклад в топономастику, правда южнославянскую, внес своими работами А. М. Селищев[9]. К области русской топонимики относится лишь одна его работа[10]. Много внимания славянским географическим названиям уделяли языковеды С. В. Веселовский (1945), В. М. Сергиевский (1946), В. А. Никонов. Институт языкознания АН УССР (Киев) принял план систематического сбора и обработки материала на украинской территории (К. Целуйко).

Энергично занимаются вопросами славянской ономастики немецкие лингвисты М. Фасмер, Р. Траутман, Э. Шварц и Р. Фишер, организатор ономастического центра в Лейпциге (к 1959 г. было издано 9 региональных монографий), а также Э. Петрович в Румынии и И. Книежа в Венгрии.

---

[7] См. W. Taszycki, Bibliografia onomastyki polskiej, Kraków, 1960.

[8] A. Profous, Místní jména v Čechách, I—IV, Praha, 1947—1957.

[9] См.: А. М. Селищев, Славянское население в Албании, София, 1931; его же, Полог и его болгарское население, София, 1929; его же, Диалектологическое значение македонской топонимии, «Сборник в чест на проф. Л. Милетич...», София, 1933.

[10] А. М. Селищев, Из старой и новой топонимии, «Труды МИФЛИ», V. Филол. фак-т, 1939.

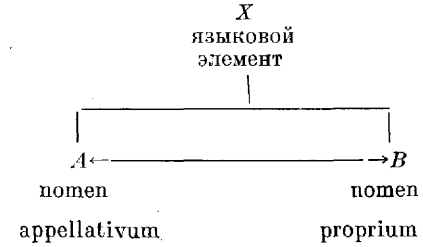
Суммируя очерк 150-летнего развития славянской ономастики, следует отметить ее серьезные успехи, особенно в разделе топономастики (к сожалению, не во всех странах одинаковые). В последнее время положено начало организации совместных исследований и научного сотрудничества (состоялись две ономастические конференции: в Кракове 22—24 октября 1959 г. и в Берлине 17—20 октября 1961 г.).

*

Развитие каждой научной дисциплины зависит не только от достаточно широкой документальной базы, какой являются монографии и обобщающие труды, но в равной степени и от методологических предпосылок. В настоящей статье будет дан критический разбор основных исследовательских методов славянской ономастики, рассматриваемых на фоне современного ее состояния, как она представлена в славянских и других европейских странах. В соответствии с намеченными выше тремя этапами исследований определилось три направления в методике исследования: историко-поселенческое (не собственно языковедческое, иногда дилетантское и любительское); языковедческое, однако в основном несамостоятельное, подсобное по отношению к заинтересованным в ономастике дисциплинам (этногенез, история колонизации земель и т. п.); наконец, современное направление, постулирующее совершенствование лингвистических и филологических методов, а также выработку специальных ономастических методов.

Скептицизм по отношению к ономастическим псевдоэтимологиям, вызванный интерпретаторской смелостью неспециалистов и длительной «оккупацией» ономастики историками и географами, еще и поныне затрудняет правильную ориентацию в принципиальном вопросе относительно места ономастики среди гуманитарных наук. Однако теперь уже несомненно, что ее место — в сфере собственно лингвистики [11], поскольку ономастическая лексика представляет собой языковые знаки, не равные абсолютно нарицательным именам (таковы и nomina loci, и nomina personalia).

Французский ономаст А. Доза следующим образом определил топонимические десигнаты в их отношении к нарицательным именам: «Местные названия очень быстро опустошились, освободившись от своего первоначального значения; их семантическая жизнь прекращается с их образованием» [12]. Семасиолог М. Бреаль определил топонимы как «знаки во второй степени» [13]. Е. Курилович исследовал особую структуру уменьшительно-ласкательных собственных имен (англ. *Elisabeth* → *Bess*, *Edward* → → *Ed* [14], польск. *Przemysław* → *Myszek*, *Jakub* → *Kusz*), которые не копируют правил передачи уменьшительно-ласкательных оттенков, свойственных апеллятивам, но обладают собственными закономерностями, определенным образом связанными, разумеется, с общеязыковыми:



[11] Ср. В. Т а ш и ц к и й, Место ономастики среди других гуманитарных наук, ВЯ, 1961, 2.

[12] A. D a u z a t, La toponymie française, Paris, 1941, стр. 13.

[13] M. B r é a l, Essai de sémantique, Paris, 1913, стр. 183.

[14] J. K u r y ł o w i c z, La position linguistique du nom propre, «Onomastica», II, 1, 1956.

Было бы неверно игнорировать специфику ономастики при помощи подчинительной схемы $A \rightarrow B$. Под влиянием логических воззрений и до сих пор остается в ходу схема, иллюстрирующая в качестве differentia specifica лишь объем содержания понятия:

nomen appellativum	nomen proprium
brzoza, *wilk*	*Brzoza*, *Wilk*
«береза», «волк»	«Береза», «Волк»
(любые)	(конкретное индивидуальное место или лицо)

А между тем многие факты языка свидетельствуют о том, что собственные имена имеют лишь им свойственные структурные (не фонетические) закономерности развития, которые можно было бы в определенном смысле назвать ономастическими законами («les lois onomastiques»). Единственная особенность ономастики, на которую обычно обращается внимание, предстает в виде труистической формулировки: имена собственные являют собой языковые окаменелости, сохраняющие пластарые формы и слова. Однако этим не исчерпывается вся сложность структурной проблематики собственных имен, развивающихся своими, в определенной степени особыми путями. Имена собственные далеко не всегда как в семантическом, так и в структурном отношении копируют имена нарицательные по схеме $A \rightarrow B$. Так, транспозиции типа *gęba* → *Gęba*, *wilk* → *Wilk*, *wilki* → *Wilki* (географическое название) отнюдь не параллельные, так как, например, человек, названный *Wilk*, был: 1) хитрый как волк, 2) худой как волк, 3) встретил волка в лесу, 4) имел какой-нибудь нарост на лице и т. п. Что же касается топографического наименования *Wilki* «Волки», то оно характеризует прежде всего locum — признак места, и лишь на втором плане выявляется значение «волк». Когда исследования ономастической семантики достигнут должного уровня, можно будет лучше понять специфику и словообразовательную неповторимость собственных имен.

Особенности ономастического материала наглядно проявляются и в его морфологии, т. е. в функциях его словообразовательных формантов, их составе и характере их изменений. Вырабатываются своеобразные морфологические импульсы со стороны структурализованных ономастических схем, порой весьма экспансивных и в словообразовательном отношении неологических. Можно привести хотя бы такой пример: структурная схема «praeverbium (корень) + nomen»: польск. *Zdzisław* (*sъ-dě-*), др.-русск. *Sbyslavъ* (*sъ-by-*); структурная схема «глагольный корень + nomen»: польск. *Chociemir* (*hotěti*), польск. *Masław*: *jьmati* (*jьmam* → *mam*).

В праславянской антропонимии можно обнаружить и праиндоевропейские структурные схемы, которые по специфике своего распространения, реального состава и структуры выходят за известные первичные морфологические границы имен нарицательных. Языковеды, не замечающие этой антропонимической специфики, прибегают, например, в отношении известного имени мазовецкого князя Маслава (*Masław*) к ненужным и неправдоподобным допущениям: *Miecsław* → *Masław* или *Moisław* → *Masław*[15]. Широко известна, в частности, такая своеобразная особенность антропонимики, как изменение порядка следования очередности членов

[15] См. S. Rospond, Uwagi polemiczne o Mieszku, Masławie i Dąbrówce. II — *Masław* ⩽ * *jьma-slavъ*, «Onomastica», I, 1, 1955, стр. 177—181. Ср. T. Milewski, Ze studiów nad antroponimią indoeuropejską, «Onomastica», III, 2, 1957, стр. 375 и 379.

в двучленных индоевропейских именах: *Mirosław — Sławomir*. Я. Кохановский, используя эту особенность, превратил путем перестановки в целях стилизации (для создания юмористического эффекта) нормальное сложное слово *rymopis* в искусственное *pisorym*.

Новые, вторичные структурные схемы, сформированные по образцу продуктивных моделей словосложения, иногда интерпретируются непосредственно по образцу апеллятивных конструкций; ср. серб. *Dabyživ* «utinam viveret», польск. *Zawichwost* «место, где завивают лошадям хвосты», *Moczychwost* «место, где мочат лошадям хвосты» (?). Непонимание ономастической специфики явилось в конечном счете причиной целого ряда весьма показательных частных ошибок и ложных общих выводов. Так, структурные схемы типа *-itjo*, понимаемые слишком узко как копия функции *-itjo* в нарицательных именах, еще и в настоящее время приводят к серии интерпретаторских ошибок. *Podgórzycy* — это не потомки *Podgóry* (?), но «живущие под горой»; *Obodrzycy* не являются потомками мифического *Obodry* (?); это «племя, живущее по берегам Одера»; подобным же образом *Golężycy* или *Golęszycy* (ошибочно *Gołężycy*) — не потомки *Gołęgi*, но «жители *goleszy* (или *golęży*)», т. е. *goli* (*gola* — плодородная безлесная территория). Ср. *Lędzicy*: *lędo*, *Łężycy* или *Łużycy* : *łęg*, *ług*, а потому *Lutycy* — не потомки **Luta*, но «жители определенной местности» (ср. *Lutynia* — топографическое название; ср. также *Gdynia*: **gъd*).

В качестве доказательства неправомерности отождествления функции ономастической форманты с апеллятивной можно привести еще образование названий на *-ьsk-* : *Kobylsko* : *kobyła*; *Lutomirsko* : *Lutomir*; *Bielsko* : *Biała* (река); русск. *Полоцк* или *Полотескъ* : *Полота*; русск. *Смоленск* (город), *Наро-Фоминск* (город), но *Нара Фоминское* (село). В этом типе в русских названиях населенных пунктов произошла функциональная топонимизация суффикса *-ск* при обозначении города (ср. новые *Магнитогорск*, *Свердловск*) и *-ское* или *-ская* при обозначении поселений сельского типа: *Никольское*, *Павшинское село* и т. п.

Продуктивные ономастические форманты легко структурализуются, т. е. освобождаются от реально-семантической функции, становясь особыми морфологическими моделями, не адекватными соответствующим апеллятивным. Морфологическая специфика собственных имен проявилась, например, в польской патронимии при выделении патронимической функции суффиксов *-ek*, *-ik*, *-ak* (формант *-k* в нарицательных именах обозначает прежде всего уменьшительность): *Paulo Pawlik* (1491), *Gregorio filio Andrzejek* (1501), *Gregorius gener Płochowic* (1489), *Gregorius Płoszek* (1498) [16]. Ср. также *Królak*, *Królik* : *Król* и другие патронимические формации этого типа. В восточнославянской и болгарской антропонимии выделяется патронимическая функция суффикса *-ов*: *Добролюбов*, *Драгонов* и т. п.

Нередкое явление в ономастике — суффиксация вторых членов личных имен и географических названий и возникновение таким путем новых ономастических суффиксов; так, суффикс *-sław* в именах *Grzymisław*, *Rudzisław* (от *Rudolf*) восходит ко второй части древнепольских имен типа *Stanisław*, *Bronisław* [17]; в русской топонимике ср. суффикс *-град*: *Ленинград*, *Калининград*; ср. также *-славль* на некоторых территориях в названиях-заимствованиях: *Лихославль* и т. п. С другой стороны, весьма сомнительной представляется суффиксация второй части обычных нарицательных словосложений типа польск. *złodziej*, русск. *злодей*, польск. *bartodziej*, *kołodziej*. Это сложные имена с явным именным соединительным *-о-*, в то время как в названии *Ленинград* отсутствует элемент сложения *-о-*, а первоначальный член сложения *-град* выступает в суффик-

[16] Материал приводится по картотеке «Словаря силезских названий» кафедры польского языка Вроцлавского университета.

[17] Ср. P. Zwoliński, Funkcja słowotwórcza elementu *sław* w staropolskich imionach osobowych, BPTJ, X, 1950.

сальной функции (ср. общеславянские сложения типа *Starogard* и т. п.).

Отметим и некоторые другие особенности личных имен и названий, требующие систематического пересмотра накопленного материала; это маскулинизация названий местностей: польск. *Podgórze* → *Podgórz*, *Międzygórze* → *Międzygórz*, *Bielsko* → *Bielsk*; сингуляризация их: серб. *Белиħи* → *Белиħ*; явная тенденция к афлексийности и даже аморфности названий: кашуб. *Rinkóc* ← *Rinkovic*(*e*): *Rinek*, *do Rinkóc*; чеш. *z rodu Vitkovic*, *při Milandovic ulici*; польск. *do pani Baran*.

Таким образом, и лингвист-грамматист, и лингвист-ономаст анализируют языковые знаки; разница состоит в том, что, применяя общие исследовательские критерии, обычные при анализе нарицательных имен, ономаст должен учитывать специфику ономастического материала; не следует механически и негибко интерпретировать собственные имена, относясь к ним как к обычным нарицательным. Схематически отношения лингвистики и ономастики можно было бы представить в виде такой горизонтальной (а не вертикальной) зависимости:

Языковые знаки

nomina appellativa — nomina propria

(грамматика) ← ——— → (ономастика)

Современная ономастика, будучи вспомогательной для внелингвистических дисциплин наукой, тем не менее не может основываться на нелингвистических исследовательских принципах; однако в равной степени она не может ограничиваться и негибко применяемыми грамматическими принципами.

Со времени «позитивистов» (младограмматиков) — скрупулезных аналитиков, схватывавших языковые факты в мельчайших подробностях, общее языкознание развивалось в сторону фонологического и морфологического синтеза; оно прежде всего занялось системой языка, различительными функциями языковых знаков и их системной корреляцией, их противопоставлениями. Современное языкознание датируется с того момента, когда внимание исследователей сосредоточилось на изучении языковой структуры и ее функциональной стороны.

Славянская ономастика слишком длительное время находилась в исследовательском русле неязыковедов — историков или географов, а затем в руках лингвистов позитивистского направления вроде Фр. Миклошича, чтобы быть способной уже сейчас широко применять структуральные методы исследования. Однако для того чтобы подняться по точности своих исследований до научного уровня современного языкознания и лексикографии, славянской ономастике следует как можно быстрее и полнее освоить структуральный метод [18].

Структура названия характеризуется точной, системной, а не изолированной, случайной или единичной корреляцией формы и значения, ономастической основы имени и форманта. Ономасты-дилетанты и неязыковеды всегда были очень далеки от подобного структурального подхода; для этимологии польского названия *Syców*, например, им было достаточно лишь одного корня *Syc-* (ср. *sycić*, *syty*) без форманта *-ów*; этимология выглядела так: *Syców* — это «место, где варят мед» (*sycić* «варить мед»), «место для питья» и т. д. (?). Но ведь это всего лишь притяжательная форма *Syców*: *Syc* (1166, 1204) ← * *Sytjь* «селение *Syca*». «Позитивист» Фр. Миклошич в своем монументальном труде приводил как ономастическую базу (основу), так и формант, отмечая первую в словаре, а дополнительные морфемы — во вводных разделах; однако при применении такого неструк-

[18] См. мой доклад «Le structuralisme dans la toponymie slave» на VII Международном ономастическом конгрессе (Флоренция, 1961).

туального метода создалось отождествление совершенно различных ономастических структур (например, поссесивной и топографической типа *Dobromil-ov*: *Dobromil* — *Grab-ov*: *Grab* вместо *Grab-ov*: *grab*). Механическое, формально-грамматическое выделение суффикса, невнимание к внутреннему и корреляционному строению названия привело к полной непоследовательности в применяемой классификации названий:

I — от личных имен	II — от нарицательных имен
Серб. *Zvijezdić* : *Zvijezda*,	но серб. *Golubić* : *golub* ?
Серб. *Vučić* : *Vuk*	
Польск. *Klonowa* : *Klon*,	но серб. *Brezova* : *breza* ?

Известный славянский филолог (но не лингвист) ономаст А. Брюкнер в следующих словах четко обнаружил свою неструктуральную и, собственно говоря, нелингвистическую позицию: «*Wilkowice*, *Wilków*, *Wilki* различаются лишь временем, местом, модой (? — *С. Р.*), но не содержанием; нередко они заменяют друг друга (? — *С. Р.*). Совершенно вышли из моды названия на *-ice* как излишне парадные (! — *С. Р.*), пышные...» [19]. Относительно *Gniezno* тот же ученый писал: «Название *Gniezno* произошло от *гнезда* (орлиного?) по какому-нибудь незначительному поводу» [20]. Иными словами, структура названия определяется, согласно этому мнению, не системой, не различительной функцией форманта, строго соотнесенной с ономастической базой (основой), а капризом, случайностью.

О. Франк, хотя его работа по сербскохорватским местным названиям написана в 1932 г., применяя формалистический метод Фр. Миклошича, дал, например, для названия *Bučić*... 13 равноправных этимологий, провозгласив возможность дальнейшего значительного увеличения числа этимологических вариантов и предоставляя право выбора среди этой бесцветной varietas «субъективному (? — *С. Р.*) мнению каждого читателя» [21]. Заметим здесь, что проникновение в истинный строй названия при применении структурального метода, поддержанное необходимой диалектологической и акцентологической ориентацией и осуществленное при учете типичной для сербскохорватских патронимов структуры, позволяет вскрыть действительное строение формы *Bučić*: *Bu-č(o)*: *Budimir* = = *Vučić*: *Vu-č(a)*: *Vukosav* = *Račić*: *Ra-č (o)*: *Radisav* (ср. схему симметричных корреляционных топонимических структур). Неутомимый собиратель польской, точнее — великопольской, ономастики историк-ономаст С. Козеровский, не будучи языковедом, также не был связан со структуральным методом.

Как следует определить структуру названия? В какой ономастической структурной схеме находилась, например, форма *Cidini* (973) =*Cydyni*, т. е. *Cyd-yni*? Что должны были обозначать в этом названии база *cyd-* и формант *-yni*? Не следует ли здесь видеть форму *Sidzina*: **sid-*/**sēd-*? Поддаваться внушению субститутивного немецкого написания, изменяющего слав. *s* → *c* (*Sulęcin* — нем. *Zielenzig*; *Gdańsk* — нем. *Danzig*), было бы неверно. А. Профоус, автор монументального топонимического чешского словаря, не ориентируясь достаточно в структуре архетипов продуктивных западнославянских поссесивов на *-jь* типа польск. *Racibórz*, чеш. *Ratiboř*, польск., чеш., полаб. *Dobrogošč*, русск. *Dobrohošč*, польск. *Sądecz*: *Sądek* (но не **Konradz* ← **Konrad-jь*: нем. *Konrad*; только уже в новое время — *Konradowo*), неправильно отнес к этому типу названия с иноязычной именной базой: *Oldřiš* (1456) ← *Oldrich-jь* (иногда первоначальная запись *Vlrichsdorff*), *Albeř* (1487) ← **Alber-jь* и т. п.

В нарицательных именах четко проявляется симметричная или асимметричная морфологическая структу-

[19] См. A. Brückner, O nazwach miejscowych, Kraków, 1935, стр. 1.

[20] См. S. Rospond, Ze studiów nad polską toponomastyką. IX — *Gniezno*, «Język polski», V, 5, 1961.

[21] См. O. Franck, Studien zur serbokroatischen Ortsnamenkunde, Leipzig, 1932, стр. 19—21.

р а (как формальная, так и семантическая); ср. *wiśn-iak*: *wiśnia*, но не *koń-iak*: *koń*, *rum-ak* : *rum*. Пользуясь графической символикой, обозначим первое построение как симметричное *wiśn*↔*iak*, второе—как асимметричное *kon*⟩—⟨*iak*, *rum*⟩—⟨*ak*. Для собственных имен и названий асимметричное строение нередко считается симметричным; это происходит из-за недостаточной изученности структуры названия, которое не рассматривается на широком сравнительном и хронологическом, а также стратиграфическом фоне. Поэтому топонимисты без всяких возражений принимали такие асимметричные топонимические построения, как *Kal*⟩—⟨*isz* : *kalъ*, вместо первичного симметричного и со структуральной точки зрения типового построения — *Kal* ↔ *iszcze* : *kalъ*; ведь только под влиянием грецизированного и латинизированного написаний Καλισσία, *Calis-Kaliszcze* или *Kaliszcza* изменилось через форму *z Kaliszcz* в *Kalisz* [22].

| Псевдоэтимологию *Gniezno* ← **Gnězd-ьno* : *gnězdo* «место, гнездо племени или орлят» (? — *C. P.*) предложил, исходя только из топонимической базы *gniazdo*, уже средневековый польский летописец XII в. Галл. В действительности здесь совсем другое семантическое построение—симметричное (собственно топографическое), с первоначальным значением корня **gnězd-* (ср. река *Gniezna*) «углубление в форме миски, с глинистым грунтом» (ср. праиндоевр. **ghen-* «растирать, скрести» и его дериваты **ghnei-*, **ghneidh-*, **ghnegh-*, **gnoi-*, слав. *gnojь*, *gniti*, *gnětiti*). *Gniezno* ← ← *Gniezdno* ← **gnězd-ьno* = *Sławno*: **slav-* ← праиндоевр. **k'leu-*/**klou-*, **kel-* «мокрый, сырой» (отсюда *Słowianie*, *Sławianie*) = *Stobno* : **stob-*, **stub-* (названия рек *Stubła*, *Stubiel*, *Stobrawa*, болг. *стубель* «колодец») = = *Strzel-no* (также чеш. *Střelna* река): праиндоевр. **ster-*, лат. *sterno* «стелю», слав. *strě-*, польск. *prze-strzeń*; с дериватом *-l-* возникло **stel-*, *steljǫ*, *stolъ*. Невозможно полностью антиструктуральное *Strzelno* : *strzała* или *Strzała* [23].

На ложность асимметричных построений нам уже приходилось обращать внимание в связи с другими этимологиями: *Szczec*⟩—⟨*in* : **Szczota* (в действительности *Szczecin* ← нем. *Stettin* ≪ *Szczyt* ↔ *no* : *szczyt* «холм»—семантически то же самое, что и *Chełmno*) [24]; *Szyrocz*⟩—⟨*ec* : *szyroki* (в действительности следует реконструировать *Szyrocko* или *Srocsko*) [25]; болг. *Витоша* (название горы) не может восходить к *Ви*⟩—⟨*тоша* : *ви-* (лат. *viginti*?) + слав. *tesati* (такую этимологию предложил Д. Дечев) (здесь симметричное структурное построение слав. *Витош*↔*а* род. падеж: *Витош* [26]). Высказанное нами мнение по поводу названия *Odra*: **ǫod(r)-*, **ǫed(r)-* «вода», греч. ὕδωρ (первоначальная тема *-r-*; ср. герм. *watar*, *water* = *Wasser*, слав. *vědro*), а не *o* + *dra* : **der-*, **drā-*, **dreǫ-* «бежать, спешить», основано главным образом на том, что архетипы названий рек, особенно в западной части праславянской территории,— это образования первичные, а не префиксально деривационные (*Висла*, *Буг*, *Драва*, *Драма*).

В славянской антропонимике ошибки такого типа, возникающие из-за антиструктуральной позиции исследователя, встречаются гораздо реже так как эта область ономастики издавна изучалась лингвистами. Ср. хотя бы работы А. Фика, Г. Остгофа, Г. Якоби [27] по двучленным индоевро-

---

[22] См. S. Rospond, Pierwotna nazwa Kalisza, «Slavia occidentalis», XX, 2, 1960.

[23] См. S. Rospond, Ze studiów nad polską toponomastyką...

[24] S. Rospond, Ze studiów nad polską toponomastyką, VII — Polemika o pierwotną nazwę *Szczecina*, «Język polski», XXXI, 4, 1951.

[25] S. Rospond, Ze studiów nad polską toponomastyką. VIII — *Szeroczec* czy *Serock* (*Srock*)?, «Język polski», XXXVII, 4, 1957.

[26] См. S. Rospond, Onomastyka słowiańska..., «Onomastica», III, 1, стр. 94.

[27] A. Fick, Die griechischen Personennamen nach ihrer Bildung erklärt und systematisch geordnet, Göttingen, 1857; H. Oshoff, Das Verbum in der Nominalkomposition in deutschen, griechischen, slavischen und romanischen, Jena, 1878; H. Jacoby, Composition und Nebensatz, Bonn, 1897.

пейским, а также славянским именам в сравнении со сложными нарицательными именами. Здесь асимметричные, т. е. вторичные, построения интерпретировались совершенно правильно. Ср. *Idzi*〉—〈*sław* (выделившийся суффикс *-sław* добавляется к иноязычной основе *Idzi* ← *Aegidius*) по образцу структурной праславянской схемы: *Chwali* ↔ *sław* : *chvali-*. Считалось несомненным, что польск. *Mieczysław* : *miecz-*+*sława* (?) — это построение асимметричное, находящееся за пределами сложений с первой глагольной частью (тип *Broni-sław* : *broni-*).

В географических названиях ввиду отсутствия соответствующих исследований по грамматической структуре выявить такие, разными путями возникшие асимметричные построения значительно труднее. Можно предположить, что прастарое название силезской крепости *Niemcy* → → *Niemcza* (нем. *Nimptsch*), убедительно представленное немецким летописцем X в. Титмаром: «*Nemzi quod a n o s t r i s o l i m sit condita*» [но *Nemchi* (990) у чеха Космаса, *Nemechi* (1155), *Nemchi* (1208) и под. с *ch* = *č*], не имеет ничего общего с поселением *Niemcŏw* (военнопленных или древнегерманского населения), но либо было поссесивным названием *Niemecz* (род. падеж *Niemcza* : **Němъkъ-jь* : *němъ*), либо, если нужно реконструировать форму *Niemcy*,— названием поселения немцев, т. е. людей чужих, иноземцев [современное этническое значение не обязательно; это могли быть, например, остатки «немых» кельтов; на этой территории со стороны входных ворот (Kłodzka) находятся многочисленные археологические кельтские раскопки]. Были ли известны в X в. этнические названия типа *Prusy*, *Rusy*, *Ślężaki* и т. п.? Вероятнее всего, это образования более поздние. Нельзя полностью полагаться на этимологическую информацию средневекового летописца, который интерпретировал эти наименования по собственным ассоциациям. Ср. этимологию названия города *Gniezno*, данную Галлом. В те времена существовали также «народные» этимологии.

Определение структуры географического названия будет способствовать укреплению лингвистической топонимики как самостоятельной дисциплины. Этому должна также служить разработанная нами структуральная классификация собственных названий [28]. Полезная лексико-семантическая классификация В. Ташицкого [29] основана на историко-поселенческом, а не семантико-лингвистическом характере географического названия. Как известно, эта классификация *является усовершенствованием* той классификации, которую еще в 1873 г. предложил историк Т. Войцеховский; выделяются названия служебные, родовые (у Ташицкого еще культурные, этнические). Попытка нашей классификации имела целью подчеркнуть в географических названиях грамматическую характеристику, т. е. передать в общем виде основное троичное разделение ономастических имен и апеллятивов: I имена первичные: *Baba* географическое название — *Baba* личное имя — *baba* апеллятив; II имена вторичные: *Babice* — *Babisz* — *babka* апеллятив; III сложения: *Babidół* — *Babirad* — *babizął* апеллятив. Выделение возможных подтипов является уже второстепенной проблемой [30].

Структуральный метод тесно связан с методом с т р а т и г р а ф и ч е с к и м, т. е. с установлением хронологического и особенно территориального расслоения словообразовательных (например, *-itjo*, *-jь* и т. п.) и лек-

[28] S. R o s p o n d, Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych, Wrocław, 1957.

[29] W. T a s z y c k i, Słowiańskie nazwy miejscowe. Ustalenie podziału, Kraków, 1946.

[30] Свои соображения по поводу критических замечаний рецензентов я выскажу отдельно. Однако критические замечания В. А. Н и к о н о в а (см. его статью «Послевоенные работы по топонимике в славянских странах», «Краткие сообщения [Ин-та славяноведения АН СССР]», 28, М., 1960, стр. 92) я хочу исправить уже сейчас; большинство из них вытекает из непонимания нашей лингвистической (филологической, *тонономастической*) позиции. Нельзя критиковать автора за то, чего он не

сико-семантических (**gъd-* «lacus, palus» и т. п.) типов. Таков принцип «Ономастического атласа славянских территорий», замысел которого относится еще к 1934 г.; пробные части его будут представлены на обсуждение Международному съезду славистов в Софии в 1963 г.

Языковой субстрат и адстрат неоднократно были предметом лингвистического исследования, но главным образом применительно к именам нарицательным; географические же названия вызывали интерес лишь с *точки зрения их этногенеза*. Что же касается метода субституции в языковом и графическом смысле, то в ономастике он в достаточной степени еще не закрепился; вместе с тем это было бы особенно существенно для собственных имен, сохранившихся в латинских документах, поскольку они употребляются там изолированно, вне контекста. Отсюда и столь поражающие расхождения в реконструкции исторических записей, какие мы встречаем, например, в работах С. Пирхеггера и В. Штейнхаузера [31]: *Pangancz=Poganiec* (первая реконструкция) = *spękana góra* («лопнувшая гора»? — вторая).

При исследовании названий двуязычных территорий (славяне — немцы, венгры, румыны, греки) применение метода субституции особенно необходимо. Однако несмотря на то, что такие работы были и со временем они становятся совершеннее [32], в славянской ономастике в этой области есть серьезные методологические недочеты, что подчеркнула острая дискуссия о так называемых Mischnamen на Второй международной ономастической конференции в Берлине.

Еще и сейчас слишком часто при исторических реконструкциях по записям названий возникают полярные противоречия. Славянская ономастика, располагающая документацией в латинской графике, должна заняться систематическим уточнением метода субститутивной интерпретации названий. Отсутствие такого метода снижает ценность интерпретации в хорошем собрании имен собственных С. Козеровского, который литерально реконструировал *Cidini* (XI в.) как *Cydyni*, *Briscleuici* (1155) как *Bresła-*

писал. В. А. Никонов отмечает, что я перепутал два типа названий — на *-поле* и на *-поль* (*Конецполь*, *Севастополь*). Однако у меня приводятся другие названия: русск. *Ставрополь* (стр. 44), *Ольгополь* (там же), польск. *Annopol* (стр. 50). Мне совершенно ясно, что нельзя смешивать сложный тип *Wielopole* (*Tarnopole* → *Tarnopol*) и искусственный (мода XVIII в.) *Ferespol*, *Krystynopol* (греч. *πόλις*). Что же касается названия *Конецполь*, которого я не приводил вообще, то необходимо подчеркнуть, что оно требует подробного исторического исследования. Не ясно, следует ли приведенное в «Географическом словаре Царства Польского» (Warszawa, IV, 1883, стр. 330—331) название *Koniecpol* на Пилице (давнее *Koniecpole*), как и другие названия *Koniecpol*, рассматривать в одном ряду со сложениями типа *Wielopole*, *Ostropole*. Ср. там же *Koniecwałd* (1402 — *Conradswalde*).

По мнению критика, русское название *Холуй* ошибочно отнесенно мною к первичным именам, образованным от личных имен (того же типа, что и *Горький*), в то время как известно русск. диал. *хóлуй* «коряга в реке», «песчаный нанос». Без территориального и исторического исследования автор категорически утверждает, что каждое название *Холуй* должно восходить к имени нарицательному, а не личному. Ср. классификацию этого названия в работе: S. Hrabec, Podział znaczeniowy rosyjskich nazw miejscowych, «Księga pamiątkowa 75-lecia Tow. Nauk w Toruniu», Toruń, 1952. Ср. также фамилию *Холуй* (1500 г.) в словаре Тупикова; М. Фасмер в своем словаре (III, стр. 258) приводит 4 значения этого слова. Я не понимаю упрека в ошибочном занесении в одну рубрику названий *Rzeka* и *Biała* (русск. *Белая*). С точки зрения своей исходной структуры первичными названиями являются и *Rzeka* (*Potok*, *Woda*), и *Biała*, *Bystra* (ведь не считает же автор, что во втором случае всегда должно предполагаться первоначальное *Белая река*?). Эти названия различаются мною в дальнейшей классификации по группам как образованные по типу имен существительных и имен прилагательных.

[31] S. Pirchegger, Die slavischen Ortsnamen im Mürzgebiet, Leipzig, 1927; W. Steinhauser, Ortsnamenforschung und Schallanalyse, AfslPh, XLII, 1929.

[32] См., например: E. Schwarz, Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle, München — Berlin, 1931; R. Trautmann, Die Elb- und Ostseeslavischen Ortsnamen, Berlin, 1948, 1949; его же, Die Slavischen Ortsnamen, Mecklenburgs und Holsteins, Berlin, 1950; R. Fischer, Probleme der Namenforschung an Orts- und Flurnamen im westlichen Böhmen und in seiner Nachbarschaft, Leipzig, 1952.

wice вместо *Przecławice* (нем. *Prieselwitz*, район Вроцлава). На значение этого метода мы обратили внимание в специальной брошюре [33]. Практической же иллюстрацией явятся «Словарь силезских фамилий» (исторический и этимологический) и «Словарь географических названий Силезии» (исторический и этимологический).

С методом субституции связано различение форм живых и форм искусственных, канцелярских. Особенно часто употребляемые имена собственные в отличие от нарицательных нередко стабилизируются в канцелярской форме, вытеснившей разговорную. Ср. *Wąwel* → *Wawel* (*ą* записывали как *a*), *Stosz* ← *Stoisław* (→ *Stwosz*; запись *stvos* читалась по буквам), *Myszko* ← *Myślibora* или *Przemysława* (→ *Mieszko*; субститутивная запись *Mesco* читалась литерально как *Mieszko*). Сюда же, возможно, *Krokбw*: *krok* → *Krakбw* (самые старые записи — *Cracovia* — сделаны в имперской немецкой канцелярии). Канцелярскую форму нельзя считать первичной, хотя именно она и закрепилась. Различение обеих форм следует совмещать с применением структурального метода и метода субституции.

При изучении географических названий или названий местностей топографического типа обязательным является непосредственное наблюдение на месте: важно не только установить разговорное звучание названия, но и соотнести его с топографией и физиографией местности. Нередко этим определяется этимология названия. Достойным подражания образцом здесь следует признать шведскую топонимическую школу. На этом пути топономастика должна все теснее объединяться с диалектологией, например при собирании славянской микротопонимики. Именно так по поручению Комиссии по географическим названиям при Управлении Совета Министров ПНР были собраны топономастические материалы почти на всей территории Польши. Топономастика организационно объединена с диалектологией в Бельгии.

Нет нужды особо доказывать значение филологического и исторического, а также географического (локализационного) методов при документации ономастического материала. Это уже стало opinio communis. Однако специфика письменных источников побуждает вновь подчеркнуть необходимость особого микрофилологического метода [т. е. исследование в свете орфографии определенного периода графической специфики данного канцелярского документа, например такого, как «Geograf Bawarski» (IX в.), «Dagome iudex» и т. п. У каждого из них свои особенности графики]. Ономаст-филолог не удовлетворяется перепечаткой; лишь для самых старых источников он приведет форму оригинала. В современных ономастических работах каждый пример должен быть как можно более тщательно транслитерирован, локализован и идентифицирован. Лишены научной ценности те работы и издания, в которых названия просто транскрибируются [34]. В настоящее время все чаще транслитерируются даже обычные тексты. Тем более строго следует применять транслитерацию для собственных имен, реконструкция которых во многом зависит от записи.

Суммируя полученные выводы, заключаем, что должное развитие славянской ономастики зависит: 1) от широкой исторической и современной документации (особенно для микротопонимики), ее анализа и синтеза, проводимых р а в н о м е р н о и по определенному плану на всей славянской территории; 2) от необходимых для ономастических исследований современных и в с е с т о р о н н е ориентированных методов. Эта вторая проблема ономастической методологии и была предметом настоящей статьи.

Перевела с польского *Т. С. Тихомирова*

[33] См. S. R o s p o n d, Polsko-niemieckie substytucje graficzne i fonetyczne w najdawniejszych dyplomach i tekstach śląskich, «Zeszyty naukowe Uniw. wrocławskiego», 1957; см. также: S. R o s p o n d, Śląskie studia toponomastyczne, I — III, «Rozprawy Komisji językowej [Wrocław. t-wa naukowego]», II — 1959, III — 1961; е г о ж е, Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku (в печати); ср. также наши топонимические заметки в журнале «Język polski» (*Wschowa*, *Szczecin* и др.).

[34] Ср. V. D a v í d e k, O názvech a jménech Těšínska, Opava, 1949.

№ 4 1962

И. КАЗЛАУСКАС

К РАЗВИТИЮ ОБЩЕБАЛТИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ

Как известно, самый древний памятник прусского и вообще балтийских языков — Эльбингский словарь, представляющий так называемый помезанский диалект, имеет в своей фонетике некоторые частные отличия от катехизисов, представляющих так называемый самландский диалект и написанных более чем на 150 лет позже. В связи с этим анализ системы гласных прусского языка целесообразно начать с Эльбингского словаря.

Краткие гласные *u* и *i*, как видно из обозначения их буквами *u*, *i* (*y*, *j*) и *o*, *e*, были в помезанском диалекте довольно открытыми [1]. Краткий гласный *e* также был открытым. На это указывает переход *e* в *a* в некоторых случаях; ср., например, *podalis* «wertloser Topf» (= литов. *puodẽlis* «маленький горшок»), *kraclan* «Brust», *raples* «Zange», *ladis* «лед» и др.[2]. В таком случае краткий *a* также должен был быть открытым гласным [3]: развитие кратких гласных в прусских диалектах происходило симметрически. Однако вопрос о характере краткого *a* в Эльбингском словаре представляет известные трудности. По этому вопросу высказано не одно предположение [4], но он и до сих пор не может считаться решенным. Основное затруднение связано с написанием *o* вместо *a*, которое встречается и в прусских личных именах и топонимах [5]. Я. Эндзелин тщательно обследовал в этом отношении Эльбингский словарь; он выяснил, что в начале слова употребляется только *a*. В других положениях какой-либо закономерности написания *a* или *o* не оказалось [6]. Это подтверждается статистическими данными, приводимыми Я. Эндзелином:

ka	написано	26	раз	— *ko* написано 4 раза (включая формы *ackons* и *aclocordo*)
ga	»	10	»	— *go* написано 4 раза (включая формы *goro*, *golis*, *golimban*)
wa	»	16	»	— *wo* написано 3 раза (включая форму *wormyan*)
ma	»	7	»	— *mo* написано 1 раз
ba	»	9	»	— *bo* написано 2 раза
pa	»	15	»	— *po* не встретилось
da	»	8	»	— *do* написано 1 раз
ta	»	7	»	— *to* не встретилось
la	»	2	»	— *lo* не встретилось
ra	»	19	»	— *ro* не встретилось
sa	»	21	»	— *so* написано 4 раза

Я. Эндзелин замечает, что написание *o* вместо *a* без какой-либо последовательности выступает и в личных именах, а также в местных названиях[7]. Приводимые им данные показывают, что написанное *o* является

[1] Ср.: R. Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, Göttingen, 1910, стр. 102, 110; J. Endzelīns, Senprūšu valoda, Rīgā, 1943, стр. 25 — 26.

[2] См.: R. Trautmann, указ. соч., стр. 105; J. Endzelīns, указ. соч., стр. 23; его же, Pr. *braydis*: lei. *brīedis*, la. *briêdis* u.c., «Filologu biedrības raksti» (далее — FBR), 14, Rīgā, 1934, стр. 102.

[3] Ср. еще J. Endzelīns, Senprūšu valoda, стр. 24.

[4] См. J. Endzelin, Zum *o* für *a* im Elbinger Vokabular, «Studi Baltici», 5, 1935 — 1936, стр. 94 и сл. (здесь дается и обзор литературы по этому вопросу).

[5] См. R. Trautmann, Die altpreußischen Personennamen, Göttingen, 1925, стр. 122 и сл.; G. Gerullis, Die altpreußischen Ortsnamen, Berlin — Leipzig, 1922, стр. 214 — 215.

[6] См. J. Endzelin, Zum *o* für *a* im Elbinger Vokabular, стр. 94 — 98.

[7] См. там же, стр. 95.

сравнительно редким. Однако оно не может быть случайным. Здесь возможны два предположения; 1) или слова с написанием *o* отражают более раннее состояние помезанского говора; это возможно, так как Эльбингский словарь является списком с более раннего оригинала; слова с *o* могли попасть в словарь и из других говоров[8]; 2) или в этом говоре произносился звук *å*, который в одних случаях обозначен буквой *a*, в других — *o*. Второе предположение, как кажется, отпадает, так как в этом случае написание *o* встречалось бы чаще. На то, что ко времени переписывания словаря в диалекте уже имелся открытый *a*, указывает и наличие открытого *e*. Все это ведет к выводу о том, что слова с *o* отражают более раннее состояние помезанского говора или более раннее состояние какого-либо иного говора, если они попали из него в словарь.

Следовательно, система кратких гласных помезанского диалекта такова:

u (открытый)	*i* (открытый)
a (открытый)	*e* (открытый)

Она возникла на основе следующей системы:

u (закрытый)	*i* (закрытый)
o (закрытый)	*e* (закрытый)

Переходим к системе долгих гласных. Качество долгих гласных *ī*, *ū* сомнений не вызывает. Иначе обстоит дело с рефлексами и.-е. *ō*, *ā* и *ē*. Долгий *e* в Эльбингском словаре в середине слова обычно обозначается буквой *e*[9] или *ee*. В конце слова в безударном положении встречается *i* [10] (ср., например, *pelky* «Bruch» = литов. *pelkė* «болото»), однако не закономерно, наряду с *e*. Несомненно, написание слов с *e* отражает более ранний этап; они были переписаны из оригинала без изменений или попали из других говоров. Употребление *i* в безударном конце слов явно указывает на сокращение узкого *ē* в конце слова; ср. аналогичные факты литовских говоров, где безударный узкий *ė* в конце слова при сокращении дает *i* (*sãki* < *sakė* «сказал») [11]. Следовательно, *ē* во время составления списка словаря должен был в помезанском диалекте или в каком-либо другом диалекте быть узким.

Долгие *o* и *a* в словаре обозначаются одинаково буквами *o* или (реже) *oa*. Однако, видимо, одинаковое обозначение этих гласных не означает нейтрализации их противопоставления. В древних памятниках литовского языка одной буквой *o* часто обозначается *o* и *uo*. В памятниках латышского языка одинаково обозначается и открытый, и узкий *ē* [12]. По-видимому, $\bar{o}_1$ (~ и.-е. *ō*) был более узким и более лабиализованным, чем $\bar{o}_2$ (~ и.-е. *ā*), который мог быть гласным более низкого подъема и более слабой лабиализации. $\bar{o}_1$, возможно, еще не полностью превратился в *uo*, так как, как кажется, превращение его в дифтонг *uo* с большой площадью рассеивания вызвало бы соответственно превращение $\bar{o}_2$ в *å* или *ā*. Аргументом в пользу этого предположения является большая древность системы гласных помезанского диалекта (засвидетельствовано памятниками около 1400 г.) в сравнении с системой гласных диалектов, засвидетельствованных другими памятниками (XVI в.).

---

[8] См. об этом J. Endzelīns, Pr. *braydis*: lei. *brîedis*, la. *briêdis* u. c., стр. 102—103.

[9] Написание *ey* (например, *seyr* «сердце») отмечено Я. Эндзелином (см. J. Endzelīns, Sīkumi. XCIV, FBR, 12, 1932). О написании *ea* см. J. Endzelīns, Senprūšu valoda, стр. 26.

[10] См. R. Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, стр. 230.

[11] О сокращении безударных окончаний в прусском языке см. J. Endzelīns, Senprūšu valoda, стр. 32 и сл. В некоторых прусских говорах (как и в некоторых литовских), как кажется, безударные гласные сокращались даже в середине слова; ср. *pomatre* «мачеха», *passons* «пасынок», *ponasse* «верхняя губа» (см. J. Endzelīns, Sīkumi. LXVII, FBR, 11, 1931, стр. 181 и сл.; с его предположением о древнем характере краткости согласиться, конечно, нельзя).

[12] См. J. Endzelin, Was ist im altpreussischen aus ide. *ō* (und *ā*) geworden?, «Studi Baltici», 4, 1934—1935, стр. 143.

Таким образом, система долгих гласных помезанского диалекта (самая древняя, засвидетельствованная памятниками) предстает следующим образом:

$\bar{u}$	$\bar{\imath}$
$\bar{o}_1$	
$\bar{o}_2$	$\bar{e}$

Система гласных, засвидетельствованная катехизисами, отличается от системы гласных Эльбингского словаря тем, что: 1) на месте $\bar{e}$ здесь представлено $\bar{\imath}$ [13], 2) на месте $\bar{o}_2$ представлено $\bar{a}$, 3) на месте $\bar{o}_1$ и $\bar{o}_2$ после лабиальных и гуттуральных представлено $\bar{u}$[14]. В катехизисах встречается также употребление дифтонга *ou* в соответствии с долгим *u* и дифтонга *ei* в соответствии с долгим *ī* [15]. Система кратких гласных в катехизисах в общих чертах совпадает с системой кратких гласных Эльбингского словаря [16]. Они тоже являются открытыми.

При сравнении системы долгих гласных, засвидетельствованной в катехизисах, с системой, засвидетельствованной Эльбингским словарем, можно заметить, что первая отличается от второй узостью некоторых гласных и открытостью других. По-видимому, тип системы долгих гласных, засвидетельствованной словарем, развивался путем сужения: именно так развивались долгие гласные o_1, o_2 (возможно, в связи с этим и $\bar{u}$) в самландском диалекте. $\bar{o}_2$ сузился настолько, что в оптимальном фонетическом положении (после лабиальных и гуттуральных) произошла нейтрализация противопоставления гласных $\bar{o}_1$ и $\bar{o}_2$ и оба они превратились в $\bar{u}$. При дальнейшем развитии системы $\bar{e}$ сузился вплоть до совпадения с $\bar{\imath}$ (гласные переднего ряда обычно более узкие, чем гласные заднего ряда). Гласный $\bar{o}_1$ при сужении превратился, видимо, в *uo*, т. е. в дифтонг с большой площадью рассеивания, поэтому $\bar{o}_2$ начал расширяться и достиг степени $\bar{a}$.

Схематически развитие системы долгих гласных в диалектах прусского языка можно было бы представить так:

I			II			III	
	$\bar{u}$	$\bar{\imath}$		$\bar{u}$	$\bar{\imath}$	$\bar{u}$	$\bar{\imath}$
	$\bar{o}_1$		>	$\bar{o}_1$		*uo*	
	$\bar{o}_2$	$\bar{e}$		$\bar{o}_2$	$\bar{e}$	$\bar{a}$	

В связи с сужением долгих гласных расширялись краткие, т. е.

u *i*	> *u* (открытый)	*i* (открытый)
o *e*	> *a* (открытый)	*e* (открытый)

Расширение кратких гласных объясняется тем, что в связи с сужением долгих гласных корреляция между $\bar{\imath}$ и $\check{\imath}$, $\bar{u}$ и $\check{u}$, $\bar{o}$ и $\check{o}$ должна была прерваться (так как краткие *i*, *u* по своей фонетической природе не могут сужаться сильно). Поэтому *u* и *i* начали расширяться, вступая в корреляцию с $\bar{o}_1$. В связи с этим могли расширяться и краткие *o*, *e*.

На базе системы I, т. е.

$\bar{u}$	$\bar{\imath}$	*u*	*i*
$\bar{o}_1$			
$\bar{o}_2$	$\bar{e}$	*o*	*e*,

развивались системы гласных литовского и латышского языков (звуковое значение $\bar{o}_2$ здесь скорее всего следует понимать как $\frac{a}{\bar{o}}$ или $\frac{o}{\bar{a}}$). Ее с большой уверенностью можно считать общебалтийской системой гласных позднего периода. Отличие в ее развитии на восточнобалтийской почве

[13] В конце слова ударный $\bar{e}$ обычно сохраняется; см. об этом: J. Endzelin [рец. на кн.:] N. van Wijk, Altpreussische Studien, «Slavia», I, 1922—1923, стр. 612.

[14] О превращении $\bar{o}_1$ и $\bar{o}_2$ в $\bar{u}$ см.: F. de Saussure, Les féminins en -$\bar{u}$ du vieux prussien, «Mémoires de la Société de linguistique de Paris», VII, 1, 1892, стр. 82; J. Endzelin, Was ist im altpreussischen aus ide. $\bar{o}$ (und $\bar{a}$) geworden? Однако согласиться с предположением Я. Эндзелина о том, что $\bar{o}$ превратился в $\bar{u}$ только после лабиальных (сохраняясь после гуттуральных), трудно. Этот вопрос требует специального исследования.

[15] См. J. Endzelīns, Senprūšu valoda, стр. 28 и сл.

[16] О написании *o* вместо *a* см.: J. Endzelīns, Par *o* (*a* vietā) prūšu valodas galotnēs, FBR, 11, стр. 194—196.

от развития в прусском языке проявилось главным образом в том, что в корреляцию с гласным $\bar{o}_1$ вошел гласный $\bar{e}_1$, возникший в определенных случаях из *ei* [17].

Литовско-латышской системой гласных надо считать следующую:

$\bar{u}$	$\bar{\imath}$	*u*	*i*
$\bar{o}_1$	$\bar{e}_1$	*o*	*e*
$\bar{o}_2$	$\bar{e}_2$		

Что такая система действительно существовала, показывают факты литовского и латышского языков. Согласно традиционному мнению, дифтонги *en*, *an* развились в латышском языке в $\bar{e}^n > ie$, $\bar{o} > uo$. Причиной этого считается назализация и деназализация. Однако при назализации *en* не обязательно должен был превратиться в $\bar{e}^n$, а *an* — в $\bar{o}^n$. Носовыми гласными могут быть и $\bar{a}$, и $\bar{e}$. По-видимому, *n* в названных дифтонгах на территории латышского языка исчез в то время, когда гласные *o* и *ę* находились в корреляции с $\bar{o}_1$ и $\bar{e}_1$. Возможно, что *o* и *ę* начали расширяться, но это оказалось затруднительным, когда они входили в состав дифтонгов с *n*; это и могло послужить одной из причин исчезновения *n*. В результате исчезновения *n* долгие гласные *ę* и $\bar{o}$ совпали с $\bar{e}_1$ и $\bar{o}_1$ и позже изменялись вместе с ними. На территории литовского языка дифтонги *ęn*, *ęm*, *ǫ̆n*, *ǫ̆m* развивались неодинаково: 1) в восточноаукштайтском диалекте они дали *in*, *im*, *un*, *um*; 2) в южнодзукском диалекте лишь в определенных случаях появились *in*, *im*, *un*, *um*; 3) в большой части жемайтского диалекта (и в некоторых других говорах в определенных случаях) они стали входить в корреляцию с краткими гласными *ę*, *ǫ* < *i*, *u*; 4) в западноаукштайтском диалекте они развились в *en*, *em*, *an*, *am*. Такое разнообразие результатов развития этих дифтонгов на территории литовского языка зависело от разных обстоятельств: от особенностей процесса сокращения слова, от особенностей развития системы гласных и др. Предполагать в соответствии с традицией обратный путь развития, т. е. превращение *en*, *em*, *an*, *am* в *in*, *im*, *un*, *um* и т. п., невозможно, так как ни причины подобного развития, ни сам путь развития нельзя должным образом аргументировать. Кроме того, на былое существование кратких гласных *o* и *ę* указывают некоторые говоры центральной Литвы (Сесикай, Рамгува и др.), в которых редукция кратких гласных в конце слова произошла на таком этапе развития системы гласных, когда существовали краткие *o*, *ę* (ср. им. падеж. ед. числа основ на -*ŏ* *vilkus* < **vilkŏs*, зват. форма основ на -*ŏ* *vilki* < **vilkę* и т. п.). Краткий -*ę* в конце слова развился в *i* почти во всех жемайтских и во многих аукштайтских говорах.

На существование гласного $\bar{o}_2$ указывают балтийские заимствования в финских языках типа фин. *luoma* ~ литов. *lomà* «лог, котловина» ~ ~ латыш. *lāma*; фин. *hako* ~ литов. *šakà* «сук» ~ латыш. *saka* и др.[18]. Кроме того, в части латышского аугземнекского диалекта сокращение циркумфлектированных окончаний, возможно, произошло именно в то время, когда существовали долгие o_2 и e_2 (ср. *rokys* и *zemis*) [19].

[17] Из последних работ см.: J. Kuryłowicz, Łotewsko-litewska monoftongizacija *ai*, *ei*⩾*ie*, BPTJ, XV, 1956; Chr. S. Stang, Ein Beitrag zum Problem vom Diphtong *ie* im Litauischen, «Die Welt der Slaven», I, 2, 1956; P. Skardžius, Zum Wandel *ai*, *ei*> *ie* im Litauischen, ZfslPh, XXVI, 2, 1958.

[18] См. V. Thomsen, Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) sprog, København, 1890, стр. 93. K. Būga, Aistiški studijai, 1-oji dalis, Peterburgas, 1908, стр. 29; его же [рец. на кн.:] J. Plaka, Daži attīstības puosmi latviešu un leišu akcenta vēsturē, Rīgā, «Tauta ir žodis», kn. 2, Kaunas, 1924, стр. 476 (здесь излагается мнение К. Явниса); J. Endzelin, Zur Herkunft der baltischen Lehnwörter des Finnischen, «Mémoires de la Société finno-ougrienne», 67, 1933, стр. 81; E. Nieminen, Der Stammauslaut der ins urfinnische entlehnten baltischen *ā*-Feminina und die Herkunftsfrage, «Finnisch-ugrische Forschungen», XXII, 1—3 [1934]; его же, Reuna ja leuka, Eripainos Virittäjästä, 1, Helsinki, 1945, стр. 54 и сл.; его же, Über einige Eigenschaften der baltischen Sprache, die sich in den ältesten baltischen Lehnwörtern der ostseefinnischen Sprachen abspiegelt, «Sitzungsberichte der Finnischen Akad. der Wissenschaften» (1956), Helsinki, 1957, стр. 186.

[19] См. V. Rūķe, Latgales izlokšņu grupējums. I, FBR, 19, 1939, стр. 155 и сл.

Остается выяснить, каким путем реконструированная нами общебалтийская система позднего периода развилась из трехугольной системы

$$\breve{u} \qquad \breve{\imath}$$
$$\breve{o} \qquad \breve{e}$$
$$\breve{a}$$

И.-е. $\bar{o}$ в безударном положении совпал с $\bar{o}_2$ ($\mathring{a}$), развившимся от и.-е. $\bar{a}$[20]; последнее было связано с сужением ударных гласных. Тот этап развития системы вокализма, когда гласный $\bar{a}$ в ударном положении превратился в $\mathring{a}$, а в безударном положении произносился как $\bar{a}$, отражен в большинстве балтийских заимствований в финских языках. Ввиду этого трехугольная система могла развиться таким образом:

В ударном положении				В безударном положении			
$\bar{a}$	$\bar{\imath}$	u	i	$\bar{u}$		$\bar{\imath}$	u i
$\bar{o}_1$	$\bar{e}$			$\bar{o}_2$		$\bar{e}$	
$\bar{o}_2$		$\mathring{a}$	e		$\bar{a}$		a e

В связи с тем, что краткий гласный a под ударением переходил в $\mathring{a}$ вместе с $\bar{a}$, переходившим в том же положении в $\bar{o}_2$ ($\mathring{a}$), краткие o и $ę$ могли перейти в корреляцию с $\bar{o}_2$. В корреляцию с $\bar{o}_2$ из корреляции с $\bar{o}_1$ мог перейти и гласный $\bar{e}$ вместе с краткими $\bar{o}$ и $ę$. Краткий балтийский гласный $\mathring{a}$ передавался финским a. Однако возможен и другой путь развития. Уже в прабалтийском могло произойти совпадение кратких o и a в a, в связи с чем e тоже перешел в корреляцию с a, как и $\bar{e}$ мог перейти в корреляцию с $\bar{o}_2$ (из корреляции с $\bar{o}_1$).

Ввиду апофонических явлений и других фонетических, а также и морфологических факторов система ударенных гласных закрепилась и в безударном положении. Так могла развиться общебалтийская система гласных позднего периода:

$\bar{u}$	$\bar{\imath}$	u	i
$\bar{o}_1$			
$\bar{o}_2$	$\bar{e}$	o	e

Эту систему, возможно, отражают некоторые балтийские заимствования в финских языках, в которых краткий гласный o передан уже финским o. Во всем или в части литовско-латышского ареала в связи с возникновением корреляционной пары $\bar{o}_1 : \bar{e}_1 (< ei)$ краткие гласные o, e могли перейти в корреляцию с $\bar{o}_1$ и $\bar{e}_1$. Позже в результате сужения $\bar{o}_1$ в uo и $\bar{e}_1$ в ie краткие гласные o, $ę$ (а затем и долгие o_2, e_2) начали расширяться в направлении $\breve{a}$ и $\breve{e}$. В определенных случаях в говорах литовского и латышского языка краткие o и $ę$, возможно, сохранились до сих пор. Долгие гласные o_2 и e_2 в некоторых говорах литовского языка (как и латышского) расширялись до $\bar{a}$, $\bar{e}$; в других расширение было не столь полным.

[20] Это будет показано нами отдельно в другом месте. Крупнейшие балтисты XX в. К. Буга, Я. Эндзелин, Э. Френкель, Я. Отрембский принимали единое развитие и.-е. $\bar{o}$ в восточнобалтийских языках. См.: K. Būga, Rinktiniai raštai, 2, Vilnius, 1959, стр. 331—376; J. Endzelin, Le. *nâkt*: li. *nókti*: got. *nēhw*, und der Wechsel von $\bar{e}$ und $\bar{a}$, KZ, 62 [1—2], 1935; его же, Le. *bûokstît* und Verwandtes, «Archivum philologicum», V, Kaunas, 1935; его же, Latviešu valodas gramatika, Rīgā, 1951, стр. 58 и сл.; E. Fraenkel, Die baltischen Sprachen, Heidelberg, 1950, стр. 78; Я. С. Отрембский, Славяно-балтийское языковое единство, ВЯ, 1954, 6, стр. 31 (менее ясно: J. Otrębski, Gramatyka języka litewskiego, 1, Warszawa, 1958, стр. 180—182). Лишь Х. Станг принимает двоякое фонетическое развитие и.-е. $\bar{o}$ в балтийских языках, хотя и не указывает, в каком случае и.-е. $\bar{o}$ превратилось в $\bar{a}$ [см. Chr. S. Stang, Das slavische und baltische Verbum, Oslo, 1942, стр. 196 — 197 (примеч. 1)]. Еще раньше о превращении в некоторых случаях и.-е. $\bar{o}$ в uo в балтийских языках говорил А. Мейе (см. A. Meillet, Wstęp do językoznawstwa indoeuropejskiego, Warszawa, 1958, стр. 95—96), а также Г. Хирт [см. H. Hirt, Indogermanische Grammatik, Tl. II, Heidelberg, 1921, стр. 33 (критику мнения последнего см. K. Būga, Rinktiniai raštai, 2, Vilnius, 1959, стр. [illegible])]. 2

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М. М. ГУХМАН

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ

Выяснение содержания понятия «система» в применении к двум, казалось бы, противоположным аспектам рассмотрения языка предполагает прежде всего разграничение разных сфер использования этого понятия. Термины «система», в равной степени как и «синхрония» и «диахрония», используются: 1) для определения специфики и важнейших характеристик самого объекта науки, т. е. языка, и 2) для определения методов, применяемых при изучении и описании данного объекта науки. В первом случае пытаются дать ответ на вопросы, каков объект науки и каковы закономерности его функционирования и развития, во втором стремятся определить принципы, способствующие наилучшему изучению и описанию этого объекта. И хотя имеется несомненная связь между спецификой объекта науки и методами его изучения и описания, разграничение этих двух сфер представляется весьма существенным, поскольку их смешение внесло много неясностей в толкование названных выше понятий. В настоящей статье вопрос о «системе» рассматривается лишь в целях характеристики объекта науки.

Само понятие объекта лингвистической науки не гомогенно: оно включает, с одной стороны, такой непосредственно данный для наблюдения объект, как речевая цепь, речевой отрезок, текст, высказывание (по терминологии Блумфилда и его школы), и, с другой — язык, как то общее, та целостная структура, отдельными проявлениями которой являются высказывание или речевая цепь, или текст. Можно сказать, что язык не дан непосредственно в опыте, но единицы любого языка и охватывающие эти единицы системные связи вычленяются как результат анализа и обобщения фактов, непосредственно данных в речевых отрезках.

Оставляя в стороне вопрос о соотношении языка и речи и не давая развернутых характеристик этих двух важнейших лингвистических понятий, укажем лишь, что и в понятие «язык» может быть вложено разное содержание. Не трудно заметить, что в отдельных лингвистических школах разная степень формализации и обобщения не только определяет разные типы описания языка, но и обусловливает разное понимание самой природы объекта науки. Этим объясняется тот факт, что у разных представителей лингвистической науки под языком и языковыми единицами понимаются результаты, полученные на разных ступенях обобщения и упрощения. Так, например, фонологическая система конкретного языка (русского, немецкого и т. д.), включающая систему фонем этого языка, их вариативность, их характеристики, оппозиции, функциональную нагруженность этих оппозиций и закономерности их нейтрализации и т. д., сама по себе представляет уже построение или модель, полученную в результате обобщения и формализации; но возможны, несомненно, и дальнейшие ступени формализации и обобщения (ср., например, так называемый уровень конструктов, предложенный С. К. Шаумяном).

Следовательно, рассмотрение понятия «система» и «системность» в применении к языку предполагает также уточнение того, что понимается ис-

следователем под языком, иначе говоря, о какой языковой модели идет речь.

Очевидно, вряд ли кто-нибудь будет отрицать, что известная системность, хотя и в разных планах, присуща как речевому отрезку, так и языку. В самом деле, любой текст, любое высказывание представляет собой не хаотическое нагромождение и не простую сумму единиц, но определенно организованное целое, определенное построение. Характер организации целого, средства, используемые для осуществления этой организации, варьируются в зависимости от строя языка; однако наличие связи элементов, конструирующих единицу сообщения или речевой отрезок, наряду с потенциальной членимостью целого, являются постоянными признаками речевого отрезка.

При известной многозначности слов и грамматических форм валентность элементов речевого отрезка уточняется в пределах целого и, таким образом, не является полностью автономной и независимой. Нормы сочетаемости разных языковых единиц, преломляясь в компонентах речевого отрезка, варьируются в зависимости от задач и построения целого. Вместе с тем потенциальная членимость речевого отрезка позволяет выделить определенные звенья, объединяющие зависимые друг от друга единицы: в процессе членения речевого отрезка выступают разные типы зависимостей и разные типы связей. Таким образом, системный характер речевого отрезка, его системность, проявляются: 1) в организации целого, 2) в использовании единиц языка, а следовательно, в их валентности, 3) в цепи зависимостей и связей.

В применении к речевому отрезку, взятому изолированно, представляется возможным говорить об его «замкнутости» (относительной), его «закрытом характере», его «устойчивости». Изменение одного из компонентов речевого отрезка, его трансформация имеет следствием уничтожение данного речевого отрезка и его замену другим отрезком. При этом системность характеризует рассматриваемый речевой отрезок безотносительно к развитию и изменению, или, вернее, вне развития и изменения. Несмотря на то, что всякому речевому отрезку присуща протяженность во времени, и несмотря на то, что все изменения, происходящие в любом языке, манифестируются сначала на уровне речи, т. е. в конкретных речевых отрезках, сами речевые отрезки, рассмотренные дискретно, не соотнесены ни с какой эволюцией, или диахронией. Точнее: они представляют собой как текст чистую статику, или синхронию.

Значительно сложнее и противоречивее характеристики языка, связанные с определением его как системы, с выявлением степени системности в его построении и функционировании. Сама сложность такого объекта, как язык, заставляла одних языковедов рассматривать его как систему систем (В. Скаличка), других — применять термин «система» только к связям и зависимостям гомогенных единиц, т. е. единиц одного яруса, тогда как связи и зависимости единиц разных ярусов соотносились с понятием «структура» (А. А. Реформатский и Н. Н. Коротков) [1].

По-видимому, действительно типы связей в обоих случаях являются до известной степени различными; так, соотношения, связывающие фонемы одного ряда, или взаимозависимости, объединяющие словоформы в определенный парадигматический ряд, будут иными, чем тот тип зависимостей, который характерен для соотношений структуры атрибутивного сочетания прилагательного с существительным и морфологических характеристик самого прилагательного. Взаимозависимость и связи гомогенных единиц не тождественны связям и взаимозависимостям единиц гетерогенных. Но вместе с тем именно наличие перекрещивающихся связей и взаимозависимостей, при разной степени охвата этих связей, является

[1] Подробнее об этих вопросах см. тезисы доклада Н. Н. Короткова на дискуссии «Проблема системности в языке» (М., 1962).

наиболее существенным для системности языка, для его целостности. В формулировке, принятой в последнем издании своего учебника, А. А. Реформатский [2] практически приблизился к такому пониманию, утверждая, что системы отдельных ярусов языковой структуры,взаимодействуя друг с другом, образуют общую систему языка. Иными словами, понятие «система» присуще как отдельным ярусам языка (фонетике, морфологии, синтаксису), так и целостной языковой структуре. Но стоит ли в таком случае строить анализ соотношения разных системных связей на противопоставлении понятий «системы» и «структуры», если и структура оказывается системой? Мне думается, что нет.

При выявлении характера системности в языке особенно существенным является разграничение определений, присущих коду или любой другой искусственной системе символов, и определений, отражающих специфику так называемых «естественных языков».

Любой код или система символов представляет собой замкнутую синхронную систему знаков, находящуюся в положении покоя и равновесия. Все те характеристики, которые представляют подобную знаковую систему с точки зрения ее замкнутости, равновесия и чистой синхронности, вполне адекватны природе этих объектов. Иначе обстоит дело с так называемыми «естественными языками», исторически сложившимися, представляющими собой результат разновременных напластований и функционирующими в разных сферах общения (что особенно существенно). «Естественные языки» обладают не только набором определенных норм, но и широкой вариативностью этих норм, проявляющейся в различных функциональных стилях. Качественное отличие кода от языка особенно наглядно выступает в том, что проблема языка и речи, столь существенная для так называемых «естественных языков», практически снимается при характеристике кода.

Однако в определенных методических и методологических целях возможна формализация естественных языков, связанная с их превращением в подобие кода. В этом случае в известной степени снимается специфика так называемых «естественных языков» и создается упрощенная и обобщенная модель языка, в значительно большей степени удовлетворяющая требованиям замкнутой системы, находящейся в состоянии равновесия. Но это будет иной объект науки, специально созданный в определенных целях и обладающий своими особыми признаками. Этот обобщенный и тем самым упрощенный и более бедный своим содержанием объект науки, конечно, соотнесен с так называемыми «естественными языками», но не отражает всей совокупности особенностей и закономерностей их функционирования, а тем более развития.

В отличие от кода и специально формализованных моделей, язык, какой бы синхронный срез ни был взят, не представляет собой замкнутой системы, находящейся в состоянии полного равновесия, несмотря на то, что конститутивные единицы языка в своем преобладающем большинстве функционируют как элементы бóльших или меньших систем, между которыми в свою очередь имеются многообразные связи и зависимости.

В лингвистической науке еще не создана типология системных связей, которая бы учитывала не только специфику системных связей между гомогенными и гетерогенными языковыми единицами, но и различия, присущие разным языковым ярусам, а также разный характер связей внутрипарадигматических и межпарадигматических. Одно несомненно — констатация существования разных типов оппозиций отнюдь не исчерпывает тех сложных связей и взаимозависимостей, которые представлены в языке и являются манифестацией все той же системности. Противопоставления представляют собой лишь один, хотя и весьма существенный вид языковых зависимостей.

[2] А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1960, стр. 26.

Отсутствие типологии системных связей лимитирует все рассуждения о природе системности в языке, так как высказываемые по этому поводу соображения могут носить лишь предварительный характер; цель их — обратить внимание на многообразие системных отношений, не сводимых к механизму противопоставлений.

*

В настоящее время почти труизмом является положение, что валентность не только фонем, но и грамматических словоформ зависит от их позиций в системе. Этим объясняются, в частности, многие различия, наблюдаемые в функционировании одних и тех же грамматических моделей в разных родственных языках; можно в этой связи сослаться на различную валентность перфекта не только в немецком и английском языках, но и в немецком литературном языке по сравнению с южными немецкими диалектами. В немецком и английском языках парадигма глагола включает разное число компонентов в связи с наличием форм Continuous в английском и их отсутствием в немецком языке; тем самым английский и немецкий перфекты участвуют в разных противопоставлениях и обладают нетождественной системой дифференциальных признаков. В южнонемецких диалектах — в отличие от немецкого литературного языка — отсутствует претерит, в связи с чем в этих диалектах и валентность перфекта не тождественна валентности той же формы в немецком литературном языке, где она противостоит не только презенсу и плюсквамперфекту, но и претериту.

Парадигма, так же как и отдельный парадигматический ряд, представляет собой определенную систему связей и взаимозависимостей; исчезновение одного из звеньев ведет обычно к перераспределению различительных признаков между оставшимися звеньями или к втягиванию в эту малую систему единиц, первоначально находившихся вне данной парадигмы. Таким образом, морфологическая парадигма определяется как малая система, строящаяся на основе перекрещивающихся связей и взаимозависимостей. Соотношение компонентов внутри парадигмы значительно сложнее динамики оппозиции и нейтрализации, наблюдаемых в процессе функционирования фонологических единиц.

Весьма существенным для характеристики связей между морфологическими единицами и для определения особенностей системности в применении к морфологии является также тот факт, что системность проявляется здесь не только во взаимозависимостях, наблюдаемых внутри парадигмы, но и в стандарте построения парадигм и парадигматических рядов у определенных классов слов: так, например, парадигма всех непереходных глаголов характеризуется в немецком языке одинаковым набором грамматических словоформ; иной, но также стандартный набор словоформ характеризует и парадигму глаголов переходных. Неслучайно при выяснении вопроса о том, входят ли определенные лексические группировки глаголов (например, русские глаголы на *-ся*, скандинавские глаголы на *-s*, готские глаголы на *-nan*) в глагольную парадигму, решающим является наличие или отсутствие стандартных противопоставлений, компонентом которых они выступают. Точно так же превращение особых типов сочетаний частичного и полного слова в аналитическую форму связано с тем, возможно ли образование этих конструкций от преобладающего большинства глаголов и к тому же со стандартной валентностью. Насколько эта стандартность в построении парадигмы важна для морфологии многих языков, видно на примере супплетивных форм, образующих систему по образцу и подобию так называемых правильных парадигм (т. е. с тем же числом компонентов) и характеризующихся той же валентностью и теми же различительными признаками (ср., например, спряжение глагола бытия в разных индоевропейских языках). Эта стандартность набора компонентов парадигмы может объединять единицы с разными приемами формо-

образования (ср. сильные, слабые и претерито-презентные глаголы в германских языках).

Если взаимозависимость между компонентами одного типа парадигм, например между падежами в ед. числе, характеризует только внутрипарадигматические связи, то существуют наряду с этим и межпарадигматические связи, прослеживаемые, например, во многих индоевропейских языках между временным рядом действительного и страдательного залога или между системой падежей в ед. и мн. числе и т. д. Парадигма глагола или имени в целом представляет собой сложную систему, объединяющую как внутрипарадигматические взаимозависимости в собственном смысле, так и межпарадигматические связи.

Казалось бы, именно анализ морфологических парадигм, внутрипарадигматических и межпарадигматических связей должен привести к выводу, что морфологический строй языка представляет собой идеальную систему, а морфологический синхронный срез позволяет говорить о замкнутой системе, находящейся в состоянии равновесия. Однако в действительности отношения и нормы, наблюдаемые в морфологических синхронных срезах разных языков, гораздо более противоречивы и дают многочисленные отклонения от той идеальной системности, которая была разобрана выше. Остановимся на анализе некоторых примеров.

В готском языке, засвидетельствованном текстами IV—V вв., временной ряд в действительном и страдательном залогах не тождествен: в действительном имеются две временные формы (настоящее время и претерит), а в так называемом медиопассиве — одна форма, во временном отношении коррелирующая с настоящим временем действительного залога. Не касаясь генезиса этой особенности, укажем лишь, что парадигмы действительного и страдательного залогов в готском языке в отличие от современного немецкого не обладали одинаковой емкостью. Однако давление системы, выражающееся в необходимости отразить залоговые противопоставления не только в аспекте настоящего времени, но и в аспекте претерита, приводит к использованию разных языковых средств, не входящих в систему словоформ глагола в собственном значении этого слова. Так, часто используется претерит определенного класса непереходных глаголов, обозначавших наступление состояния, не зависимого от действия субъекта, типа гот. *usluknan* «открываться, стать открытым» в отличие от *uslukan* «открывать»; *ushauhnan* «возвеличиться, быть возвеличенным» в отличие от *hauhjan* «возвеличивать» и т. д. Наряду с этим используются и словосочетания причастия II с претеритом глаголов *wisan* «быть» и *wairþan* «становиться» типа *was uslukans* и *warþ uslukans*. Употребление всех этих образований перекрещивается; они не имеют стандартной позиции в глагольной парадигме готского языка, а занимают периферийное положение по отношению к морфологическому ядру. Таким образом, в готском глаголе отмечается отсутствие единого стандарта не только в составе временных форм действительного и страдательного залогов, но и в соотношении единственной временной формы медиопассива с коррелирующими образованиями, находящимися вне глагольной парадигмы. Это подчеркивает открытый характер глагольной парадигмы, несмотря на явное влияние принципа системности в функционировании указанных внепарадигматических единиц. Вместе с тем та стандартность парадигматических схем, которая выше рассматривалась как проявление системности, отнюдь не характеризует в равной степени строй разных языков.

На прошедшей недавно научной сессии по германским языкам в докладе «Структура древнегерманских глагольных основ и оформление парадигматических рядов» [3] я отмечала наличие в индоевропейских языках двух типов построения глагольных парадигм. Стандартность, одинаковая емкость парадигм у разных классов глаголов, характеризует лишь опре-

[3] Ср. «Тезисы III научной сессии по германским языкам», М., 1961.

деленную группу древних индоевропейских языков и является при этом, по-видимому, более поздним этапом развития этих языков. Для таких же языков, как древнеиндийский и греческий, особенно в древнейшую эпоху их существования, характерны пестрота и рыхлость в построении парадигматических рядов, разная емкость парадигм у разных глагольных корней, разная валентность одних и тех же моделей в системе словоформ у разных классов глаголов. При таком положении особое значение приобретала системность внутри индивидуальных парадигм: так, например, одна и та же структурная модель занимала разные позиции в глагольном ряду, в зависимости от того, с какими моделями она соотнесена. Др.-инд. формы *ásthāt* и *átirat* построены по одной модели, но первая из них функционирует в системе форм глагола *sthā-* как аорист, а вторая в системе форм глагола *tar-/tir-* как имперфект. Решающей является структура презентной основы; если структура презентной основы та же, что и у рассматриваемой формы (ср. *átirat* и *tiráti*), то соотношение этих форм равно соотношению имперфекта к презенсу; если же, наоборот, презентная основа не тождественна основе рассматриваемой формы (ср. *ásthāt* и *tiṣṭhati*), то эта же модель функционирует как аорист.

Отсутствие стандартности парадигм у разных глаголов, а следовательно, и той системности формообразования, которая связана со стандартностью набора компонентов парадигмы, как бы компенсируется особой взаимозависимостью между членами индивидуальных парадигм; но при таком положении даже морфологию ведического глагола трудно рассматривать как строгую замкнутую систему однотипных связей и зависимостей. Весьма показательно, однако, что тенденция к стандартности и, следовательно, более объемной системности проявляется также в языках этого типа. Более позднее развитие индийского глагола обнаруживает именно подобные тенденции.

Таким образом, синхронная морфология разных языков позволяет установить наличие малых систем, представленных парадигмами и парадигматическими рядами, обнаруживающими, однако, разную степень стандартности, системности и замкнутости. В ряде случаев компоненты парадигм образуют своеобразное ядро, к которому примыкают внешние для данной парадигмы единицы, нередко выходящие за пределы морфологической парадигматики (в этой связи показателен не только готский язык, но и синхронный срез других древних германских языков, где к двучленной временной парадигме «подстраивались» разные типы глагольных словосочетаний частичного и полного слова).

Вместе с тем в синхронной морфологии пока не удается показать существование системы общих координат, определяющих, например, оппозиции, свойственные данному языку в разных классах слов. Наметившаяся связь между принципами моделирования субъектно-объектных отношений в имени и в глаголе касается лишь одного звена и прослеживается только в применении к некоторым языкам. Таким образом, оставаясь в пределах связей и отношений одной морфологии, приходится говорить либо о малых системах, либо о системных связях ограниченного охвата, о наличии определенной системности и о тенденции сделать эту системность более объемной. Взаимодействие и взаимосвязи между морфологией и синтаксисом в свою очередь обнаруживают разные типы системности.

1. Синтаксические единицы оказываются соотнесенными до известной степени с той или иной малой морфологической системой, обнаруживая определенные корреляции и противопоставления. В плане диахронии это может привести к втягиванию некоторых сочетаний в регулярные оппозиции с компонентами парадигматического ряда, что приводит к образованию так называемых аналитических форм, новых полноправных членов парадигмы.

2. Иной аспект связей и взаимозависимостей выступает в корреляции дифференциальных признаков морфологических единиц и структуры сло-

восочетаний. Так, например, разная структура атрибутивного словосочетания «прилагательное+существительное» в английском и немецком языках обусловлена разными морфологическими характеристиками прилагательного и артикля: в немецком прилагательное обладает показателями, выражающими дифференциацию по роду, числу и падежу в так называемом сильном склонении (в слабом склонении недостаточность выражения этих значений компенсируется формами артикля), в английском прилагательное, лишенное морфологических характеристик, примыкает к существительному.

3. Основная модель построения предложения и морфологическая типология в свою очередь представляют собой коррелирующие величины: очевидно, бедность морфологических характеристик слова обусловливает такую структуру предложения, где порядок слов маркирует функцию слова в предложении. Следовательно, системные связи и зависимости пронизывают структуру языка, начиная от простейших двучленных оппозиций и кончая межпарадигматическими связями и зависимостями. Не только системность является одной из существенных характеристик языка, но и тенденция к системности — один из внутренних факторов развития языка.

Без определенного уровня системных связей язык вообще не мог бы функционировать как средство общения. И вместе с тем языковая структура не представляет собой идеальной системы, полностью охваченной сетью стандартных противопоставлений и взаимозависимостей. Наличие в языке, и притом на разных его уровнях, малых систем, связи между которыми имеют нередко внешний характер, существование, наряду с этими малыми системами, периферийных явлений (либо выпавших из малой системы, либо еще не включенных в нее), а также существование в языке разных функционально-стилистических пластов, указывающих на значительную вариантность языковых стандартов, приводят к необходимости подчеркивать особый характер системности в языке, условно обозначаемый термином «открытая система». Этот тип системности равно присущ как статике, так и динамике языка. Иными словами, он наблюдается в равной степени при анализе синхронного языкового среза и при изучении развития языка, т. е. в диахронии.

*

«Открытый» характер языковой системы в статике обусловлен прежде всего тем, что любой синхронный срез фиксирует языковые элементы, находящиеся на разных уровнях включения в систему стандартных противопоставлений и взаимозависимостей. Тем самым синхронный срез неизбежно включает как ведущие и определяющие данную языковую систему элементы, так и элементы, для данного состояния периферийные. Дифференцированное описание этих двух категорий, отражающее природу изучаемого объекта, обычно вносит элемент динамики, или диахронии, хотя возможна и чисто синхронная констатация разного типа соположений, существующих в языке.

Но в плане характеристики самого объекта науки, т. е. конкретного языка, «открытый» характер системы и существование периферийных элементов, не включенных в стандартные противопоставления и взаимосвязи, является фактом, связанным с языковым развитием, т. е. с диахронией, с наличием в системе любого языка разновременных отложений. Поэтому «чисто синхронный срез» отражает реальные связи в применении к коду или к формализованным моделям; в отношении же к конкретным языкам он существует лишь как определенная методика описания объекта науки. Для характеристик, определяющих специфику самого объекта науки, представленного конкретными языками, абсолютизация противопоставления «диахрония — синхрония» фактически снимается.

Системные связи, существующие в языках, могут быть показаны в условиях идеально взятого синхронного среза путем анализа закономерно-

стей функционирования языка. Но особенно четко они проявляются в процессе формирования новых или в перестройке старых рядов, т. е. в диахронии. Это определяется самим характером многих изменений языка, обусловленных общей тенденцией к системности, включая и стандартность, а также наличием так называемого давления системы. Можно сказать, что тенденция к системности и стандартности проявляется практически в развитии грамматического строя всех индоевропейских языков, охватывая с разной степенью интенсивности разные явления и характеризуя с разной силой эволюцию отдельных языков. Фактически с этим связаны такие изменения в системе имени, как ликвидация дробности типов склонения путем включения малочисленных группировок в более емкие классы, наблюдаемая во всех индоевропейских языках, но происходившая в разных языках далеко неравномерно. Характерно, что аналогичные тенденции реализуются и в системе глагола, где происходило в разное время образование стандартных по своей емкости парадигм, отличающихся обобщенными противопоставлениями, независимыми от существовавших морфологических классов.

Давление системы может выступать как фактор языковых изменений и как причина распространения какого-либо нового явления. В обоих случаях система выступает как объект, соотнесенный с диахронией. Остановимся на анализе двух примеров.

Перфект в современном немецком языке развился из сочетаний служебных глаголов *sein* и *haben* с причастием II. Оба члена словосочетания первоначально функционировали как две независимые единицы; при этом непереходные непредельные глаголы типа *gangan* (совр. *gehen*), *stantan* (совр. *stehen*) не имели причастия II и, следовательно, от них не могли быть образованы словосочетания указанного типа. Однако, когда существовавшие в языке словосочетания с причастием II от переходных глаголов и от непереходных предельных глаголов, функционируя в качестве постоянных членов временных противопоставлений, были охвачены процессом постепенного включения в глагольную парадигму, непредельные непереходные глаголы получили модель причастия II специально для образования аналитических форм перфекта и плюсквамперфекта. Благодаря этому была создана стандартная парадигма для всех глаголов. При этом в течение длительного времени формы причастия этих глаголов не могли употребляться в атрибутивных словосочетаниях, да и сейчас такое употребление их в разговорном языке невозможно, а в письменном языке весьма ограничено. Давление системы, приведя к образованию новой формы у непереходных непредельных глаголов, не привело к распространению на эту форму всех функций причастия II других глаголов.

Еще более сложную картину дает тенденция к системности, когда сталкиваются две различные системы, будь это системы двух диалектов одного языка или двух разных языков.

Консонантизм современного литературного немецкого языка отличается от консонантизма всех других германских языков и от консонантизма северных так называемых нижненемецких диалектов наличием аффрикат *pf*, *tz* вместо *p*, *t* или щелевых *f*, *s*, *h* вместо *p*, *t*, *k* (ср. н.-нем. *appel* — лит. *apfel*, *ik* — *ich*, *open* — *ofen*). В диалектах, даже охваченных этим явлением, имеются свои градации в реализации этой особенности, свидетельствующие в пользу того, что изменения общегерманских глухих смычных имели свой первоначальный очаг в ограниченной диалектной области на юге Германии.

Продвижение этого явления в другие диалекты происходило постепенно; поддерживаемое авторитетом южной письменной традиции, оно охватило длительный промежуток времени, а именно ряд столетий, и реализовалось не как спонтанный фонетический процесс, но первоначально через определенные лексические группы, так что в одной и той же позиции в разных словах можно было найти передвинутые и непередвинутые

согласные. Остатки этого своеобразного явления наблюдаются и сейчас в устной речи жителей города Кельна. Диалект этой области одним из последних воспринял передвинутые согласные. Но и сейчас имеется значительная лексическая группа, сохранившая старый консонантизм. По преимуществу это просторечная лексика, не входящая в состав литературного языка: *rut* «оконное стекло», лит. *Fensterscheibe*, *brōk* «брюки», лит. *Hose*; *plūtən* «тряпка», лит. *Lumpen*. Любопытно, что некоторые единицы, используемые с разным значением, имеют две формы; так, например, «обезьяна» как название животного имеет передвинутое *p* и звучит *āf*, но если, ругая человека, его называют «обезьяной», то слово употребляется с непередвинутым *p* (ср. также *Storch* «аист», но *stork* «упрямый человек»). Приведенная история немецкого передвижения согласных иллюстрирует процессы, связанные со столкновением двух фонетических систем: старой германской системы с непередвинутым консонантизмом и новой с измененным консонантизмом.

Тенденция к системности, выразившаяся в постепенном охвате данным процессом основных лексических пластов, частично лишь ограничиваемых определенными фонетическими условиями, столкнулась с влиянием факта социальной дифференциации лексики,— дифференциации, существующей в пределах языка одного и того же города Кельна. Сама дифференциация лексики явилась результатом взаимодействия двух лексических систем: разговорно-диалектной и письменно-литературной, оказавшихся в известных своих частях включенными в ту систему, которую представляет собой современный разговорный язык города Кельна.

Можно привести множество разных случаев восприятия системой одного языка или диалекта элементов системы другого языка или диалекта, причем воспринимающий язык может по-разному реагировать на иносистемные элементы. Разные факторы вступают здесь в действие. Показателен в этом отношении лексический материал: заимствованная лексика оказывается проводником, через который в систему воспринимающего языка попадают иносистемные фонемы, акцентные структурные слова и словообразовательные модели. Положение этих иносистемных единиц в системе воспринимающего языка в разных конкретных случаях оказывается диаметрально противоположным. Так, известно (этот факт в свое время приводил Т. П. Ломтев в своем выступлении на дискуссии по субстрату), что фонема /ф/ не только попала в русский язык через греческие заимствования, но и создала здесь новую оппозицию /ф/—/в/, повлияв вместе с тем и на дифференциальные признаки звонкого щелевого /в/; иноязычный элемент тем самым не только оказался включенным в систему, но и повлиял на ее преобразование. Между тем известны многочисленные случаи, когда фонетические особенности заимствованной лексики оказываются фактически на периферии фонологической системы заимствующего языка: такова судьба /ʒ/ в единичных немецких заимствованиях из французского языка: ср. *Journal*, *Genie*, старое название площади Академии в Берлине *Gendarmenmarkt*. В разговорном языке вместо /ʒ/ нередко произносят /ʃ/.

Не менее различна судьба иноязычных словообразовательных моделей. В одних случаях имеется полная адаптация этих моделей словообразовательной системой заимствующего языка, так что они не только становятся образцом для многочисленных образований, но и вытесняют функционально тождественные или очень близкие модели, как это было с латинской словообразовательной моделью типа лат. *molinarius*, вытеснившей старую германскую модель действующего лица типа др.-нем. *boto* «посланец», *ezzo* «едок». В других случаях эти иноструктурные модели остаются на периферии словообразовательной системы заимствующего языка, сохраняясь лишь в единичных лексических единицах типа суффикса *-tät* в немецком языке. Включение иноязычных элементов происходит столь многообразно, что тенденция к системности и стандартности в заимствующем языке может проявляться с большей или меньшей степенью интенсив-

ности в двух, казалось бы, совершенно противоположных направлениях: 1) путем подчинения заимствованных элементов нормам заимствующего языка, т. е. через их ассимиляцию (ср. судьбу древнейших латинских заимствований в германских языках, менявших структуру слова по нормам германских языков); 2) путем перестройки своей системы и превращения иносистемной единицы в коррелят новой системы. Но, как отмечалось выше, не исключены случаи, когда ядро языковой системы остается без изменения, а иноязычные явления оказываются на ее периферии. Таким образом, отнюдь не все новое в языке оказывается включенным в систему, возможны инновации, не влияющие непосредственно на системные связи.

Началом процессов, влияющих на систему языка, могут быть изменения одного элемента системы или изменения соотнесенных единиц определенного ряда; и в том и в другом случае эти изменения приводят к изменениям системных отношений. Диахронический факт, например расщепление одной фонемы /u/ на две фонемы /u/ — /o/, происшедшее в большинстве германских языков в результате превращения позиционно обусловленных вариантов в два самостоятельных члена оппозиции, становится фактом языка лишь тогда, когда это явление перестает быть единичным и обособленным, бытующим только в определенных индивидуальных речевых отрезках, и становится нормой, стандартом, охватившим все лексические единицы, включавшие ранее старое /u/, т. е. приобретает системный характер.

Для системности реализации этого факта не существенно то обстоятельство, что закрепление одного из вариантов в той или иной конкретной единице иногда нарушало основную фонетическую закономерность. Появление новой фонологической единицы, создавая новые типы противопоставлений и связей, естественно, видоизменяло фонологическую систему соответствующих языков. Даже если изменение фонологической единицы не создает нового члена системы в случаях, когда фактически происходит совпадение двух фонем (как это имело, например, место в северных и западных германских языках, где /a:/ < /e:/ совпало с /a:/ < /a/), изменение частотности оппозиции (например, /a:/: /a/), ограниченной первоначально лишь немногими словами, не является внешним для фонологической системы фактом, но относится к одной из характеристик самой системы, хотя изменения этого типа менее существенны для системы, чем возникновение новой фонемы. Иными словами, изменение единицы системы начинается как обособленный внесистемный факт на уровне речи с тем, чтобы превратиться на уровне языка в факт изменения той или иной частной системы.

Вопрос о различной системной значимости изменений отдельных единиц языка нуждается, безусловно, в уточнении. Различная значимость зависит от валентности самой меняющейся единицы в системе языка, от того, включена ли эта единица в те взаимозависимости и связи, которые являются ведущими в структуре языка, или, наоборот, эта единица относится к периферийным слоям данного языка (подобно, например, тем окказиональным заимствованиям из французского языка, которые появлялись в огромном числе в языке определенных жанров немецкой средневековой поэзии и так же быстро исчезали).

Различная значимость зависит и от того, касается ли это изменение одной изолированной единицы, например значения одного слова, или элементов фонологических и грамматических рядов. Однако и изменение значения одного слова может отразиться на семантической структуре поля, в которое входит это слово. Тем самым, системная значимость диахронического факта прямо пропорциональна связям и взаимозависимостям, которые характеризуют изменяющуюся единицу в условно статическом состоянии исходной структуры. Одновременное изменение не одной единицы, а ряда взаимосвязанных единиц, например, переход /ī/, /ū/ в дифтонги /ei/, /au/, в немецком языке не представляет собой ничего принци-

пиально нового для интересующего нас вопроса по сравнению с изменением одного элемента.

Существен здесь другой момент. Выше подчеркивалось преобладающее значение, которое имеют так называемые малые или частные системы, парадигматические ряды и парадигмы, фонологические оппозиции и т. п., образующие своеобразные узлы в языковой структуре. Изменение единицы языка, входящей в эти малые или частные системы, осуществляется не как изменение языковой единицы вообще, а как изменение определенного компонента этой малой системы, и поэтому оно не может быть самодовлеющим и изолированным, но соотнесено с данной малой системой и влияет на содержание взаимозависимостей и связей, существующих в этой малой системе. Рефлекс изменения какой-либо языковой единицы сначала ограничен той малой системой, в которую эта единица входит. Дальнейшее зависит от характера этой малой системы, ее положения в соответствующем языковом ярусе и целостной структуре языка. Одно дело грамматические парадигмы и парадигматические ряды, другое дело — лексические группы.

Таким образом, и здесь в каждом случае действуют конкретные условия и совокупность различных факторов. Но вместе с тем и здесь направление развития и охват процессом разных участков языковой структуры зависит в значительной степени от специфических особенностей не только самих явлений, но и от состояния исходной системы к моменту ее изменения или включения нового иносистемного факта. Следовательно, содержание понятий «открытая система языка, системные связи, системность», которые были охарактеризованы в применении к условно взятому синхронному срезу, сохраняют полностью свою силу в применении к языку, взятому в плане изменения и развития. Это определяется самими свойствами, присущими языку. Язык существует и развивается как «открытая система».

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

А. А. УФИМЦЕВА

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

Термин «система» неоднозначен и во многих исследованиях в него вкладывается различный смысл [1]. Слово система употребляли для обозначения совокупности тех или иных языковых средств, без учета и анализа внутренних взаимосвязей и отношений составляющих единиц. В таком значении этот термин применялся в основном в русле классического языкознания по отношению к фонетике и грамматике. В отличие от фонетики и грамматики описать словарный состав, насчитывающий в любом языке сотни тысяч слов и выражений, гораздо труднее. Поэтому в лексике, ввиду неисчислимости ее единиц (вокабул), представляется весьма затруднительным установить систему. Само понятие системы имплицитно содержит в себе указание на некоторые константные признаки и свойства, являющиеся для данной системы определяющими, конституирующими. По отношению же к лексике с ее чрезмерной подвижностью и постоянной изменчивостью понятие системы на первый взгляд кажется чуждым, противоречащим самой ее природе.

Работами, систематизирующими с разных сторон лексический состав языка, являлись до сих пор различные типы словарей, которые, в силу своей специфики и ввиду далеко еще не совершенной методики их составления, не отражают системных черт лексики того или другого языка. Вскрыть системные черты лексики могут в какой-то степени словари идеологические, синхронные (одно- и двуязычные), отчасти синонимические, фразеологические [2]. Один тот факт, что лексика может сделать возможным типологические сопоставления языков [3], говорит о том, что она не является случайным и хаотичным нагромождением вокабул. Но типологическое сопоставление языков по их лексике будет возможно тогда, когда в основу аранжировки вокабул в словаре будет положена не только система понятий (Begriffssystem), как это предлагают Р. Халлиг и В. Вартбург, но и лексические связи, которые определяют круг сочетающихся слов и основные модели словосочетаний для реализации данных значений слов [4].

[1] Мы не останавливаемся на употреблении термина «система» в значении «ряд», «парадигма» и т. п.

[2] О научных принципах составления идеологических словарей см.: R. Hallig, W. von Wartburg, Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas, Berlin, 1952; F. Mezger, Systems of linguistic expression, conceptual dictionaries and dictionaries of usage, «Proceedings of the 7-th International congress of linguists», London, 1956.

[3] В. Н. Топоров в докладе «О правомерности сравнительной лексикологии» ставит под сомнение возможность лексической типологии как лингвистической дисциплины («Тезисы докладов на VII пленарном заседании комиссии, посвященном проблемам сравнительно-исторической лексикологии», М., 1961, стр. 5).

[4] Схема словарной статьи в новом идеологическом словаре будет выглядеть так:

Имя существительное (одинаковое, противоположное по значению)
a house —*(a hut — a palace)*
Существительное с другим существительным — *the foundation of the house*
Прилагательное с существительным — *a large house*
Глагол и существительное — *to build a house*

При подаче глагола в словарной статье перечисляются возможные при нем объекты, тип субъекта, сочетающиеся наречия. Таким образом, в отличие от суще-

Лексическая система как совокупность номинативных средств языка может быть более или менее адекватно отражена в синхронных (одно- и двуязычных) словарях. В докладе на VIII Международном конгрессе лингвистов Т. Кнудсен и А. Соммерфельт[5] поставили задачу создания синхронного словаря, основным принципом которого был бы структуральный метод определения иерархии и последовательности в словарной статье значений. Вероятность выполнения подобного словаря зависит от того, в какой степени и последовательности будет структурно расчленено значение слова.

Несмотря на попытку Е. Куриловича дать принципы структурного разграничения примарных и секундарных (основных и производных) значений слова[6], до сих пор нет надежной методики их структурного определения.

Основные черты лексической системы как совокупности средств языкового выражения состоят в следующем: распределение слов по лексико-грамматическим и семантическим классам, взаимодействие элементов словопроизводства, особенности морфемного состава слов, соотношение полнозначных и служебных слов, конкретной и абстрактной, мотивированной и немотивированной лексики, степень открытости и закрытости основных лексических микросистем, роль и смысловая валентность сравниваемых вокабул в соответствующих микросистемах (синонимических рядах, лексико-семантических и экспрессивно-стилистических группах, терминологических, топонимических и других подсистемах) и т. п. Одной из черт лексической системы является то, что ее предельная единица — слово — многомерна, а ее значимость в системе языка (место, степень устойчивости и употребительности, смысловая и словопроизводящая активность) определяется не только языковыми факторами, но и экстралингвистическими (соотнесенность слова с предметным рядом и сфера общественного функционирования).

В связи с этим не представляется возможным выбрать единый критерий различения или отождествления лексических единиц, как это возможно на фонологическом уровне.

Другой особенностью лексики является то, что в ней системные факторы менее регулярно соответствуют нормативным [7]. Поэтому неразличение фактов системы и нормы, реализующей более или менее полно эту систему в речи, вызывает как следствие смешение единиц и взаимосвязей одного ряда с единицами и формами их проявления в другом. В результате этого «вечно неразрешенными» стали такие проблемы, как: разграничение значения и употребления слова, антиномия слова как словарной единицы и слова, воспроизводимого в речи, подмена постоянного и обязательного семантического контекста в системе контекстом ситуационным, возникающим в речи, неразличение переносных значений, фиксированных системой, и образных употреблений слова в речи, формы и пути соотношения

ствующих идеологических словарей, в основу классификации которых кладутся лишь понятийные сферы или категории материального мира, новый проспект позволяет раскрыть значение слов и форму их реализаций, место и смысловую валентность слова в системе лексики в целом.

[5] T. Knudsen, A. Sommerfelt, Principles of unilinguial dictionary definitions, «Proceedings of the 8-th International congress of linguists», Oslo, 1958, стр. 92.

[6] Е. Р. Курилович, Заметки о значении слова, ВЯ, 1955, 3.

[7] «Норма» употребляется нами в том значении, как это дано в работе: E. Coseriu, Sistema, norma y habla, Montevideo, 1952, где это понятие является одним из членов в тройничном ряду противопоставлений: «система, норма, речь». При этом «система и норма» может быть отождествлена с «языком» в соссюровской дихотомии: язык (langue) — речь (parole). Проблема корреляции системы и нормы на разных уровнях языка в указанном выше понимании этих понятий только начинает разрабатываться в советской лингвистике (ср. Н. Д. Арутюнова, Очерки по словообразованию в современном испанском языке, М., 1961).

общеупотребительной лексики с лексикой, функционально ограниченной, и т. п.

Следующей особенностью лексики является то, что она, будучи непосредственно связана с предметами и явлениями материального мира и с историей общества, служит не только потребностям языкового общения, но является также своеобразной формой закрепления и передачи общественно-познавательного опыта от поколения к поколению. Поэтому лексическая система прежде всего и больше всего обусловлена категориями материального мира и социальными факторами. В системе лексики перекрещиваются и сосуществуют различные микросистемы. Критерии, систематизирующие лексику по микросистемам, могут быть как экстралингвистическими (предметы и категории материального мира, источник происхождения, социальная, временная или географическая общность реалий), так и чисто языковыми (классификация по частям речи, морфемная оформленность, сфера функционирования и т. п.).

К числу типичных лексических микросистем можно отнести следующие: терминологические, топонимические, тематические группы слов, этимологические и стилистические подсистемы. Цементирующими лексическую систему и организующими ее в единое целое являются общие для всей лексики классификационные критерии: система частей речи и словообразования.

*

До сих пор речь шла о понятии системы как совокупности языковых средств, что позволило в самых общих чертах определить понятие лексической системы как системы номинаций. В основе второго понимания системы как схемы дематериализованных отношений, имманентной структуры чистых противопоставлений, анализ которых не предполагает исследования самих материальных единиц языка, лежат два положения Ф. де Соссюра: 1) язык есть форма, а не субстанция, 2) сущность — не материальна [8].

Понятие системы в таком ее определении свойственно некоторым направлениям современного структурализма (глоссематике, американскому дескриптивизму). В основе научного анализа при таком понимании системы лежит принцип определения значимости языковых единиц по их отношению, а универсальным методом подобного анализа является полная абстракция плана содержания [9] от плана выражения с последующей проверкой их на коммутацию [10]. Общеизвестно, что структуралисты всех основных направлений исключили лексический и семантический уровни из научного анализа языка как неукладывающиеся в дихотомическую схему противопоставления плана содержания и плана выражения. Исключили лексическое значение слов и представители пражской школы, заявив, что значение существует только в речи, а не в абстракции, называемой языком. Постараемся выяснить причины, почему структуралисты, ищущие, по их словам, «внутреннюю сущность языка», сбрасывают со счетов научного анализа самые содержательные стороны языка: лексику и семантику.

1. Характерным для многих современных направлений структурализма является то, что структура языка понимается ими не как нечто органически целое, а лишь как отдельные ее измерения, категории, части или сферы языка, в большей степени поддающиеся формализации и последующему членению. В этом отношении В. Гумбольдт, который еще сто лет назад видел основную задачу лингвистики в определении структуры языка

[8] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 120, 113.

[9] Под планом содержания в копенгагенском структурализме подразумевается план морфологии, а не лексико-семантический аспект языка.

[10] Два члена одной парадигмы плана выражения или содержания являются коммутабельными, если замена одного из членов парадигмы другим в одном плане ведет к аналогичной замене в другом.

как целого, стоит, на наш взгляд, на позициях более адекватного познания сущности языка, чем современные структуралисты. Абстрактный анализ и инвентаризация единиц и категорий низшего языкового уровня без попыток последующего их синтеза так же далек от познания структуры языка в целом, как и младограмматический атомизм прошлого века. Успех, достигнутый в структурном описании отдельных единиц, категорий и уровней, действительно большой, но этот успех потому и значителен, что здесь не учитывается лексико-семантическая структура языка, где, своеобразно перекрещиваясь и переплетаясь, взаимодействует лексическое и грамматическое, формальное и сущностное, системное и нормативное, создаваемое и воспроизводимое, социальное и индивидуальное, языковое и экстралингвистическое.

2. Второй особенностью, вернее ограниченностью структурных методов является то, что структура в языке не исследуется, не познается, а постулируется. Как следствие этого, общепринятым методом структурных исследований нередко является то, что достаточно достичь какой-либо степени формализации языкового материала, установить какую-либо пропорцию или корреспонденцию в отношениях единиц, как отдельный уровень или язык в целом объявляется структурой, хотя сама структура как нечто целое и специфическое не изучается.

3. Основным методом «обнаружения» структуры в структуральных исследованиях является метод коммутации плана содержания и плана выражения, который к лексико-семантической системе языка не может быть применен по следующим причинам:

а) как в плане содержания, так и в плане выражения мы различаем язык как процесс и язык как систему. В плане выражения процесс говорения упорядочен временем, в плане содержания временной фактор отсутствует. Наоборот, в системе языка, в отличие от речи, план выражения не имеет временной отнесенности, а план содержания (значения словарных единиц) носит кумулятивный характер, т. е. выступает в каждый исторический момент как результат предшествующего нарастания, накопления. Следовательно, в лексико-семантической системе план выражения и план содержания (значение лексем) на имеют однозначного соответствия;

б) при полной абстракции плана содержания от плана выражения некоторые явления формально могут оказаться аналогичными, а по своей сущности совершенно несходными. Так, Р. Уэллс приводит в своем докладе на VIII Международном конгрессе лингвистов в Осло (1957 г.) пример с синонимией и омонимией. В плане выражения омонимию (одно имя для двух предметов) и синонимию (два имени для одного предмета) можно считать аналогичными явлениями, в плане же их содержания (степень распространенности и функциональная значимость) эти два явления не будут аналогами один другого. Если синонимия в языке общераспространена, то омонимия является скорее исключением; если синонимия как один из видов межсловной связи может быть рассмотрена как член структурно-семантической оппозиции, т. е. может быть релевантной для структуры в целом, то явление омонимии (итог внутрисловного разграничения) не имеет такой функции;

в) проверка на коммутацию двух планов при определении смысловой структуры слова не выдерживает испытания и потому, что далеко не при всякой дистрибуции (способность к словосочетанию) слова получаются внутрисловные смысловые различия.

Поэтому установление и изменение средств языкового выражения данного значения (план выражения: определенная словоформа, определенный семантический контекст, модель сочетаемости или противопоставляемое в системе слово) не ведет к определению и изменению его содержания. Для этого необходимо выйти за пределы языковой системы и определить его предметную и понятийную соотнесенность.

В заключение необходимо отметить, что не дихотомия и абстрактный

анализ плана содержания и плана выражения, а метод последовательного, обобщенного синтезирования в языке формы и содержания, звука и значения (начиная от конкретного говорения, через индивидуальную норму к общеязыковой, а от нее к системе или структуре языка в целом) [11] позволяет раскрыть качественные характеристики, присущие лексико-семантической системе языка в данный период, и определить предшествующие ступени его развития. За последние десятилетия проблема изучения лексики структурными методами все чаще становится предметом научных дискуссий и обсуждений [12].

На VIII Международном конгрессе лингвистов обсуждалась проблема: «В какой степени значение может быть представлено структурно?». Основными докладчиками выступили Л. Ельмслев и Р. Уэллс [13]. Л. Ельмслев, не видя возможности структурного дихотомического членения лексики и семантики ввиду их сложности и неоднородности, рекомендует изучать лексику по методу Г. Маторе [14], который продолжает программу французской социологической школы, основанной А. Мейе и Ж. Вандриесом. Что касается Р. Уэллса, то он не отрицает возможности отыскания в языке его смысловой структуры, но, как отмечалось выше, методы, применяемые современными структуралистами, в частности глоссематиками, являются ограниченными и к семантическому уровню языка неприменимыми. Хотя за последние годы появилось немало новых научных понятий, способствующих изучению лексики структурными методами [15], однако в семасиологической науке еще мало таких работ, в которых была бы поставлена или осуществлена задача изучения лексико-семантической структуры языка в целом[16].

*

Третье понимание системы языка лежит между двумя крайними, взаимоисключающими друг друга определениями: системы как средства той или другой языковой сферы, изучаемой без анализа внутренних связей ее единиц, и системы как сети абстрактных соотношений, анализ которых не предполагает исследования материальной и смысловой стороны конкретных единиц. При понимании системы в третьем значении этого термина исходят из диалектического единства двух сторон одного и того же явления — языка, определяя систему как единство закономерно расположенных и действующих во взаимной связи частей и единиц языка. Изучение системы языка в целом или отдельных его сфер в таком понимании предполагает не только а н а л и з самих материальных единиц, отношений и связей, в которых эти последние находятся, но и их с и н т е з, позволяющий с большей или меньшей степенью адекватности обнаружить естест-

[11] Идея изучения языка по этим ступеням абстракции принадлежит Е. Косериу и изложена в его работах: «Sistema, norma y habla» и «Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio lingüístico» (Montevideo, 1958). См. также обзор этих работ в статье: N. S. W. S p e n c e, Towards a new synthesis in linguistics: the works of Eugenio Coseriu, «Archivum linguisticum», XII, 1, 1960.

[12] Ср. работы: A. M a r t i n e t, Structural linguistics, в кн. «Anthropology today», Chicago, 1953; S. U l l m a n n, Historical semantics and the structure of the vocabulary, сб. «Miscelánea homenaje a A. Martinet», I, La Laguna, 1957; E. A. N i d a, A system for the description of semantic elements, «Word», 1951, VII, 1; C. L. E b e l i n g, Linguistic units, 's-Gravenhage, 1960.

[13] См.: L. H j e l m s l e v, Dans quelle mesure les significations des mots peuvent-elles être considérées comme formant une structure?, «Proceedings of the 8-th International congress of linguists» (русск. перевод см. в сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962); R. W e l l s, Is a structural treatment of meaning possible?, «Proceedings of the 8-th International congress of linguists».

[14] G. M a t o r é, La méthode en lexicologie. Domaine français, Paris, 1953.

[15] Ср. «семантическую составляющую» («semantic constituent») у К. Л. Эбелинга, «структурное значение слова» у Ч. Фриза (см. его «Meaning and linguistic analysis», «Language», XXX, 7, 1954) и т. п.

[16] К таким работам можно отнести исследования: S. U l l m a n n, Précis de sémantique française, 2-e éd., Berne, 1959; е г о ж е, Historical semantics and structure of the vocabulary.

венную структуру языка в целом или отдельной его сферы. Именно такое понимание системы позволяет приблизиться к выявлению тех многообразных связей и зависимостей, в которых находятся слова любого языка, составляя в каждый исторический период своеобразную лексико-семантическую систему.

Как термин «лексико-семантическая система», так и сама сущность понятия введены в лингвистический обиход акад. В. В. Виноградовым, который наиболее полно сформулировал понятие системы применительно к лексическому составу языка. В. В. Виноградов подразумевает под лексико-семантической системой языка как сам лексический инвентарь, слова и выражения, так и внешние формы слов, грамматические и словообразовательные категории, определяющие группировки и смысловые соотношения слов и даже типичные грамматические схемы предложений и основные семантические группы слов, которые в свою очередь оказывают большое влияние на связи значений, на основные правила сочетаний и соотношений слов [17]. Уже само название «лексико-семантическая» указывает на двустороннюю природу системы: основной единицей является слово в его лексико-семантических связях; в отличие от словарного состава как совокупности номинативных средств лексико-семантическая система представляет собой синтез, результат сложного взаимодействия слов в их значениях с элементами других уровней языка: морфологическим и синтаксическим. «Слова и их значения,— говорит В. В. Виноградов,— в том или ином общенародном, общенациональном языке образуют внутренне связанную, единую и общую для всех членов общества систему»[18]. Поэтому «Слово, как смысловая единица языка, отражающая тот или иной „кусочек" действительности, вместе с тем выражает его общественное понимание и является элементом данной лексико-семантической системы языка» [19]. Лексико-семантическая система больше, чем любая другая (фонематическая, морфологическая, синтаксическая), обеспечивает функционирование языка как средства общения и орудия познания. Что касается «семантической системы» языка, то под нею подразумевают обычно совокупность значений слов или сумму языковых понятий, выражаемых лексическими единицами (ср. нем. Begriffssystem).

Если основной единицей лексического уровня является слово, то предельной единицей семантического уровня выступает лексико-семантический вариант слова, т. е. значение слова [20]. Основной и конститутивной единицей лексико-семантической системы является слово в его многообразных лексико-семантических связях; последние под определенным углом зрения могут быть рассмотрены как его лексико-семантические варианты [21] или лексико-фразеологические формы [22]. Если грамматические отношения в языке могут быть выражены формой самого слова, то лексические связи слов выявляются в языке только в форме отношения — «слово : слово». Ввиду этого лексические связи слов осложняются лексико-грамматическими, так как любое лексическое отношение двух слов является синтагматическим и предполагает определенную модель их сочетаемости, а следовательно, и ее значение. Поэтому конкретное лексическое значение слова выявляется всегда в определенной, имеющей более общее семантическое значение модели, например: характеристика лица, свойство предмета и т. п.

---

[17] В. В. Виноградов, О некоторых вопросах русской исторической лексикологии, ИАН ОЛЯ, 1953, 3.

[18] Там же, стр. 186.

[19] Там же.

[20] Я позволю себе не согласиться с Э. А. Макаевым, который утверждает, что «...слово на семантическом уровне является предельной единицей, не допускающей дальнейшего членения» (см. Э. А. Макаев, К вопросу об изоморфизме, ВЯ, 1961, 5, стр. 52).

[21] По терминологии А. И. Смирницкого.

[22] По терминологии В. В. Виноградова.

Прежде чем говорить об особенностях лексико-семантической системы, необходимо остановиться на понимании лексического значения слова. Широко распространенное понимание лексического значения как соотнесенности «слова с определенным осознанным явлением» [23] представляется нам слишком общим, не способствующим определению сущности лексического значения как элемента конкретной языковой системы. Ни само абстрактное слово «соотнесенность», ни выражаемое им столь же абстрактное понятие в плоскость конкретных языковых терминов и явлений не переводится, а сама сущность и формы связей слов с предметами и понятиями, как они проявляются в системе конкретного языка, не раскрываются. Далеко не определенными в такой формулировке остаются и сами величины, вступающие в соотносительные связи. Что бы ни подразумевалось под «определенным осознанным явлением», едва ли правомерно называть словом лишь его звуковой образ, материальную оболочку и рассматривать «смысловое содержание» слова как нечто внешнее, механически слову приданное.

Лексическое значение, по определению В. В. Виноградова, обусловлено не только соотнесенностью слова с понятием, но определяется в такой же мере особенностями языковой системы, спецификой и закономерностями той части речи, которой это слово принадлежит, общественно осознанными и устоявшимися контекстами его употребления, конкретными лексическими связями, которые обусловлены, в свою очередь, законами сочетания словесных значений и семантическими соотношениями слова с синонимами или близкими по значению словами, эмоциональной и экспрессивной окрашенностью слов.

Такое синтезированное определение, всеобщее и в то же время конкретное, применимое к любому языку и отражающее специфику языковых условий формирования и функционирования значения слова в конкретном языке, включает лексическое значение в число языковых категорий и позволяет рассматривать слово и его значение как действительно обусловленные языковой структурой, как элементы лексико-семантической системы [24]. Лексико-семантическая система существенно отличается от других подсистем языка. Это выражается в следующем.

I. Первой отличительной особенностью этой системы является неоднородный характер входящих в нее элементов. Эта неоднородность может быть представлена следующими рядами: 1) неоднородность компонентов системы (с одной стороны, единицы, с другой — их связи и отношения); 2) неоднородность смысловой сущности: смыслоразличительная значимость фонем, разграничивающая лишь единицы лексического уровня — слова́, но не значения отдельных полисемантичных слов на семантическом уровне; лексическое значение слова и более обобщенное значение моделей как при синтагматических (словосочетания), так и при парадигматических (словопроизводство) связях слов; 3) неоднородные смысловые элементы: значение слова, слово, словесный ряд, группа; 4) двусторонний характер значимости основной единицы лексико-семантической системы — слова: лингвистическая значимость (место, роль в системе), экстралингвистическая (предметная и понятийная) отнесенность; 5) неоднородность связей слов: языковой ряд — чисто лексические (семантические, лексико-морфологические, семантико-синтаксические) элементы, внеязыковой ряд — связь слова с предметным рядом (в широком смысле слова), зависимость значений слов от культурно-исторических и социально-экономических условий жизни носителей языка; 6) неоднородность форм смыс-

[23] Н. Н. Амосова, К вопросу о лексическом значении слова, «Вестник ЛГУ», 1957, 2, стр. 154.

[24] Характерно, что при структурном подходе к лексике значение слова не рассматривается как элемент системы, обусловленный структурными особенностями языка; лексическое значение определяется, как «способность слова обозначать ряд вещей в реальном мире» (см. C. L. Ebeling, указ. соч., стр. 85).

ловых связей: внутрисловные, межсловные, парадигматические, синтагматические и ассоциативные.

II. Второй отличительной особенностью лексико-семантической системы является то, что единство системы при многомерном структурном ее членении и наличии, казалось бы, негомогенных элементов обеспечивается принципом интегрирования (суммарного накопления) единиц предельного членения (значений слов) в более сложные единства на основе тождества конститутивной единицы лексико-семантической системы — слова.

Поэтому, определяем ли мы смысловую структуру отдельного слова или особенности лексико-семантической системы в целом, в обоих случаях (от единичного к целому и от целого к единичному) путь лежит через лексико-семантические подсистемы — синонимические, антонимичесние пары слов, синонимические ряды, лексико-семантические и экспрессивно-стилистические группы слов. Нельзя познать более или менее адекватно сущность слова, не обращаясь через соответствующие группы ко всей лексико-семантической системе (как это делалось младограмматиками); нельзя изучить и лексико-семантическую систему в целом, игнорируя слово как основную ее единицу (как это пытался сделать Й. Трир).

III. Третьей особенностью лексико-семантической системы является то, что, в противоположность фонологической, называемой часто дифференциальным уровнем, она является синтезом основных смысловых элементов и их связей и может условно быть названа синтезирующим (интегрирующим) уровнем. Фонологическая система одномерна; в основу систематизации положен один признак смыслоразличительной ценности фонемы. Лексико-семантическая система, наоборот, многомерна. Поэтому, если на фонологическом уровне основным методом выделения единиц может быть определение дифференциальных признаков путем бинарных противопоставлений, то в лексико-семантической системе, как синтезирующей гетерогенные элементы, определение единиц смысла происходит путем их отождествления. Это не означает, что у слов нет дифференциальных признаков, отличающих значения одного слова от другого; но если дифференциальные признаки фонем исчислимы и ограничены артикуляторной базой языка, то дифференциальные признаки значений слов фактически неисчислимы и лежат вне языковой плоскости. Поэтому они не имеют обязательного и постоянного члена оппозиции в системе лексики, в то время как для фонологической системы — это непременное условие.

В лексике только антонимичные пары слов, выражающие единичные, но противоположные понятия, образуют закрытые классы слов, которые выступают как противопоставленные члены, но противопоставленность здесь имеет совершенно другую природу. Дифференциация и разграничение единиц лексико-семантической системы происходит путем их отождествления (будь то значение слов при внутрисловном смысловом разграничении или в синонимических рядах, лексико-семантических группах), а не строго взаимоисключающего друг от друга противопоставления. Ряд «оппозиций» не носит характера дихотомии; он представлен несколькими членами, из которых каждый обладает одновременно общими и отличительными признаками. Любой член, например синонимического ряда, несмотря на определенную общность в значении, имеет и свои отличительные особенности. Например, мы можем поставить в один синонимический ряд такие английские слова, как *to go* «ходить, ездить», *to walk* «ходить пешком», *to waddle* «ходить переваливаясь», *to stroll* «идти медленно», и выделить то общее, что их объединяет: все они выражают понятие передвижения, т. е. мы нашли так называемую «семантическую составляющую» (semantic constituent).

Подходя к этим словам с другой точки зрения, мы можем сказать, что каждое по-разному передает понятие способа передвижения. И в этом случае дифференциальных признаков будет столько, сколько слов в синонимическом ряду будет рассмотрено. Поэтому дифференциальные признаки

слов не являются общими и не могут быть существенно определяющими систему, т. е. не релевантны для всей системы. Фонологический уровень не изоморфен семантическому и, следовательно, приемы выделения единиц или определения релевантных признаков системы фонологического уровня непригодны как недостаточные для выделения единиц и определения характера лексико-семантической системы в целом.

IV. Следующей особенностью лексико-семантической системы является то, что основная ее единица — слово — объемна и многомерна; слово как элемент лексико-семантической системы обладает не только определенной языковой значимостью (место, словообразовательная роль и смысловая активность в системе), но, соотносясь с внеязыковым, предметным рядом, отражая общественное понимание предметов и явлений материального мира, слово имеет свое конкретное лексическое значение. При этом языковая значимость слова обусловлена внеязыковыми факторами: предметным рядом, общественным отношением к слову (фактами нормы). В силу этой особенности слова в лексико-семантической системе сосуществует, сменяя или взаимопроникая одна другую, множество больших и малых микросистем, начиная от антонимичных пар и синонимических рядов, кончая лексико-семантическими и экспрессивно-стилистическими группами слов.

Говоря о лексико-семантических микросистемах языка, мы сознательно не употребляем термина «семантическое поле». Это делается не только потому, что за данным термином скрываются десятки различных понятий, начиная с понятийных кругов и сфер (Й. Трир), кончая одним из значений полисемантического слова (А. Рудскогер); но при любом понимании слово «семантический» может быть рассмотрено как принадлежащее семантическому уровню. Для единообразия терминов мы вводим определение «лексико-семантическая группа» как основной вид лексико-семантических подсистем лексико-семантической системы. Лексико-семантическая группа характеризуется тем, что в нее объединяются слова по наличию свободных лексико-семантических связей между словами в тот или другой исторический период времени. В лексико-семантической группе может быть выделено центральное слово; члены данной микросистемы выстраиваются в синонимические ряды и синонимические пары, представляющие собой своеобразный семантический минимум.

V. Лексико-семантическая система по сравнению с фонологической и грамматической является менее замкнутой и носит более общий характер ввиду того, что в ней взаимодействуют другие подсистемы языка. Лексико-семантическая система характеризуется следующими конститутивными признаками:

1. Одним из более значимых ее признаков является тип смысловой структуры слова как основной ее единицы. Смысловая, или внутренняя, сторона слов, по сравнению с фонетической, не является чем-то монолитным и однородным, а представляет собой сложную систему взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов. Определить семантическую структуру слова означает, во-первых, выявить порядок внутреннего сцепления и соподчинения этих неоднородных смысловых элементов в слове, во-вторых, установить языковую форму бытования каждого из значений, т. е. определить постоянный семантический контекст и модели сочетаемости, а также указать место и роль каждого из значений во всей лексико-семантической системе в целом.

Смысловая структура слов в пределах одного языка варьируется в зависимости от принадлежности слова к той или другой части речи. Поэтому представляется совершенно необходимым выявить различие смысловой структуры глагола и имени (существительного и прилагательного) и т. п. Смысловая структура слов находится в зависимости от характера предметной и понятийной отнесенности слова. Здесь необходимо классифицировать слова по более узким семантическим классам слов, таким как:

конкретная и абстрактная лексика, качественные и относительные прилагательные и т. п. Кроме того, следует определить смысловую структуру слов, функционирующих в разных сферах языкового употребления (нейтральная общенародная лексика, стилистически ограниченная лексика).

Подход к слову как неразрывному единству звуковой стороны и смыслового содержания, как к сложному тождеству его лексико-грамматических и лексико-фразеологических форм, выявляющихся в многообразных связях слова с другими элементами языковой структуры, позволяет рассматривать лексический и семантический уровни в их единстве, в рамках лексико-семантической системы. При определении смысловой структуры слова необходимо учитывать все факторы, определяющие его лексическое значение. Если значение понимать лишь как соотнесенность слова с логико-предметным рядом или как «точку в семантическом пространстве», то смысловая структура предстанет в виде пучка референтов слова; этим начинается, этим, фактически, и кончается определение смысловой структуры. Если же значение усматривать лишь в комбинировании слов в контексте, сбросив со счетов научного анализа самое основное, что сохраняет единство слова: общественно осознанное и исторически закрепленное логико-предметное содержание, то определение смысловой структуры сводится к формальному установлению шкалы недифференцированных дистрибуций данного слова.

Для того чтобы обеспечить лингвистический анализ смысловой структуры слова как основной единицы лексико-семантической системы на всех ее уровнях, необходимо исходить из диалектического взаимодействия трех обязательных факторов, в равной мере определяющих лексическое значение в любом языке: 1) из логико-предметного содержания слова; 2) из своеобразия грамматических средств языка, при помощи которых это смысловое содержание оформляется и воспроизводится; 3) из соотношения слова со всей лексико-семантической системой, обязательным элементом которой оно является [25].

Если подойти к этим трем основным факторам с точки зрения типа связей слов, то в первом случае мы имеем дело с явлениями материального мира, во втором — с лексико-грамматическими связями, в третьем — с чисто семантическим отношением слов. Так как связь отдельного значения как элемента лексико-семантической системы осуществляется через синонимические ряды и лексико-семантические группы, то изменение в структуре слова ведет к перераспределению смысловых связей в микросистемах, а соответственно — во всей лексико-семантической системе.

2. Определение смысловой структуры слова позволяет установить и другую конститутивную черту лексико-семантической системы: рисунок смыслового содержания слов [26], зависящий не столько от внутренних языковых особенностей языка, сколько от экстралингвистических условий — своеобразия быта, культуры и национальных особенностей носителей языка.

3. Третьим существенным признаком лексико-семантической системы являются, на наш взгляд, т и п и ч н ы е для данной системы ф о р м ы реализации и у с л о в и я воспроизведения лексических значений слов: *формы слов, типы словосочетаний, модель словосочетания, позиция сочетающихся слов*, круг сочетающихся слов, называемый нами п о с т о я н н ы м с е м а н т и ч е с к и м к о н т е к с т о м, формы и степень взаимодействия в слове лексического и грамматического. Образование новых

[25] См. В. В. В и н о г р а д о в, Основные типы лексических значений слова, ВЯ, 1953, 5, стр. 10.

[26] Ср. понятие «the conceptual pattern expressed in lexemes» (понятийный рисунок лексем), введенное С. Ньюменом (см. S. N e w m a n, Semantic problems in grammatical systems and lexemes: a search for method, сб. «Language in culture. Conference on the interrelations of language and other aspects of cullture», ed. by H. Hoijer, Chicago, 1954).

и воспроизведение существующих значений слов, определяемых не только их предметной и понятийной отнесенностью, но и языковыми факторами, возможно потому, что лексико-семантическая система данного языка характеризуется суммой определенных типов моделей сочетаемости и строго определенным семантическим контекстом, специфическим для каждого значения слова.

4. Четвертый характерный признак лексико-семантической системы — типичные смысловые связи слов в системе языка на трех уровнях: а) смысловые связи на уровне отдельного слова (внутрисловные смысловые связи: характер полисемии и омонимии слов в данной лексико-семантической системе); б) смысловые связи на уровне рядов и групп слов (межсловные связи слов в микросистемах: антонимические пары, синонимические ряды, лексико-семантические и экспрессивно-стилистические группы слов); в) смысловые связи на уровне всей системы языка: словообразовательные связи, словосложение, конвертирование и явления лексикализации грамматических форм.

В заключение необходимо отметить, что если два первых определения системы являются научными абстракциями, призванными описать или систематизировать отдельный аспект объекта исследования, то понятие лексико-семантической системы более или менее полно отражает естественную систему, присущую самому объекту-языку. Задача исследования заключается в том, чтобы создать адекватный метод определения этой сложной системы [27]. Таким общим, наиболее полным методом, на наш взгляд, может служить предложенный Е. Косериу путь постепенного отвлечения от многообразного языкового материала, способ установления различных ступеней обобщения языковых фактов, начиная с разграничения индивидуальной и общеязыковой нормы и кончая выделением в последней более постоянных, исторически устойчвых фактов системы. Такой метод изучения лексико-семантической системы как синтеза нескольких языковых уровней тем более плодотворен, что позволяет непротиворечиво изучать систему как в синхронном, так в диахроническом аспектах.

Такой метод предполагает как перспективное исследование (постепенное обобщение всего многообразия материала языковой деятельности и определение в конечном итоге конститутивных черт системы), так и ретроспективное (конкретизация общих схем и наполнение моделей и конструкций конкретным материалом, т. е. степень реализации системы в общеязыковой и индивидуальной нормах). Исследование (будь то перспективное или ретроспективное) должно проводиться по наиболее важным и определяющим данную лексико-семантическую систему направлениям: определение смысловой структуры слова, соответственно — его исторического и синхронного тождества, выявление конфигураций и особенностей основных лексико-семантических и экспрессивно-синонимических групп слов, установление основных форм реализации старых и путей возникновения новых значений, т. е. выявление форм и степени взаимодействия лексического и грамматического в слове, обусловленность языковых факторов факторами экстралингвистическими и т. п.

При такой широкой и цельной программе определения лексико-семантической системы языка, когда учитываются материальная и идеальная стороны языка в их единстве и принимается во внимание то сложное взаимодействие различных уровней языка, которое находит свое отражение в основной языковой единице — слове, когда учитываются как собственно языковые, так и неязыковые факторы, применение структурных, статистических и математических методов может оказаться плодотворным на отдельных этапах выявления естественной структуры языка, какой является лексико-семантическая система.

[27] Так как в лексико-семантической системе взаимодействуют все основные языковые уровни (лексический, семантический, морфологический, синтаксический), то ее можно отождествлять со структурой.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

Р. Б. ЛИЗ

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОВЕРКИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ

В лингвистической литературе существует общепринятое мнение, что лингвистическое описание является эффективным, только если оно исходит из «строго определяемых» категорий. Более того, принято считать, что каждое определение должно предусматривать возможность автоматически установить, удовлетворяет ли любое наудачу выбранное высказывание определенным требованиям. Так, например, описание некоторого класса высказываний или целого языка должно быть признано неудовлетворительным, если в этом описании существенную роль играет понятие «существительное», но не содержится процедура, позволяющая в каждом отдельном случае определить, является ли любое данное высказывание существительным или нет. Другими словами: каждое значительное теоретическое понятие должно быть «определено» и каждое «определение» должно содержать необходимые и достаточные условия для распознавания желаемого «объекта».

Широко распространенное мнение о том, что любое удовлетворительное описание должно включать подобные процедуры, в большой степени поддерживается неосведомленностью о характере и методах работы над грамматикой, проводимой в настоящее время под руководством Н. Хомского и М. Халле в Массачусетском технологическом институте. Дело в том, что, в отличие от большинства исследователей в области социальных наук, эти ученые обычно не накладывают на лингвистическое описание столь строгих ограничений. Их точка зрения скорее совпадает с точкой зрения, широко распространенной в математике и физике и сводящейся к тому, что для объяснения данного явления достаточно показать его выводимость из общей теоретической схемы независимо от того, существует ли процедура, позволяющая отнести любой наудачу выбранный объект к данному явлению.

Для тех читателей, которым довольно абстрактные формулировки теории чисел не покажутся слишком запутанными, можно привести пример из области математики, который поможет вскрыть некоторые аспекты различия между двумя подходами к теории. Этот пример хорошо известен математикам и сам по себе не представляет интереса, однако используемые в нем понятия обычно не оцениваются должным образом вне узкого круга специалистов в области оснований математики. Тем не менее представляется, что более глубокое уяснение существенных различий между двумя упомянутыми выше подходами поможет внести некоторую ясность в проблему доказательности утверждений в эмпирических науках.

Когда понятие, которое подлежит определению, соотносится с конечным числом референтов, это понятие можно, разумеется, точно охарактеризовать, дав исчерпывающий список этих референтов. Но при переходе к бесконечным множествам уже нельзя ограничиться различением двух случаев: множеств, которые могут быть охарактеризованы заданием списка объектов, входящих в них, и множеств, которые подобным образом охарактеризованы быть не могут. Здесь нужно рассматривать три случая: 1) множества объектов, для которых существует процедура проверки того, являются ли они членами данного множества; 2) множества,

члены которых могут быть перечислены, но для которых может и не существовать указанная процедура проверки; 3) множества, члены которых не могут быть даже перечислены. Пример, который приводится ниже, интересен в том отношении, что в эмпирических науках почти все интересующие нас множества объектов относятся (или есть веские основания так считать) к типу 2, но не к типу 1. В некоторых областях математики множества первого типа называются «рекурсивными», а множества второго типа — «рекурсивно перечислимыми».

Точнее говоря, в теории чисел почти всеми разделяется тезис Чёрча о том, что строго формально определяемые понятия «рекурсивности» и «рекурсивной перечислимости» являются точными аналогами интуитивных понятий «эффективной проверяемости» (testability) и «эффективной вычислимости». В других областях математики и, разумеется, во всех эмпирических науках понятия «поддающийся проверке» (testable) и «перечислимый» (listable) еще не формализованы в такой степени. В естественных науках вопрос о проверке того, является ли данный объект членом данного множества, по-видимому, даже не формулируется подобным образом. Причиной этому может служить хотя бы тот факт, что в эмпирических науках предикаты часто относятся непосредственно к физическим объектам и их наблюдаемым свойствам. Поэтому предикатам эмпирических наук присуща некоторая внутренняя неопределенность.

Итак, хотя мы и вправе предполагать, что теоретические понятия структурной лингвистики ближе к понятиям математики, чем, например, понятия химии, все же необходимо иметь в виду, что они по своей природе соотносятся с физическими объектами, пусть весьма сложным и косвенным образом. Поэтому естественно считать, что понятиям структурной лингвистики присуща та же неопределенность, которая столь характерна для всех эмпирических понятий. Итак, хотя проверяемость предиката формализована лишь в пределах теории натуральных чисел, а именно как свойство, называемое рекурсивностью, мы можем с полным основанием считать, что проверяемость других эмпирических предикатов в точности соответствует этому математическому понятию. При этом необходимо все время иметь в виду, что большинству эмпирических предикатов присуща внутренняя неопределенность. Это свойство неопределенности в дальнейшем *послужит для подтверждения предлагаемой ниже схемы.*

Многие лингвисты высказывались в том смысле, что не поддающиеся проверке предикаты не только нежелательны, но и просто невозможны в рамках строгой теории. Позволительно будет проиллюстрировать вышесказанное грамматическим объяснением, взятым из моей работы о прономинализации в английском языке: «...имеются также случаи, когда дополнение при некоторых глаголах может быть только возвратным местоимением. Так, например, глагол *to express* „выражать" в качестве абсолютного переходного глагола не может иметь при себе одушевленное существительное в качестве дополнения; однако после этого глагола в качестве дополнения может стоять возвратное местоимение; в этом случае возвратное дополнение должно быть одушевленным».

Обычно в этом месте всегда выдвигается возражение, что подобные аргументы являются сомнительными или вообще несущественными, поскольку понятие «одушевленное существительное» является чисто семантическим и поэтому должно быть исключено из научного описания английской грамматики. На это можно ответить, что понятие «одушевленное существительное» не обязательно считать семантическим, его можно употребить как чисто формальную грамматическую категорию. Считается, что вопрос, как определить, что данное существительное является одушевленным, должен снять все возможные возражения, поскольку хорошо известно, что нельзя предложить процедуру физической проверки на одушевленность. Подобная постановка вопроса выдает убеждение

в том, что без физической проверки принадлежности к данному множеству понятие, о котором идет речь, может быть либо чисто семантическим, либо абсолютно бессодержательным.

Ниже делается попытка показать, что строгие и безупречные теоретические понятия в науке, включая и лингвистику, вовсе не должны быть проверяемыми (в том специальном смысле этого слова, который принят в настоящей статье). Представляется, что для тех, кто не слишком свободно ориентируется в математике, может оказаться небезынтересным следующий факт. В теории натуральных чисел существуют весьма важные предикаты или определяемые ими множества чисел, которые не только могут не поддаваться проверке, но их непроверяемость может быть доказана. Собственно говоря, нам постоянно приходится сталкиваться с бесконечными множествами чисел, непроверяемость и даже неперечислимость которых можно доказать.

Для того чтобы освежить в памяти отдельные понятия, поясним вкратце их значение. Перечислимым множеством чисел называется такое множество, для которого существует эффективная [1] процедура, позволяющая последовательно вычислить любой член этого множества; каждое такое вычисление должно выполняться в продолжение конечного числа операций и давать один из членов желаемого множества; с другой стороны, для каждого члена множества должно существовать хотя бы одно вычисление, результатом которого этот член является. Другими словами, известен способ перечислить все члены множества так, что в конечном итоге любой наперед заданный член встретится в списке, даже если число членов бесконечно и если в настоящее время неизвестно, какая процедура вычисления приведет к составлению списка.

Проверяемым (testable) множеством чисел является такое множество, для которого существует эффективная процедура, позволяющая перечислить не одни лишь члены этого множества, но также те и только те числа, которые не являются его членами. Иными словами, проверяемое множество есть перечислимое множество, дополнение которого также перечислимо; ибо очевидно, что если и множество, и его дополнение являются перечислимыми, существует способ определить, будет ли любое наугад выбранное число входить в данное множество или нет: после конечного числа операций вычисления оно встретится либо в первом списке (члены данного множества), либо во втором (члены дополнения к этому множеству).

Очевидно, что все конечные множества являются рекурсивными, а все рекурсивные множества являются рекурсивно перечислимыми. Для неспециалиста может оказаться любопытным тот факт, что существуют рекурсивно перечислимые множества, не являющиеся рекурсивными, а также множества, не являющиеся даже рекурсивно перечислимыми. Приведем довольно простой, хотя и не строго изложенный пример из теории чисел.

Интересующей нас областью является множество натуральных чисел, т. е. перечислимое множество 0, 1, 2, 3,.... Функция, определяемая на этом множестве чисел (обычно называемая «частной рекурсивной функцией»), — это любое множество правил получения из данного числа некоторого выходного числа посредством конечного числа операций. (Если функция определена для л ю б о г о входного числа, она называется «рекурсивной» [2].) Если для данного входного числа применение правил ведет к бесконечной цепочке операций, не приводящих к получению результата, то функция не определена для данного входного числа. Таким образом, каждая функция переводит некоторое множество чисел в другое множество чисел. Теперь легко показать, что множество чисел является рекурсивно перечислимым тогда и только тогда, если это множество является множеством результатов хотя бы для одной функции.

[1] См. приложение А.
[2] См. приложение Б.

Поскольку каждая такая функция отображает правило, функции могут быть определенным образом упорядочены в некоторый список. Например, правила, будучи конечными цепочками слов английского языка, могут быть упорядочены сначала в зависимости от количества слов в цепочке, а затем для каждого отдела в алфавитном порядке. Таким образом, каждому правилу приписывается его номер в списке и обратно (тот факт, что определенная функция может быть представлена различными правилами несколько раз в списке, не играет роли).

Пусть исчерпывающий список функций будет: $\varnothing_0$, $\varnothing_1$, $\varnothing_2$, $\varnothing_3$. В качестве дополнительного примера рассмотрим множество $E = \{x/x$ — четное$\}$, т. е. множество всех четных чисел. Это множество является множеством результатов функции $\Psi_e(x) = 2x$. Функция Ψ_e точно описывается различными правилами в стандартном списке всех функций, например, она может описываться правилом: «Если дано число x, умножь x на 2. Результат будет выходным числом». Подобное правило может быть записано в списке как $\varnothing_j$; т. е. $\Psi_e(x) = \varnothing_j$. Множество E, очевидно, является рекурсивным, поскольку дополнение — множество нечетных чисел — является также рекурсивно перечислимым, т. е. может быть эффективно перечислимо.

Далее рассмотрим множество $K = \{x/\varnothing_x \to x\}$, т. е. множество всех чисел x — таких, что x-я функция в нашем списке в качестве конечного результата выдает x (в данном случае не существенно, к а к о е входное число переводится функцией $\varnothing_x$ в x; важно лишь то, что число x входит во множество конечных результатов функции $\varnothing_x$). Множество K является рекурсивно перечислимым, поскольку в нашем списке есть функция, для которой множество K является множеством результатов, а именно:

$$\Psi(x) = \begin{cases} x, \text{ если } \phi_x \to x; \\ \text{в других случаях не определено.} \end{cases}$$

То, что Ψ я в л я е т с я действительной функцией, очевидно из следующего. Можно задать множество правил для вычисления результата этой функции (разумеется, правила должны содержаться в нашем стандартном списке) типа: «Если дано число x, переходи к x-й $\varnothing$ в списке и начинай вычислять ее результат; если встретится число x, считай его результатом Ψ». Таким образом, $\Psi(x) \to K$ и, следовательно, K должно быть рекурсивно перечислимым, т. е. можно дать список его членов.

Далее рассмотрим множество $\overline{K}$, являющееся дополнением к множеству K, т. е. множество, содержащее все члены, не содержащиеся в K. Требуется определить, является ли $\overline{K}$ также рекурсивно перечислимым множеством. Если это так, то должна существовать хотя бы одна $\varnothing$ в нашем стандартном списке, для которой $\overline{K}$ является множеством результатов; обозначим такую функцию $\varnothing_m$. Иными словами, если $\overline{K}$ рекурсивно перечислимо, то должна иметься $\varnothing_m$, причем такая, что $\varnothing_m \to \overline{K}$. Предположим, что далее требуется определить, содержит ли множество $\overline{K}$ само число m; возможны два случая: множество $\overline{K}$ содержит число m и множество $\overline{K}$ не содержит число m. Если m входит в $\overline{K}$, m является одним из результатов функции $\varnothing_m$, однако по определению K, если $\varnothing_m \to m$, то m входит в K. Поскольку m одновременно не может входить в K и $\overline{K}$, наше предположение, что m входит в $\overline{K}$, является ложным. Следовательно, m входит в K. Однако если m входит в K, то, согласно определению K, $\varnothing_m \to m$; но $\varnothing_m$ была функцией, для которой K являлось множеством выходных чисел; поэтому m должно входить в K. Следовательно, мы доказали, что m входит одновременно в K и $\overline{K}$. Это противоречие показывает, что первоначальное предположение было неверным, а именно предположение о том, что существует функция $\varnothing_m$, множеством результатов которой является $\overline{K}$. Таким образом, показано, что $\overline{K}$ — не рекурсивно перечислимое множество.

Легко показать, что если множество является рекурсивным, т. е. если существует процедура, позволяющая установить, является ли любой данный объект членом этого множества, то дополнение к этому множеству может быть перечислено, т. е. является рекурсивно перечислимым [3]. Из того, что $\overline{K}$ не является рекурсивно перечислимым, следует, что K не является рекурсивным.

Таким образом, мы имеем следующие виды множеств: $\overline{K}$, относительно которого доказано, что оно не является рекурсивно перечислимым; K, относительно которого доказано, что оно является рекурсивно перечислимым, но не является рекурсивным, и E, являющееся рекурсивным (и, разумеется, конечные множества, являющиеся тривиально рекурсивными).

С каким видом множеств приходится иметь дело лингвисту? Прежде всего укажем, что если бы оказалось возможным перечислить все предложения, то были бы перечислены все языковые высказывания, т. к. высказывания, не являющиеся предложениями, представляют собой части предложений. Что же можно сказать о множестве предложений?

Все предложения можно представить как звенья цепи слов, морфем, фонем или даже букв. При этом число букв является конечным. Однако, поскольку невозможно найти самое длинное предложение, число их должно быть бесконечным. Поэтому множество предложений м о ж е т б ы т ь нерекурсивным [4].

Поскольку беспрерывно порождается бесконечный поток новых, не существовавших ранее высказываний, каждое из которых потенциально может быть предложением, и поскольку мы можем допустить, что в мозгу каждого человека имеется лишь конечная «память», служащая для хранения всех предложений, которые человек мог когда-то услышать и запомнить, разумно предположить, что говорящие производят новые предложения согласно некоторому определенному конечному множеству правил, которые являются общими для всех говорящих на данном языке. Можно предположить, что эти правила служат для перечисления предложений. Если мы хотим сформулировать некоторую разумную теорию, объясняющую эти факты, мы должны исходить из предположения, что множество предложений является по крайней мере рекурсивно перечислимым, даже если окажется, что оно не рекурсивно. (В самом деле, множество всех цепей, составленных из определенного алфавита, не обязательно лингвистического, может быть перечислено и является поэтому бесконечным рекурсивно перечислимым множеством. Задача лингвистической теории в том, чтобы по крайней мере указать способ перечислить члены данного множества, обладающие определенными искомыми характеристиками.) Например, можно представить себе грамматику языка в виде множества правил, или в виде функции (на которую могут быть наложены и другие более или менее строгие ограничения), позволяющей выбирать фразы, являющиеся грамматически правильными предложениями данного языка. Одной из центральных задач лингвистики является формулирование подобных множеств правил для различных языков.

Одним из основных замечаний, представляющихся существенным в данной статье, является следующее: для того чтобы успешно выполнить указанную задачу, вовсе не обязательно предполагать, что должно быть сформулировано соответствующее множество правил, позволяющих выбирать только высказывания, не являющиеся предложениями данного языка. Иными словами, для того чтобы построить грамматику языка, не обязательно предполагать, что множество предложений является рекурсив-

[3] См. приложение А.

[4] Дж. Метьюз (Массачусетский технологический институт) показал, что наложение определенных ограничений на форму возможных правил трансформаций в грамматике позволяет выявить критерий, при помощи которого можно установить, является ли данное высказывание предложением. Дж. Метьюз высказал мнение, что наложение подобных ограничений может оказаться разумным.

ным (т. е., что множество не-предложений является рекурсивно перечислимым); такое предположение может оказаться верным или неверным. Если множество предложений окажется нерекурсивным, это ни в коей мере не уменьшит эффективность грамматики как процесса экспликации понятия «предложение в языке L».

Это является справедливым и для других лингвистических понятий, так же как и для большинства понятий в других науках. Если мы объясняем понятие «одушевленное существительное в английском языке» как «любая морфема (или слово в некоторых случаях), являющаяся экспликацией символа Na в грамматике английского языка», то мы тем самым устанавливаем некоторую процедуру перечисления одушевленных имен существительных в английском языке. Однако поскольку не требуется, чтобы множество одушевленных имен существительных было проверяемым, может оказаться, что не существует процедуры физической проверки того, является ли любая наудачу выбранная морфема (или слово) одушевленным существительным. Разумеется, если принять, что число одушевленных существительных ограничено, то тогда множество окажется рекурсивным и можно будет задать для этого множества процедуру установления того, является ли любой данный объект одушевленным существительным. Критерием такой проверки будет наличие или отсутствие этого объекта в списке одушевленных существительных. Отметим, однако, что существование подобной процедуры проверки не является решающим, поскольку для большинства понятий (за исключением, может быть, самых тривиальных) единственным возможным критерием проверки является проверка по неупорядоченному списку, а не наличие у понятий некоторых наблюдаемых свойств, представляющих самостоятельный интерес.

Несколько слов об одной распространенной в лингвистике точке зрения относительно проверки теоретических понятий. Эта точка зрения, к сожалению, никогда не была объектом критического внимания, а ее сторонники не придерживались своих положений сколько-нибудь последовательным образом. Речь идет о следующем. Утверждается, что некоторое грамматическое понятие можно определить, исследовав его окружение или подставляя его в готовые грамматические модели. В задачи данной статьи не входит развернутая критика этого неверного положения. Достаточно сказать, что так называемый метод подстановки в готовые модели не обеспечивает эффективной проверки; во многих случаях подстановка оказывается невозможной либо потому, что нет эффективной процедуры для правильного предварительного выбора необходимых моделей, либо потому, что даже при наличии правильных моделей не существует эффективного способа определить, является ли конструкция, полученная после подстановки, грамматически тождественной первоначальной модели. Таким образом, несмотря на то, что метод подстановки может являться (и в ряде случаев является) хорошим отправным пунктом для формулирования полезных гипотез о грамматической структуре, подстановка не может быть использована в качестве процедуры проверки, является ли объект членом данного множества. Процедуру подстановки нельзя использовать для определения грамматических понятий.

Поскольку мы убедились в том, что большинство научных объяснений сводится к перечислениям и не дает возможности установить процедуру проверки членства для данного множества, представляется целесообразным отказаться от попыток установить такие процедуры проверки и в лингвистике. Другими словами, если речь идет об «одушевленных именах существительных в английском языке», то прежде всего необходимо выяснить, что имеется в виду под «одушевленными существительными». Вопрос же типа «Как определить, является ли данный объект одушевленным существительным?» должен быть признан некорректно поставленным. Если ответ на первый вопрос примет форму предполагаемых грамматических правил порождения одушевленных имен существительных, то мы должны

будем признать, что подобного рода ответ может служить объяснением, даже если он окажется неверным.

Отметим далее, что различия между двумя разобранными выше подходами к научному описанию связаны с еще одним различием, играющим существенную роль при построении и обосновании теории. Можно утверждать, что научная теория оказывается несостоятельной, если имеют место следующие два несоответствия между теорией и опытом: 1) теория предсказывает x, но x не наблюдается и 2) x наблюдается, но теория не предсказывает x. Первый случай можно рассматривать, как это часто и делается, как неудачу в наблюдениях, которая может быть вызвана, например, ошибками в методике. Поэтому он не обязательно свидетельствует о ложности теории. Второй случай может оказаться роковым для теории.

Далее отметим, что второй случай в свою очередь включает два вида несоответствия между теорией и наблюдением: а) наблюдается x, в то время как теория доказывает не-x, и б) наблюдается x, но теория не может доказать x. Здесь и становится заметным различие между теорией, претендующей на создание процедуры проверки принадлежности для некоторого множества (является или нет данное наблюдение наблюдением типа x), и теорией, устанавливающей лишь процедуру перечисления данного множества. Теория первого рода опровергается, если оба случая исходят из отдела б), в то время как теория второго рода опровергается лишь, когда случай относится к отделу а).

Например, если лингвист претендует на создание набора правил, позволяющих правильно распознавать существительные, то для опровержения этой теории достаточно найти хотя бы одно существительное, не распознаваемое этим набором правил. Однако, если лингвист утверждает, что им сформулированы лишь правила порождения существительных, то наличие существительного, не порождаемого этими правилами, ни в коей мере не опровергает теорию. Подобный объект просто не объясняется в рамках данной теории, а никакая теория не может объяснить все.

Основной смысл настоящей статьи вкратце сводится к следующему: существующее среди лингвистов недоверие к теориям, содержащим понятия, для которых не дается метода проверки их вхождения в некоторое множество, частично объясняется невниманием к тому факту, что в науке широко распространены непроверяемые, не поддающиеся проверке и нерекурсивные предикаты. Был приведен довольно простой пример из области математики для того, чтобы доказать существование как нерекурсивно перечисляемых, так и нерекурсивных предикатов. Поскольку в принципе невозможно налагать на предикаты используемые в лингвистической теории ограничения, связанные с проверяемостью предикатов, нет никаких оснований исключать данное понятие из теории, если не существует процедуры проверки его вхождения в требуемое множество; данное положение остается справедливым, даже если известно, что множество, характеризуемое данным предикатом, является конечным.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В настоящей статье употреблялись два термина, которые широко используются в связи с теорией грамматики и поэтому вызывают иногда некоторую путаницу. Оба эти термина употреблялись в специальном значении, не совсем принятом в стандартном русском языке.

Прежде всего, упоминались эффективные процедуры в отличие, скажем, от эмпирических правил или методических предписаний. Процедура может быть признана эффективной, если она выполняется по этапам механически, без особых знаний, интуиции или искусства. Например, алгоритм деления одного целого числа на другое является эффективной процедурой, поскольку (если объяснено, как выполнять вычисления), имея два любых числа, можно разделить одно на другое механически, не прибегая к дополнительным рассуждениям и не создавая новых правил. Другими словами, при наличии достаточных чисто технических средств, необходимых для вычисления, эффективная процедура может быть выполнена машиной. Другое необходимое требование, предъявляемое к эффективной процедуре, заключается, как уже было упомянуто, в том, что вычисления, будучи определены, должны закончиться

определенным результатом. (Это, разумеется, верно и для длинной процедуры деления, если мы знаем, где остановить деление при получении периодической дроби. В данном случае получается другой алгоритм, который также будет эффективным).

Далее здесь, как и в других лингвистических работах, употребляется термин «порождать» (generate). Это специальное понятие часто смешивается с термином «производить» (produce), что приводит к печальным последствиям. Понятие п о р о ж д е н и я употребляется здесь в его математическом смысле, а именно как синоним п е р е ч и с л е н и я, в ы б о р а посредством некоторого правила. Например, мы можем утверждать, что функция, определенная на множестве натуральных чисел $y = 2x$, порождает множество четных чисел. Отметим, однако, что невозможно утверждение, будто функция производит эти числа. Более того, нельзя сказать с уверенностью, что подобное утверждение имеет смысл. Функция отображает правило, эффективную процедуру вычисления или перечисления членов множества четных чисел, а именно: «выбери число, умножь его на два, выдай ответ в качестве результата».

Очевидно, что процедура является эффективной, поскольку умножение — это чисто механический, поэтапный процесс, который определен для всех натуральных чисел. Наконец, любое четное число является результатом одного из таких вычислений.

Когда говорится, что минимальное требование к грамматике языка заключается в том, что она по крайней мере должна порождать все предложения этого языка, имеется в виду лишь то, что достаточно полная грамматика должна во всяком случае указывать способ механического перечисления всех предложений языка без обращения к интуиции или дополнительным рассуждениям. Именно таким образом лингвистическая наука заменяет непосредственную интуицию говорящих относительно грамматической формы объяснительной теорией предложения, допускающей подделки.

Важно подчеркнуть, что грамматика никоим образом не п р о и з в о д и т предложений, порождаемых ею. Для того чтобы производить предложения таким же образом, как это делают говорящие, пришлось бы присоединить к грамматике не только устройство, синтезирующее звук на выходе, при помощи которого грамматике была бы придана речь, но и некоторое устройство на входе, которое подавало бы сигналы, позволяющие порождать и говорить предложения языка в некотором предопределенном или желаемом порядке. Дело в том, что человек, говорящий на данном языке, не только порождает предложения (точнее говоря, грамматика порождает предложения, а не сам говорящий), т. е. говорящий знает не только то, какие объекты являются предложениями его языка, но он может также из всего множества выбирать о т д е л ь н ы е предложения, и именно эти отдельные предложения выражают как раз то, что он хочет сказать. Грамматика, порождающая все множество предложений сразу, не упорядочивает эти предложения каким-либо известным образом. Для того чтобы выбрать предложения одно за другим в определенном порядке, допустим согласно значению этих предложений, необходимо дополнительное устройство, которое бы дополняло грамматику извне и, наверное, было бы сложнее любой грамматики.

Таким образом, мы видим, что человек, производящий предложения и выбирающий их в желаемом порядке, по-видимому, хранит в своей памяти не только грамматику языка, но и некоторое очень важное и независимое устройство, которое служит для введения в грамматику входных сигналов, используя некоторым неизвестным образом значения предложений, которые будут произведены.

Попутно заметим (хотя это и не имеет прямого отношения к теме нашей статьи), что изучение языка и грамматик ни в коей мере не подразумевает, что человек, с л у ш а ю щ и й предложения, использует при этом грамматику языка, сколько-нибудь отличную от грамматики, используемой говорящим. Производить предложения и понимать их — наверное, очень разные виды действия; однако нет оснований думать, что у этих предложений не одна, а несколько грамматик. Нам не известны способы, которыми слушающий и говорящий используют эту грамматику для осуществления своих задач. Во всяком случае, форма самой грамматики не зависит от особенностей системы обозначения и распознавания. Грамматика — это функция, которая при особых условиях используется для порождения множества предложений.

Рассуждения, приведенные в настоящей статье, могут вызвать еще одно возражение. Основной пример, использовавшийся для иллюстрации положений, выдвинутых в статье, заимствован из математической теории чисел, очень абстрактной и логически безупречной отрасли знания. Область знания, относительно которой делаются все заключения, несомненно, относится к эмпирическим наукам, методы и результаты которых обусловлены лабораторными наблюдениями (если обстоятельства столь благоприятны, что допускают лабораторные исследования) или случайностями человеческого поведения (если интересующая нас область относится к социальным или психологическим наукам). Смысл возражения сводится к тому, что «точные» и «неточные» науки, хотя и с трудом, но все же допускают некоторое сравнение, в то время как математика является совершенно отдельной областью человеческого знания и все попытки постичь доказательную природу психологических теорий путем изучения математического способа мышления являются либо тщетными, либо бессмысленными.

Подобные возражения, как нам кажется, всегда основаны на предполагаемой и разделяемой многими дихотомии а н а л и т и ч е с к и х и с и н т е т и ч е с к и х истин. Согласно этой точке зрения, математические суждения являются аналитическими. Это значит, что они истинны (или ложны) лишь вследствие истинности (или ложности)

слов, из которых эти суждения составляются, и никакие мыслимые наблюдения над миром не являются подходящими для установления истинности этих суждений. С другой стороны, суждения в естественных науках считаются синтетическими, или содержательными. Их истинность зависит от результата наблюдения или эксперимента.

Представляется, что скептицизм, с которым здесь описана доктрина, утверждающая аналитичность математических истин, должен свидетельствовать о том, что автор считает эту дихотомию неприемлемой. После более пристального изучения оказывается невозможным найти какой-либо смысл в понятии аналитической истины. Здесь вслед за Куайном, М. Уайтом и другими отвергается эта заслуженная, но неприемлемая догма. Не существует различий в природе математического и так называемого эмпирического знания, существуют лишь различия в том, в какой степени мы готовы изменить эти знания или отказаться от них, когда перед нашим познанием возникает новый конфликт. Когда кажется, что новое наблюдение противоречит принятой физической теории, мы всегда можем либо объявить наше наблюдение ложным по некоторым неизвестным причинам, либо некоторым, пока неизвестным образом пересмотреть физику, либо пренебречь логикой и математикой. Наше решение будет в большой степени зависеть от того, какую часть всех наших знаний о мире мы должны отбросить или пересмотреть, чтобы считать наблюдение истинным. В этом виде математическое знание—лишь часть всего нашего знания о мире, а именно та часть, которую мы наименее охотно пересматриваем.

Если, следуя М. Уайту, мы откажемся от этого «невозможного дуализма», аналитического и синтетического, то из доказанного факта существования нерекурсивных множеств чисел в математике можно будет сделать вывод о том, что снятие требования рекурсивности предикатов в естественных науках и возможно, и полезно.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Тот факт, что множество перечислимо, если оно представляет собой результат частной рекурсивной функции, является очевидным. Обратно, если существует эффективная процедура перечисления всех членов множества чисел, мы можем утверждать что частная рекурсивная функция $\psi(x)$ определена для x-ого номера в списке; очевидно что ψ — частная рекурсивная функция, перечисляющая искомое множество.

Выше уже было показано, как можно проводить проверку членства для рекурсивно перечислимого множества, дополнение к которому тоже рекурсивно перечислимое множество. Следует начать перечислять одновременно множество и дополнение к нему при помощи следующей процедуры: сначала выполняют один этап перечисления множества, затем один этап перечисления дополнения, затем второй этап перечисления множества и т. д., все время чередуя этапы перечисления множества и его дополнений Отсюда очевидно, что любое число, которое проверяется согласно подобной процедуре, должно обязательно встретиться либо в одном списке, либо в другом.

Обратно: можно легко определить частную рекурсивную функцию как функцию, перечисляющую множество, а также дополнение к нему в случае, если уже существует процедура проверки членства, поскольку эта процедура приписывает любое число в любом упорядоченном списке всех чисел либо одному множеству, либо другому. Таким образом, порождаются два указанных списка.

Интуитивное представление, лежащее в основе понятия рекурсивности множеств, заключается в том, что должна существовать частная рекурсивная функция, которая принимает определенное значение, скажем 1, для любого входного числа, являющегося членом данного множества. Эта функция считается определенной для всех входных чисел так, что если входное число не содержится в данном множестве, функция принимает другое значение, например 0. Подобная функция называется «характеристической функцией множества». Таким образом, требование рекурсивности множества аналогично требованию, чтобы его характеристическая функция была рекурсивной функцией, т. е. частной рекурсивной функцией, определенной для всех чисел.

Можно также показать, что если множество рекурсивно перечислимо, то либо оно является пустым, либо существует рекурсивная функция, перечисляющая это множество. Пусть ψ будет частной рекурсивной функцией, которая перечисляет множество A. Функция $\varnothing$ определяется следующим образом: перечислить множество результатов функции ψ, выполняя сначала один шаг вычисления ψ (0), затем два шага вычисления $\psi(0)$ и $\psi(1)$, затем три шага для $\psi(0)$, $\psi(1)$ и $\psi(2)$ и т. д. до тех пор, пока не достигнут результат, допустим число m. Затем надо возвратиться назад и начать вычисление $\psi(x)$; если через x этапов вычислений процедура не приводит к получению какого-либо результата, число m записывается как конечный результат. Если же после x шагов результат вычисляется, то он записывается в качестве конечного. Таким образом, только что описанная функция $\varnothing$ в точности перечисляет все члены множества A, и, кроме того, эта функция определена для всех входных чисел как раз в случае, когда A не является пустым.

Можно доказать много интересных теорем, исходя непосредственно из этих понятий. Одной из таких теорем может быть следующая: если множество не пусто, оно рекурсивно тогда и только тогда, если оно рекурсивно перечислимо в порядке возрастания.

Перевел с английского *Д. М. Сегал*

№ 4 1962

ОБ ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ *

Вопрос № 1. «Какие основные научные задачи должен разрешить общеславянский атлас: лингвистическая и территориальная реконструкция праславянского языка и его диалектного дробления, определение основных тенденций развития славянских языков (и диалектов), выявление структурной типологии славянских языков (и диалектов) и др.?»

Задача общеславянского лингвистического атласа, по моему мнению, состоит в том, чтобы зафиксировать современное состояние славянских языков и диалектов [1]. Практика показывает, что существующие типы лингвистических атласов не обеспечивают решения исторических проблем. Составление исторического лингвистического атласа, задачей которого была бы регистрация состояния языка определенной эпохи, диахронический разрез (X в., XIV в., XVI в. и т. д.), сопряжено с неопреодолимыми трудностями. Для этого, во-первых, необходимо располагать пропорционально распределенным количеством письменных памятников для каждого языка (и для отдельных областей его территории), памятников, действительно отражающих местный диалект. Выяснение последнего вопроса требует предварительного разрешения ряда весьма сложных проблем, связанных с установлением личности писца, места его рождения, условий его обучения и т. д., а также проблем критики текста. Языковое состояние определенной эпохи могло бы быть выяснено на основе ономастического и топонимического материала. Но и здесь возникают аналогичные проблемы (ср. еще дополнительные трудности, связанные с правописанием). И по мере углубления в прошлое они будут усложняться. В связи с этим мне не представляется возможной подготовка атласа, относящегося к праславянскому периоду истории языка.

Попытка при помощи общеславянского языкового атласа дать лингвистическую и территориальную реконструкцию праславянского языка, его диалектального членения, связана с особыми проблемами. Лингвистические атласы составляются на основе современного состояния диалектов. Конечно, язык, диалекты в своем развитии подчиняются внутренним языковым закономерностям, однако в качестве действительно формирующих факторов выступают и внешние моменты (связанные с историей народа, общества). Здесь прежде всего имеется в виду, что в истории славянских народов имели место мощные и к тому же многочисленные миграции, переселения народов; последовавшие в результате этого смешения народов могли изменить характер данного языка (диалекта). (Следует заметить, что вопрос о миграциях, проблемы точного исторического расселения славянских народов еще не выяснены в достаточной мере.) При исторической реконструкции на основе современных диалектов, при попытках определения локализации праславянского языка и его диалектов исходят из предположения о развитии диалектов в их чистом виде (древнем, архаическом). Как известно, таких диалектов не существует. Правда, существуют диалекты, которые — по

* Продолжение публикации ответов на анкету, помещенную в № 5 за 1960 г. (стр. 45—46).

[1] В своем ответе я останавливаюсь на первых трех вопросах анкеты.

крайней мере в основном — сохранили свой первоначальный вид (однако в то же время и приобрели новые особенности), но в целом можно предположить, что некоторые из первоначальных (древних) диалектов исчезли, а многие диалекты изменили свой исходный характер.

Общеславянский лингвистический атлас должен основываться на материале современных диалектов; задачей его должна быть регистрация современного языкового состояния. В то же время материал вопросника, слова для изоглосс, явления должны отбираться исходя из праславянского языкового состояния. Таким путем, а также правильным подбором и группировкой явлений можно было бы достичь того, чтобы атлас отразил развитие после праславянского языкового состояния, а также системную связь явлений.

П. Кирай (Будапешт)

Общеславянский лингвистический атлас должен стать основательным пособием по проблемам славянской компаративистики. Основные задачи атласа четко сформулированы в вопросах анкеты: 1) лингвистическая и территориальная реконструкция праславянского языка и его диалектного членения; 2) основные тенденции развития славянских языков (и диалектов); 3) миграция племен; 4) выявление структурной типологии славянских языков (и диалектов). Для решения поставленных задач языковые факты должны рассматриваться в двух аспектах: генетически-сравнительном и структурно-типологическом, что обусловливает разные методические принципы исследования.

Атлас должен дать синтез уже известных достижений историко-сравнительного изучения славянских языков и одновременно углубить изучение целого ряда проблем, касающихся лингвистической и территориальной реконструкции праславянского языка и его диалектов. Полученные новые данные смогут послужить дополнительными критериями для установления более точного членения праславянских диалектов и исследования миграции племен. Атлас должен внести и определенные усовершенствования в методологию историко-сравнительного изучения языковых явлений, рассматривая их в определенной системе. Одним из способов усовершенствования историко-сравнительного изучения можно считать объединение диахронического метода с синхроническим.

Данные структурной типологии славянских языков и диалектов на современном этапе смогут выявить новые, до сих пор неизвестные факты: противопоставленные и сопоставленные элементы в отдельных ярусах структуры славянских языков и диалектов. Целесообразной считаем также разработку некоторых структурно-типологических схем на основании реконструированных элементов праславянского языка и его диалектов.

Чрезвычайно важное значение имеет методика разработки программы; она должна основываться на двух аспектах изучения языковых фактов. Особенно важна разработка соответственных пунктов программы вопросника представителями структурной лингвистики, а также подбор типологических явлений для лингвистической географии.

В программе вопросника в целом следует обратить внимание на наиболее архаические, реликтные и наиболее типичные явления. Программу не следует перегружать инвентарем, но она должна охватывать намного больше материала, чем будет использовано впоследствии для картографирования. Для выявления наиболее типичного процесс опроса должен проводиться фронтально с целью получения ответов от лиц разного возраста, мужчин, женщин, детей дошкольного возраста, представителей разных профессий.

Объединение диахронического и синхронического изучения языковых явлений требует объединения двух видов опроса: 1) от языковой субстанции к ее значению, от грамматических форм к их функциям; 2) от предметов, понятий к их наименованиям, от грамматических функций к спо-

собам их выражения. Кроме вопросов, навязывающих в некоторых случаях ответ, следовало бы зафиксировать на магнитофонных лентах по возможности наибольшее количество связных текстов в свободном речевом потоке. В связи с этим важное значение имеет методика магнитофонных записей и их анализа. Анализ текстов выявит частотность употребления определенных слов, грамматических форм и конструкций, совокупность контекстов, в которых может выступать данный элемент. Связные тексты особенно важны для установления доминантных конструкций, выявления синтаксических моделей, особенностей фонологической системы. Стоило бы также записать некоторые фольклорные материалы, так как эти материалы могут содержать разные реликтные явления.

Необходимо тесно координировать обработку отдельных разделов программы, фонетики — лексики, словообразования — морфологии, словообразования — лексики, морфологии — синтаксиса, синтаксиса — лексики как при составлении анкеты, так и при обработке ее результатов для картографирования. В программе должна быть отдельная графа для примечаний, в которой собиратель сможет записывать интересные в общеславянском аспекте факты, не предусмотренные программой. Отмеченные в каком-либо населенном пункте факты необходимо проверить и в других обследуемых пунктах. В связи с этим на время собирания материала должен быть установлен тесный контакт между отдельными диалектологическими экспедициями. Очень важна и техника картографирования, четкость изоглосс, изофон, введение определенных условных знаков, ясность типологических схем, соответственные комментарии.

О. Ф. Рипецкая (Львов)

Вопрос № 2. «В чем специфика и отличие общеславянского атласа от отдельных национальных славянских атласов?»

Специфика лингвистических атласов отдельных языков заключается, как нам кажется, в том, что они обладают в общем двоякой функцией. С одной стороны, они должны раскрывать современные диалектные отношения, и в этом их большая документальная ценность. Материалы, собранные на базе единого вопросника, дают основания для научного сравнения и анализа. С другой стороны, атлас одного языка должен быть устремлен на исследование явлений и процессов, проливающих свет на прошлое, на направление развития диалектов и прежде всего — на формирование литературного языка как наддиалектной общенародной нормы, на степень участия в ней элементов отдельных диалектов. Наконец, работа над одноязычным атласом дает материал для обобщающего описания говоров, а в странах, где такие исследования были выполнены раньше, она дает исключительную возможность проводить сравнение разных фаз развития языка, как они представлены в современных говорах; благодаря этому становится возможным понять направление изменений, которым подвергаются современные говоры, особенно под влиянием литературного языка.

Как видно, научные цели одноязычных национальных атласов принципиально не отличаются от задач, которые, по нашему мнению, должен реализовать общеславянский лингвистический атлас. Естественно, кроме названных основных, существует целый ряд других не менее важных областей, надлежащее изучение которых атлас в значительной степени облегчит. Это проблема языковых пограничных районов, вопрос о смешанных и переходных говорах, изучение иноязычных влияний, регистрация архаизмов.

Кроме того, нужно еще добавить, что одноязычные атласы должны предшествовать реализации общеславянского лингвистического атласа или хотя бы сопровождать ее, поскольку они дают богатый теоретический

и практический опыт, раскрывают типичные для данного языка явления и помогают установить межславянские языковые связи. При этом создается возможность разграничить по тематике и объему оба предприятия

М. Карась (Краков)

Цели национальных славянских атласов и общеславянского атласа различны, различны в основном и охватываемые ими явления. Задача национальных атласов — проследить развитие фонетической, грамматической системы и лексического состава территориальных диалектов в пределах одного языка и выявить основные черты диалектной дифференциации отдельных национальных языков на современном этапе их развития.

Анкетные данные национальных атласов могут в некоторых случаях использоваться для общеславянского атласа. Исследование общеславянских языковых элементов в историко-сравнительном аспекте, проводившееся в диахроническом плане, должно пополняться данными, полученными путем синхронического исследования. Такие дополнительные сведения можно получить из анкетных данных национальных атласов. Обследование большего, чем предусмотренное для общеславянского атласа количества населенных пунктов может помочь выявлению отдельных реликтных явлений, не имеющих значения для развития национальных языков и их диалектов, но важных для лингвистической и территориальной реконструкции праславянского языка и его диалектов. Поэтому целесообразно, по нашему мнению, в вопроснике для собирания материалов для национальных атласов отдельно выделить графу для реликтных явлений.

О. Ф. Рипецкая

Вопрос № 3. «Если в задачу общеславянского атласа входит реконструкция диалектного членения праславянского языка, основных путей миграции отдельных славянских племен (народностей) и определение их взаимосвязей, то каковы должны быть хронологические рамки исторических языковых явлений, подлежащих выяснению в лингвогеографическом плане?»

Временная граница общеславянского лингвистического атласа не должна выходить за пределы раннего средневековья; более поздние явления атлас охватывать не может, он включит только те, которые свойственны всем славянским языкам (ср. результаты палатализаций задненебных согласных) или некоторым славянским группам (ср. развитие сочетаний **tort*, ** tolt*), а также наиболее ранние характерные для отдельных славянских языков факты, позволяющие выделить их среди других языков (ср. диспалатализацию передних гласных *e*,*ě*,*ę*, а также *r'*,*l'*, типичную для польского языка или, возможно, для всей лехитской группы). Безусловно, в атлас не следует включать явления типа широко известного факта специфического развития носовых гласных в польском языке, так как такой факт войдет в специальный атлас польского языка. Для целей общеславянского атласа достаточно лишь указать на общие типы реализации носовых гласных.

Приняв предложенную здесь временную границу, не следует, однако, применять ее механически. Без сомнения, в отношении отдельных языков и в зависимости от специфики их эволюции и эволюции отдельных групп здесь необходимы коррективы, иногда довольно значительные. Конкретное решение в каждом частном случае должны принимать национальные славистические комитеты, исходя из имеющегося опыта диалектологических и исторических исследований.

М. Карась

Установление точных хронологических рамок исторических языковых явлений едва ли возможно. Кроме явлений, относящихся ко времени от общеславянской эпохи до периода формирования отдельных национальных языков, атлас охватит и современные явления, являющиеся результатом более позднего развития в пределах отдельных национальных языков.

О. Ф. Рипецкая

Вопрос № 5: «Что может дать для общеславянского атласа обследование неславянских территорий, где раньше существовало славянское население (например, румынской, венгерской), и как это обследование должно проводиться? В какой степени следует учитывать те явления славянских языков, которые связаны с фактами „языковых союзов"?»

Предметом диалектологии является изучение живых диалектов, на которых говорят широкие народные массы на более или менее замкнутой в этническом отношении территории, где они живут издавна и постоянно. Предметом славянского лингвистического атласа является обработка методом лингвистической географии материала славянских диалектов, которые в диахроническом плане образуют органическое генетическое целое, а в плане синхроническом представляют собой целый ряд параллельных, более или менее тождественных структур. Для дополнения общей картины в атлас можно включить и данные диалектов мертвых славянских языков, таких, как язык полабский и язык поморских славян, хотя в настоящее время эти территории в языковом отношении и не являются славянскими. В таких случаях можно было бы графически передать звучание соответствующего слова без его локализации в отличие от данных живых диалектов, которые обязательно должны быть локализованы.

Иную проблему представляет собой вопрос о том, нужно ли включать в славянский атлас материал тех территорий, исконно славянский языковой характер которых засвидетельствован лишь топонимикой или заимствованными соответствующим неславянским языком славянскими апеллятивами. Славянские фонетические и морфологические явления, проникающие в неславянские языки, попадают в совершенно иную структурную систему, отрываются от исходного славянского языка и утрачивают связь с процессами его развития. Поэтому, например, существование в венгерском языке слова *széna*, восходящего к слав. *sěno*, не имеет никакого отношения к тому, что в славянских диалектах существует фонетическая дифференциация *seno — s'eno — s'ino — siano — sijeno — seno—senô — syno* и т. д. Венг. *asztal*, восходящее к слав. * *stolъ*, не имеет никакого отношения к славянским вариантам *stol — stu̯ol — stůl — st'iu̯* и т. д. То, что в венгерском языке заимствованные славянские слова звучат как *péntek* из * *pętъkъ*, *bolond* из * *blǫdъ*, *szent* из * *svętъ*, *goromba* из * *grǫbъ*, *galamb* из **golǫbъ* и т. д., не имеет значения при определении территориального размещения рефлексов праславянских носовых в современных славянских диалектах.

Исследование славянских элементов в неславянских языках, без всякого сомнения, является очень полезным для истории додиалектного состояния славянских языков, а также для истории отдельных славянских языков. Однако по отношению к материалу современных живых славянских диалектов дело обстоит иначе — эти элементы благодаря процессам адаптации выступают в видоизмененной фонетической и морфологической форме и с трудом поддаются географической и временной датировке. Они не принадлежат к живому организму славянских диалектов; ввиду временной неоднородности их нельзя картографировать вместе с материалом современных живых диалектов. Карты могут иметь ценность только в том случае, если на них изображается положение однородных по временному

признаку вариантов определенного явления. Иначе их нельзя было бы сравнивать, у них отсутствовал бы общий знаменатель.

В славянском лингвистическом атласе можно было бы обследовать и картографировать локализацию некоторых славянских слов на неславянской территории в неславянских диалектах. Однако вряд ли можно добиться того, чтобы лексическая и семантическая проблематика, которая будет в центре внимания при обследовании лексики для славянского лингвистического атласа, одновременно удовлетворяла требованию хотя бы относительной полноты обследования славянских лексических элементов во всех соседних неславянских языках. Полная картина взаимоотношений лексических элементов исследуемых языков создалась бы лишь в том случае, если бы одновременно изучались и неславянские лексические элементы в славянских языках. В итоге этих встречных исследований могли бы быть получены определенные выводы.

Отношения между славянскими и соседними неславянскими языками складывались преимущественно как отношения двух конкретных языков в период распада праславянской языковой общности или же позднее в разное время и в разных общественных, экономических и культурных условиях; это отношения русско-финские, болгаро-греческие, сербскохорватско-албанские, словинско-немецкие, чешско-немецкие, польско-немецкие и т. д. Нельзя говорить о славяно-финских, славяно-албанских и даже, наконец, о славяно-немецких языковых отношениях. С учетом этого следовало бы организовать и изучение этих отношений.

Таким образом, включение обследования славянских элементов в неславянских языках в рамки славянского лингвистического атласа наталкивается на трудности. Такое обследование само по себе важно и теоретически оправдано, но вместе с тем методологически оно отличается от обследования живых диалектов. Интерпретация географической локализации языковых явлений на территории неславянских языков в сущности преследует иные цели, чем интерпретация явлений славянских диалектов. Исследование славянских элементов в неславянских языках могло бы усложнить на всех этапах работу над славянским лингвистическим атласом и отдалить его реализацию.

Й. Штольц (Брно)

Перевод со словацкого

В работу над славянским лингвистическим атласом могли бы включиться ученые и неславянских стран (Румынии и Венгрии). Речь идет об изучении древних славянских поселений на территории этих государств и об использовании некоторых данных румынского и венгерского языков и их диалектов, в первую очередь славянских заимствований. Мы принимаем участие в работе над атласом и стремимся выполнить задачу, касающуюся нас.

Остановлюсь на некоторых вопросах, связанных с исследованием венгерских диалектов. Р. И. Аванесов и С. Б. Бернштейн в работе «Лингвистическая география и структура языка» (М., 1958, стр. 23) отмечают, что венгерские и румынские диалекты могут обнаружить следы древних славянских диалектов и дать ценный материал для древних славянских изоглосс, что позволило бы уточнить прежнее диалектное членение славянских наречий на территории древней Венгрии и Румынии.

Нам кажется, что для общеславянского атласа ставить такую задачу было бы неверно. Для реконструкции древних славянских диалектов и проведения древних языковых изоглосс можно было бы скорее использовать славянскую топонимику Венгрии (хотя и этот вопрос слишком сложный). Прежде всего мало таких дифференциальных признаков, на основе которых с уверенностью можно было бы сказать, что то или иное слово происходит из того, а не из другого славянского языка. Далее. Не-

которые слова — а их около 550 — одинаково употребительны на всей венгерской языковой территории и в разговорном языке. Так, например, болг. *mostoha*, *mesgye* или сербско-хорв. *gatya*, русск. *tanya* и т. д. известны повсеместно. Если не принимать во внимание исторические факты, то материалы, собранные для атласа, привели бы к выводу, что эти слова и первоначально были распространены повсюду и группы *št*, *žd* вместо **tj*, **dj* или некоторые другие болгарские и сербскохорватские языковые признаки были некогда живыми, например, в северной части Венгрии. На основании современного распространения хотя бы слова *mostoha* получилась бы изоглосса, окружающая всю венгерскую языковую область однако такое состояние может быть характерно лишь для настоящего времени, но не для давнего прошлого (для IX—XI вв.).

Поясним этот вопрос историей венгерского слова *pest*. Это слово происходит из слав. **pektь* (ср. слав. *pešt*, *peć*, *pec*, *печь* и т. д.) и встречается в некоторых местных названиях (ср. *Budapest* и *Mészpest* в восточной Словакии). Но это слово было известно и в бывшем Бач-Бодрогском комитате и в Среме, т. е. в южной части Венгрии. Помимо местных названий, это слово жило и в качестве имени нарицательного, известного уже в XV в. в одном памятнике из юго-западной части Задунайской области. Это слово известно и в диалектах Понитрья (в западной Словакии) и восточной области (у секеев в Трансильвании). При оценке этих данных необходимо принять во внимание то обстоятельство, что явные следы болгар имеются лишь в Трансильвании. С другой стороны, некоторые местные названия (упоминаемые уже в средневековье — *Pestkw*, *Kwpest*, *Munuhpest* и *Mezpest*), являющиеся сложными словами, показывают, что слово *pest* (заимствованное первоначально из болгарского) с течением времени стало достоянием венгерского словарного фонда, т. е. венгерским именем нарицательным, которым венгры обозначили некоторые местные поселения, прежде всего те, где «обжигали известь», причем на территории, где болгары первоначально не жили.

Итак, атласы трудно использовать в целях реконструкции, даже если иметь в виду, что некоторые слова, известные лишь на ограниченной территории, т. е. слова областные (правда, если их древняя принадлежность данной территории подтверждается и историческими фактами), можно использовать для исторической диалектологии.

Чем — по данным подготавливаемого венгерского языкового атласа — материал венгерских диалектов мог бы быть полезен для общеславянского атласа? Венгерский атлас охватывает материал 320 пунктов венгерской территории, который уже картографирован. Вопросник (грамматический и лексический) включает 1400 вопросов, приблизительно десятая часть которых, т. е. 130 вопросов, охватывает и слова славянского происхождения. В соответствующем диалектном материале представлены замены различных славянских звуков. Так, в атласе отражены рефлексы еров (ср. *rozs* < слав. **rъžь*, *bodza* < слав. **bъzje*), носовых гласных (ср. *konkoly*, *péntek*, *bolond*, *galamb*), ятя (ср. *széna* < слав. **sěno*, *vödör* < слав. *vědro*, *ebéd* < слав. **obědъ*); далее имеются слова с рефлексами **tj*, **dj* (ср. *rozsda* < *rъdja*, *lencse* < **lętja*, *mostoha* > **matjecha*), слова с исконным *g* (ср. *ganaj*, *galamb*) и т. д. Почти каждое из приведенных слов употребляется на всей венгерской территории в одной и той же форме; отклонения, указывающие на огласовку другого славянского языка, незначительны. Так, например, наряду с болгарской формой *rozsda* употребляется и сербскохорватский вариант *ragya* в западной части Венгрии. Таким образом, венгерские диалекты таят в себе богатый материал, который следовало бы открыть для славистики.

Исследовать венгерские диалекты в целях исторических реконструкций — сложная, более того, неосуществимая задача. Венгерские диалекты, прежде всего их славянские заимствования, могли бы быть исследованы в целях регистрации, т. е. констатации того, например, какие

рефлексы праславянских носовых, ятя и т. д. представлены в современных венгерских диалектах. Вероятно, с наибольшим успехом могли бы быть исследованы в этом отношении фонетические явления и область лексики.

Правда, результаты, достигнутые таким образом, носили бы иной характер, нежели данные, почерпнутые из славянских диалектов: они имели бы историческое значение (указывали бы на более древнюю стадию, на состояние в X, XIII вв. и т. д.), в то время как данные славянских диалектов характеризовали бы синхронное (современное) состояние. Однако несмотря на это результаты, почерпнутые из венгерских диалектов, могли бы быть использованы для общеславянского атласа хотя бы лишь потому, что, например, рефлексы отдельных праславянских звуков, встречающиеся в венгерских диалектах (носовые; *št*, *žd*; *g*; замены ятя и т. д.), живы в той же форме в настоящее время и в некоторых славянских языках [2].

П. Кирай

Вопрос № 10. «Что могут дать материалы топонимики для общеславянского атласа? Как и в какой мере их следует использовать (учитывая, что создание топонимического славянского атласа — особое предприятие)?»

Предметом разработки славянского топонимического атласа является особая часть словарного состава — топонимы, образованные по определенной словообразовательной модели от основ известного типа. Общеславянский лингвистический атлас, как всякий лингвистический атлас, опирается на материал, который представляет общий словарный состав живых диалектов.

Топонимические названия во многих отношениях оказываются за рамками изменений, обусловленных фонетическими и морфологическими процессами развития, которые имеют место в словарном составе вообще. В топонимических названиях консервируются древние фонетические и морфологические явления, которые с точки зрения общего словарного состава являются уже непродуктивными, изолированными и характерными лишь для этого узкого круга слов. В некоторых словацких диалектах до сих пор сохраняется чередование *k/c* и *ch/š* в местном падеже мн. числа топонимов типа *žabokreky — v žabokreci* (топольчанский диалект), *Vlachy — vo Vlaši* (спишский диалект), а также древнее окончание местного падежа мн. числа *o*-основ: *Smrečany — v. Smrečaňje*[*ch*] (липтовский диалект), *Moravce — v Moravci* (тековский диалект), *Markušovce — v Markušofci*, *Košice — v Košici* (восточнословацкий диалект). Формы этого типа встречаются уже спорадически; на большей части территории представлены новые формы на *-och*, *-ách*, *-iach*. Во всех словацких диалектах у топонимов по происхождению мужского рода в род. падеже мн. числа имеется форма без окончания типа: *Voderady — Voderád*, *Tesáre — Tesár*, *Necpaly — Necpál*, *Rybany — Rybian*, *Továrniky — Továrnik*, *Levice — Levíc*, *Dravce — Draviec*, *Moravce — Moraviec*. Эти древние формы характеризуют лишь топонимы; в общем словарном составе в род. падеже мн. числа последовательно употребляются новые формы на *-ov*, а также на *-och*, которые играют важную роль в различении диалектов и являются характерными для морфологической системы словацких диалектов в ее отношении к морфологической системе диалектов других славянских языков.

Картографирование топонимического материала могло бы дать определенные сведения по истории диалектов, но пришлось бы всякий раз

[2] О проблеме включения материала венгерской территории в общеславянский лингвистический атлас я докладывал на Варшавском заседании Комиссии по общеславянскому атласу в 1959 г.

четко различать результат, базирующийся на топонимическом материале, и результат, основанный на общем языковом материале. Ввиду разного характера материала, особенностей методического подхода и различий в приемах обработки представляется целесообразным не объединять лингвистический и топонимический атласы, а создавать каждый отдельно.

В топонимическом атласе, помимо современной терминологии, можно хорошо представить терминологию древнюю, которая сохранилась в памятниках письменности. В сферу обследования можно включить ныне неславянские территории, где топонимы сохранились как свидетельство первоначального славянского заселения. И хотя в таких случаях придется реконструировать фонетическую и морфологическую форму, все же можно будет получить многие полезные сведения, которые хотя бы схематически дадут возможность дополнить картину древней дифференциации славянских диалектов.

По методическим, теоретическим и практическим соображениям создание лингвистического атласа и топонимического атласа необходимо рассматривать как две различные задачи. Если топонимический атлас будет координироваться с атласом лингвистическим, то вреда не будет. Если же в лингвистическом атласе попытаться сколько-нибудь полно отразить топонимический материал, то это неизбежно приведет к сужению проблематики. Это не в интересах дела, потому что лингвистический атлас охватывает несравненно более широкий материал, чем атлас топонимический.

Й. Штольц

Топонимика как наиболее архаический слой лексического состава, сохранивший реликтные явления отдельных диалектов (фонетические и лексические), может дать много интересного материала для генетически-сравнительного изучения праславянского языка и его диалектов, а именно для вопросов фонетики, лексики, миграции племен. Однако полноценные данные здесь может дать только топонимический атлас. Структурная специфика топонимики требует комплексного, системного исследования. Сетка карт и принципы картографирования топонимического атласа не будут совпадать с сеткой и принципами картографирования общеславянского лингвистического атласа.

Для лингвистического атласа топонимические данные могут использоваться исключительно в качестве дополнений к разделу апеллятивной лексики: 1) для бывших славянских территорий, например для территорий между Лабой и Одрой; 2) на современных славянских территориях в тех случаях, когда определенное фонетическое явление или слово в данном населенном пункте не засвидетельствованы. Тогда следует обращаться к микротопонимике, наиболее близкой в структурном и функциональном отношении к апеллятивам. Для изучения вымерших славянских диалектов топонимы выявят: 1) рефлексы праславянских звуков и звукосочетаний; 2) лексический фонд, слова и корни слов, легшие в основу образования топонимов, т. е. лексические элементы, бывшие когда-то общеупотребительными апеллятивами.

При исследовании лексической базы топонимики следует исходить из инвентаря апеллятивной лексики, установленного для современных славянских территорий. Разумеется, большинство топонимов будет одновременно использовано для изучения различных рефлексов праславянских звуков. Однако при таком подходе многие лексические архаизмы, сохранившиеся в топонимическом составе, останутся вне поля зрения (названия от слов-наименований уже несуществующих предметов и понятий, например топонимы от **turъ*, **žǫbrъ*, от корней глаголов, обозначающих корчевание лесов). Только комплексное и системное исследование топонимики как на территориях, некогда населенных славянами, так и на современных

славянских, даст возможность полностью выявить общие и различительные элементы праславянской лексики. В общелингвистическом плане топонимический материал может дать и некоторые дополнения для праславянского словообразования (структура сложных слов, реликты непродуктивных суффиксов, например *-jь*).

Топонимический материал, который будет использован общеславянским атласом, требует особого анализа в связи с двойственной природой топонима. Следует иметь также в виду, что в славянскую топонимику на неславянских землях проникали иноязычные фонетические особенности, например элементы восточнонемецких диалектов.

Для общеславянского лингвистического атласа следует использовать топонимический материал неславянских территорий, который позволяет реконструировать праславянские формы и рефлексы определенных звуков и звукосочетаний (например, носовых гласных, гласного *ě*, групп *tort*, *tolt*). Для получения соответствующих форм лексических единиц требуется элиминировать из языковой субстанции топонима несущественные в данном случае явления: 1) специфические системные особенности данной топонимической категории; 2) явления языковой адаптации: а) общие для всех категорий лексических заимствований этого рода, б) специфические для топонимики. Часто топонимы подвергались так называемым искажениям; следует установить, обусловлены ли эти искажения языковыми или внеязыковыми факторами.

Для общеславянского атласа следует подбирать названия с ясной этимологией. Образцовыми в этом отношении являются этимологии лейпцигских топонимистов (Р. Фишера, Э. Эйхлера). Из обработок топонимики на современных территориях восточной Германии следует использовать исследования и материалы Р. Траутмана [3] и лейпцигских топонимистов, а для чешско-немецких пограничных земель работы Э. Шварца и словарь А. Профоуса.

Топонимический атлас имеет свои специфические задачи, из которых вытекает специфика методики обработки материала и принципов его картографирования. Изучение топонимики должно проводиться в тесной связи с историей селений, с данными археологии и этнографии. Одной из главных задач топонимического атласа должна быть топонимическая стратиграфия, т. е. история, хронология и география определенных структурных топонимических типов. Топонимический атлас должен раскрыть структурную специфику славянской топонимики в ее системе: выявить соотносительные словообразовательные типы и модели отдельных топонимических категорий, внутреннюю взаимосвязь между топонимическими категориями (между топонимами и гидронимами). В равной степени топонимический атлас должен рассмотреть систему лексического фонда топонимики, соотносительность ее лексических элементов. В круг проблематики топонимического атласа могут войти и такие вопросы, как отношение антропонимических элементов топонимики к системе антропонимической структуры данного диалекта, отношение лексического фонда топонимики к апеллятивной лексике данного диалекта. Комплексное и системное исследование топонимики выявит ее структурную типологию и покажет, насколько структура топонимики обусловлена спецификой структуры диалекта в целом.

О. Ф. Рипецкая

---

[3] Исследование топонимики северо-восточных районов Германии продолжается Институтом славистики Берлинской Академии наук.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. С. СОКОЛОВА

О НЕКОТОРЫХ СИГНАЛАХ ГРАНИЦЫ СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема сигналов границы слова приобрела в последнее время глубокое теоретическое и практическое значение [1]. Общеизвестны трудности, связанные с решением этой проблемы для таких языков, как французский. Дело в том, что во французском языке речевой поток членится на компактные речевые такты, которые принято называть ритмическими группами. В ритмических группах слова, как правило, связаны посредством слияния (liaison), сцепления (enchaînement), элизии (élision) и пр.

Вследствие наличия таких форм фонетического связывания слов, а также вследствие особого характера французского слогоделения и акцентуации ритмическая группа воспринимается на слух как некое единство, в котором стираются границы между словами [2]. И если при анализе речевого потока во французском языке принимать во внимание только чисто фонетические факторы, то станет неизбежным вывод об иллюзорности понятия «слово» и о том, что «словами» следует называть фонетические слова [3]. Тогда в предложении типа *Les enfants deviendront des hommes* можно будет выделить всего лишь три слова: *Les enfants /deviendront/ des hommes/*, так как артикль и существительное образуют в произношении единства [lezã'fã], [de'zɔm], каждое из которых воспринимается на слух как одно слово. Следовательно, вывод об иллюзорности «слова» связан с пониманием слова как определенного фонетического единства. Но эти же сочетания (*les enfants*, *des hommes* и т. п.) можно анализировать, исходя из потенциальной выделимости слова, из понимания слова как единицы структурно-семантического членения фразы. И если, несмотря на усилия многих лингвистов, удовлетворительного определения слова еще не дано, то во всяком случае разработаны довольно четкие структурные критерии выделения слова.

Если теперь по этим критериям анализировать единства *les enfants* и *des hommes*, то мы увидим, что каждое из них состоит из двух слов. Доказательством этому служит возможность вставить определение между артиклем и существительным (*les petits enfants*), возможность заменить артикль каким-либо другим словом (*nos enfants*), возможность опустить артикль (*enfants, vous deviendrez des hommes*).

Возникает, однако, вопрос, насколько проведенное по изложенным выше принципам членение речевого потока на слова проявляется в фонологической структуре слова, в частности в какой мере можно говорить об определенных пограничных сигналах [4], которые указывали бы на начало

[1] См., например, М. В. Панов, О разграничительных сигналах в языке, ВЯ, 1961, 1.

[2] См. Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 216 (§ 312).

[3] См. Ch. Bruneau, Manuel de phonétique, Paris, 1927, стр. 53—54.

[4] См. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 299 и сл.

слова, на его конец или на стык двух слов. При этом очевидно, что фоносогические пограничные сигналы не могут не основываться на чисто лонетических признаках, характерных для данного конкретного языка.

Вопрос о фонетических признаках границы слова во французском языке решается чаще всего негативно. Например, П. Пасси говорит, что нет никаких материальных факторов, отмечающих границы слов [5]. Однако внимательное изучение реальных фактов языка показывает, что в некоторых случаях возможно выделить те или иные фонетические черты, характеризующие начало или конец слова и тем самым указывающие на границу между словами.

П. Делаттр тонко анализирует некоторые фонетические явления, характеризующие начало, конец или стык слов, и перечисляет черты, способствующие в ряде случаев выделению слов в потоке речи: 1) неполная дезакцентуация конечных слогов знаменательных слов (mots majeurs), находящихся внутри ритмической группы; 2) акцентуация начала слова в случае наличия дополнительного ударения (accent d'insistance); 3) изменения в артикуляции согласных при liaison и enchaînement, проявляющиеся прежде всего в степени и направлении напряженности (нарастающая и убывающая напряженность), в степени силы и в зависимости от соседства с другими звуками [6].

Следует, однако, отметить, что связь между фонологическими пограничными сигналами и их фонетическим воплощением может иметь более косвенный, опосредствованный характер. Так, Ш. Балли, анализируя фонологические факторы независимости слов в сочетаниях, исходит из того, что «если „слова", как это имеет место во французском языке, не вполне слиты в сочетании, то их нужно различать по некоторым менее общим, более тонким и часто имеющим негативный характер знакам. Тот факт, что в большинстве случаев эти знаки остаются незамеченными, нисколько не умаляет их демонстративного значения»[7]. Балли перечисляет далее «основные звуковые приемы, при помощи которых французский язык различает отдельное слово в предложении и сочетании и даже в очень редких случаях составные элементы слов».

Из всех перечисленных этим автором приемов [8] наиболее важным нам представляется зияние на стыке слов. Во французском языке зияние на стыке слов взаимодействует в известной степени с таким характерным для этого языка явлением, как liaison. Здесь обнаруживается интересное взаимопроникновение черт, способствующих стиранию границ между словами, и черт, более или менее четко обозначающих границы слов. При этом зияние — явление эволюционирующее, оно становится все более частым вследствие уменьшения количества liaisons.

Возникает, однако, вопрос: можно ли считать зияние признаком границы двух слов, если известно, что оно возможно и внутри слова? Мы считаем, что для ответа на этот вопрос необходимо выяснить, какова частотность употребления слов, содержащих в себе зияние, и какова частотность зияния на границе двух слов, т. е. каков удельный вес каждого из двух видов зияния в речи. Это даст возможность сделать вывод о роли каждого из них в системе языка.

---

[5] P. P a s s y, Les sons du français, Paris, 1913, стр. 41 (§ 71).

[6] P. D e l a t t r e, Le mot est-il une entité phonétique en français?, «Le français moderne», 1, 1940. Наблюдения Делаттра о возможности акцентуации слов, находящихся внутри ритмической группы, можно дополнить наблюдениями других исследователей французского языка. Так, К. К. Барышникова на убедительных примерах показывает возможность ударения на обычно безударных словах (К. К. Б а р ы ш н и к о в а, О фразовом ударении в современном французском языке, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», VI, 1953, стр. 62—63).

[7] Ш. Б а л л и, указ. соч., стр. 354.

[8] См. е г о ж е, указ. соч., § 533 («Изолированные фонемы»), § 534—536 («Зияние»), § 537—546 («Сочетания фонем»).

Как известно, действующие в истории французского языка фонетические законы постепенно устраняют зияние. Уже в период формирования французского языка «зияния, существующие в классической латыни или происходящие вследствие исчезновения согласного ... редуцируются разнообразными путями» [9]. Так, *prehendere* > **prendere*, *mortuus* > **mortus* или *filiolus* > **filyolus* и т. д. Правда, в старофранцузский период зияния вновь возникают, главным образом в связи с исчезновением некоторых согласных в интервокальном положении.

Однако в дальнейшем произношение постепенно устраняет неударные гласные в зиянии. В XVI в. этот процесс завершается окончательно. Зияние осталось в глаголах *haïr*, *trahir*, *envahir*, а также в словах *naïf*, *pays*. Позднее зияние было восстановлено в некоторых словах. Например, Малерб восстановил его в *Noël*, *poète*, где в XVI в. зияния не было.

Эти факты истории языка свидетельствуют о том, что большинство слов с зиянием в современном французском языке относится к более поздним заимствованиям, т. е. они вошли в язык уже после того, как были закончены фонетические модификации, и не отражают исторических тенденций развития звуковой системы французского языка. Для того чтобы выяснить, велико ли количество таких слов, достаточно проанализировать какой-либо словарь французского языка. Мы взяли французско-русский словарь К. А. Ганшиной, содержащий 40 тыс. слов, употребляемых в разговорной речи, литературе, политике, науке и технике. Анализ показал следующее: из 40 тыс. просмотренных слов 820 имеют зияние (т. е. 2%) [10].

В этих словах наиболее многочисленными и разнообразными по характеру сочетаний оказались группы «/е/ + гласный», «/а/ + гласный» и «/э/ + гласный» [11]. Подавляющее большинство слов с зиянием — 749 из 820 (т. е. около 91%)— содержит сочетания гласных, входящие именно в эти три группы. Некоторые сочетания гласных вообще не встречаются внутри слов. К их числу относятся прежде всего сочетания носовых гласных с чистыми и сочетания двух носовых [12]. Это объясняется тем, что в современном французском произношении назализация исчезает в случае соприкосновения носового гласного с каким-либо другим.

При анализе слов, содержащих зияние, обращает на себя внимание тот факт, что среди них выделяется большая группа терминов. В словаре они снабжены специальными пометами, указывающими на употребление их в той или иной области науки: в физике (например: *coercible*, *incoercibilité*, *intraatomique*), химии (например: *cocaïne*, *créosote*, *haloïde*, *féculoïde*), геометрии (например: *dodécaèdre*, *ellipsoïde*, *héptaèdre*), геологии (например: *éocène*, *pliocène*), астрономии (например: *périhélie*), технике (*mazéage*, *hydroextracteur*), в морском деле (*gréage*, *gréer*), ботанике (*oléandre*, *nymphéa*, *nivéole*, *nivéal*), зоологии (*protozoaires*), медицине (*pancréatite*, *pancréas*, *iléus*), анатомии (*malléole*, *cricoïde*).

К этой же группе следует причислить слова, которые, хотя они и не снабжены в словаре пометами, также имеют отношение к различным разделам науки, например: *octaèdre*, *océanographie*, *trachéal*, *alvéole*, *anthropoïde*, *balnéothérapie*, *électro-aimant*, *pyro-électrique*, *radio-électricité*, *radio-emplificateur*, *hydroélectrique* и т. д.

В другую группу входят слова, употребляемые в литературных произведениях, в газетах, в разговорной речи. Например: *géant*, *naïf*, *égoïste*, *océan*, *Noël*, *héroïsme*, *réunir*, *obéir*, *coexister*, *agréable*, *coopérer* и т. д.

[9] См. А. Дауза, История французского языка, М., 1956, стр. 38 (§ 28).

[10] Подсчитывались как корневые слова, так и их производные, например: *océan* — *océanique* — *océanographie* и т. д.

[11] Как мы увидим в дальнейшем, сочетание «/э/ + гласный» не встречается на стыке слов. Следовательно, наличие этого сочетания в потоке речи всегда свидетельствует о принадлежности его слову, а не стыку слов.

[12] На стыке слов такие сочетания возможны. Следовательно, их наличие будет знаком границы слов.

и т. д. О малой употребительности слов с зиянием в общенародном языке свидетельствует, например, тот факт, что в словаре 3 тыс. наиболее употребительных слов, составленном Г. Гугенемом [13], из 820 слов с зиянием, приведенных в словаре К. А. Ганшиной, встретилось лишь 39, а также еще 26 слов географических названий и производных от них (типа *Sahara — Saharien*), т. е. в целом 2% общего количества слов.

Для ответа на вопрос о том, какие из слов, содержащих зияние, действительно употребляются в современном французском языке, требуется провести широкий статистический анализ большого числа текстов, разнообразных по характеру и тематике, а также анализ употребления таких слов в разговорной речи. Наша работа не ставит перед собой подобной задачи. И все же для того, чтобы иметь возможность ссылаться на реальные факты языка, а не только оперировать данными анализа словаря, где слова не связаны с контекстом, необходимо проанализировать употребление слов с зиянием хотя бы на ограниченном материале. Аналогичный анализ необходим и для выявления случаев зияния на стыке слов.

Материалом для нашего исследования послужили газета «L'Humanité» (от 7 V 1959) и диалоги из книги Ж. Лафитта «Rose France». В исследованном материале, во-первых, выделены слова, содержащие зияние, и, во-вторых, подсчитано количество зияний на стыке слов. На восьми страницах газетного текста содержится 143 слова с внутренним зиянием (из них 104 разных). В диалогах из «Rose France» — 67 слов (из них 31 разное). Анализ зияния гласных на стыке слов показал следующее: в газете встретилось 1884 зияния и, кроме того, 189 случаев факультативного liaison, которые можно опустить при чтении газеты. В диалогах (где факультативные liaisons не учитывались) мы отметили 1887 зияний. Таким образом, если считать общее количество зияний за 100%, то соотношение их внутри слов и на стыке слов составит: в газете 7% и 93%, а в диалогах — 4% и 96%.

На стыке слов количество и разнообразие сочетаний гласных определяется тем, какие гласные возможны в начале и в исходе слова. Если бы все 16 французских гласных были возможны в этих позициях, то для каждого гласного число таких сочетаний равнялось бы 16. Однако /oe/ и /ə/ по законам французской фонетики не встречаются в исходе слова. Поэтому на стыке слов не бывает сочетаний «/oe/ + гласный» и «/ə/ + гласный» [14]. Гласный /ə/ беглое не встречается в начале слова, что объясняет отсутствие сочетания «гласный + /ə/ беглое». Во всех остальных случаях зияние возможно. На стыке слов возможны и сочетания: «носовой гласный + чистый гласный», «носовой + носовой», «/i, y, u/ + гласный», т. е. все те сочетания, которых внутри слов практически не бывает. На стыке слов встречаются не только сочетания двух, но и трех и четырех гласных. Внутри же слова сочетание трех гласных крайне редко.

Итак, анализ даже очень ограниченного материала показывает, что на стыке слов зияние встречается гораздо чаще и в более разнообразных сочетаниях, чем внутри слов. С этой точки зрения сделанное нами предположение о роли зияния как пограничного сигнала представляется нам вполне допустимым. При этом мы не касались еще одного самого важного, как нам кажется, довода в пользу этого предположения.

Если в современном языке количество зияний внутри слов остается более или менее постоянным, то количество зияний на стыке слов непрерывно увеличивается в связи с прогрессирующим процессом сокращения употребления liaison. Сравнение транскрипции текстов конца XIX и на-

[13] G. Gougenheim, Dictionnaire fondamental de la langue française, Paris, 1958.

[14] Мы видели, что это последнее сочетание часто встречается внутри слова (см. выше).

чала XX в. показывает, насколько значительны эти изменения [15]. В начале века опускаются такие liaisons, которые ранее рассматривались как обязательные. Одни из них становятся запрещенными во всех стилях произношения (за исключением стиля декламации). Другие становятся необязательными, факультативными в чтении или речи оратора и неупотребительными в разговорной речи (например, связывание существительного в единственном числе с последующим прилагательным, связывание глагола с последующим словом и многие другие).

Ряд лингвистов (назовем в первую очередь Лянгляра, Граммона, Фуше, Нирона, Брюно, Пасси, Доза) свидетельствуют о том, что в современном французском языке, особенно в разговорной речи, количество liaisons сильно уменьшилось. Молодое поколение, отмечает Граммон, стремится употреблять лишь такие liaisons, которые выполняют грамматические функции, в частности служат средством разграничения форм единственного и множественного числа [16]. При чтении художественного произведения liaison делается несколько чаще, но и в этом случае избегают слишком частого употребления liaison. Примером тому может служить анализ отрывка «Un Persan à Paris», данный Граммоном в приложении к главе «Les liaisons et l'hiatus» [17].

Что же происходит в результате утраты liaison, этой специфической для французского языка консонантной формы связывания слов, и как можно описать фонетические результаты этого процесса? Вообще говоря, результаты могут быть различными в зависимости от исхода слова — консонантного или вокалического. Нас интересует лишь последнее. Здесь возможны два случая. Первый случай — отсутствие всякого фонетического связывания. Это дает возможность каждому из слов стать фонетически более самостоятельным в потоке речи, так как, лишившись связующего согласного, первое слово может отделиться от последующего небольшой паузой. Второй случай—связное произношение слов, которое осуществляется путем непрекращающейся вибрации голосовых связок в момент перехода от конечного гласного первого слова к начальному гласному второго слова. При этом на границе слов наблюдается лишь легкая модуляция голоса и некоторый спад интенсивности [18]. При описании этого явления Граммон употребляет термин liaison vocalique [19] и подчеркивает, что во французском языке в потоке речи всегда имеет место связывание; но в одних случаях это связывание консонантное, а в других — вокалическое. Сокращение количества liaisons при вокалическом стыке слов ведет к увеличению количества liaisons vocaliques. В рассказе «Un Persan à Paris» на 30 строках текста Граммон отмечает 34 случая вокалического связывания, из которых 21 возник в результате утраты liaison.

Посмотрим, как объясняют лингвисты причины сокращения количества liaisons. Граммон объясняет это тем, что при замене консонантного связывания вокалическим переход от одного гласного к другому сопро-

---

[15] Для анализа были взяты транскрипции в работах Е. Кошвица и Т. Россе (E. K o s c h w i t z, Les parlers parisiens Anthologie phonétique, Paris, 1893; T. R o s s e t, Les exercices pratiques d'articulation et de diction, Grenoble, 1912).

[16] M. G r a m m o n t, Traité pratique de prononciation française, Paris, 1925, стр. 130.

[17] M. G r a m m o n t, указ. соч., стр. 138.

[18] См. там же, стр. 136.

[19] Термин явно неудачен, так как ставит в один ряд два совершенно различных способа фонетического связывания слов: при liaison конечный согласный первого слова переходит в начальный слог второго (*des doigts engourdis* [de-dwɑzã-gur-di]), в то время как при liaison vocalique слоговая граница проходит между словами ([de-dwɑ-ã-gur-di]). Для обозначения вокалического связывания слов иногда употребляют термин зияние (hiatus), что тоже нельзя признать удачным, так как он неоднозначен: общеупотребительный смысл этого термина — стык гласных (без учета явления связывания слов).

вождается приятными для слуха модуляциями тембра и высоты этих гласных. Это и ведет, по его мнению, к отмиранию liaison [20].

С таким объяснением трудно согласиться, так как законы развития произносительной системы языка едва ли могут зависеть от того, насколько приятно для слуха то или иное произношение, тем более что эстетическая оценка последнего — дело чисто субъективное. Так, другой французский лингвист, Ф. Мартинон, высказывает прямо противоположное суждение. Он считает, что явление liaison объясняется как раз тем, что произношение с согласным более «гармонично» и препятствует возникновению зияния [21].

Очевидно, нельзя объяснить этот процесс чисто фонетическими причинами. Необходимо учитывать и его фонологическую значимость, т. е. ту роль, которую играет процесс сокращения употребления liaison при выполнении языком его коммуникативной функции. С этой точки зрения нам представляется более убедительным объяснение, которое дает А. Лянгляр. Он считает, что сокращение liaison связано со стремлением сохранить единую, наиболее употребительную форму слова [22]. Того же мнения придерживается и Л. Кледа [23]. Доводы Лянгляра и Кледа более убедительны, так как они основаны на одной из тенденций развития французского языка [24].

Наиболее важным, однако, мы считаем то обстоятельство, что сокращение liaison приводит к более четкому выявлению границы между словами. Особенно рельефно обозначается эта граница при вокалическом стыке слов, где, несмотря на возможность фонетического связывания, сочетание «гласный + гласный» может рассматриваться с фонологической точки зрения как пограничный сигнал.

---

[20] M. Grammont, указ. соч., стр. 136.

[21] Ph. Martinon, Comment on prononce le français, Paris, 1913, стр. 359.

[22] H. Langlard, La liaison dans le français, Paris, 1928, стр. 3.

[23] L. Clédat, Manuel de phonétique et de morphologie historique du français, Paris, 1917, стр. 140.

[24] Мы имеем в виду постепенное сокращение числа вариантов произнесения слова в зависимости от различных условий потока речи. Следы этого многообразия произносительных форм сохранились в современном языке в произношении некоторых числительных.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

М. Я. БЛОХ

К ПОНЯТИЮ РАМОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(На материале немецкого и английского языков)

Синтаксическое понятие рамочной конструкции предложения было выработано на материале немецкого языка. Именно применительно к немецкому языку было выдвинуто положение о сказуемном и подлежащно-сказуемном разъединении как об одном из средств оформления повествовательного предложения [1]. Но общее понятие рамочной конструкции включает не только модель порядка слов, формирующую предложение в целом. Фактически под единое грамматическое определение рамочной конструкции подводятся любые случаи разъединения тесно связанных между собой лексико-грамматических элементов (слов или частей слов; ср. немецкие глаголы с отделяемыми приставками) с синтаксическим заданием формирования более широкого речевого комплекса безотносительно к тому, является ли этот комплекс целым предложением или же отдельным словосочетанием внутри предложения. Такая единая трактовка оформления предложения и словосочетания является в известной мере традиционной. Еще германисты конца XIX — начала XX в., рассматривавшие рамочную структуру древнегерманского предложения в плане так называемого «синтетического» порядка слов (определяющее предшествует определяемому), проводили прямую параллель между разъединением подлежащего и сказуемого в предложении и разъединением существительного и его местоименного определителя в субстантивном сочетании [2].

Действительно, по своему строению замыкания в словосочетаниях и рамочный порядок слов в целом предложении близки друг к другу, поскольку в основе их строения лежит расщепление некоторого языкового единства. Однако при сравнении этих разъединений выявляются и их существенные различия. Различны сами по себе разъединяющиеся языковые элементы, различны также и речевые построения, с которыми явление разъединения связано функционально. Так, разъединение подлежащего и сказуемого в немецком языке оформляет придаточное предложение: «Er hörte verwundert der kleinen Mellner zu, die tags darauf ihrer Mutter mit glänzenden Augen den Ausflug beschrieb» (A. Seghers, Der Mann und sein Name) «Он удивленно слушал маленькую Мелльнер, которая на следующий день с горящими глазами описывала своей матери этот выход». Разъединение сказуемого, состоящего из двух компонентов (глагол в сложной форме или глагол-связка с предикативом), в немецком языке строит рамочную конструкцию независимого предложения (самостоятельного или главной части сложного), а в английском языке —

[1] Известно, что основной теоретический вклад в изучение рамочной конструкции предложения был сделан советскими германистами. См. по этому вопросу: В. Г. Адмони, К проблеме порядка слов, ИАН ОЛЯ, 1949, 4; его же, Проблема «замыкания» в немецком литературном языке, «Ин. яз. в шк.», 1949, 2, а также кандидатские диссертации Ю. П. Нероновой, Н. И. Рыбаковой, А. И. Домашнева, Л. В. Драгомирецкой и др.

[2] См., например: G. McKnight, Primitive teutonic order of words, «Journ-of Germanic philology», I, Boston — New York — Chicago, 1897; J. Ries, Die Wort. stellung im Beowulf, Halle, 1907.

замыкание в *глагольном словосочетании*; ср.: нем. «Am Nachmittag wurde bei uns zu Hause ein Zettel von Bobbis Mutter für mich abgegeben» (B. Uhse, Wir Söhne) «После обеда к нам домой принесли для меня записку от матери Бобби»; англ. «We have always been most anxious to know by what process novels are written» (S. Leacock, Ideal Interviews) «Мы всегда очень хотели узнать, каким способом сочиняют романы». Разъединение существительного и его местоименного определителя оформляет субстантивное словосочетание; ср.: нем. *eine sonderbare Geschichte*; англ. *a wonderful story* «удивительная история». Закономерно поставить вопрос: каково же действительное соотношение этих различных разъединений в языковой системе?

До сих пор при сопоставлении данных разъединений на первый план выступало их сходство. Однако углубленная разработка за последние годы теории словосочетания и его отношения к предложению позволяет, как нам кажется, более строго отграничить разъединение, оформляющее предложение, от разъединения, оформляющего словосочетание, и соответственно уточнить место рамочной конструкции предложения среди других грамматических средств языка.

В этой связи особую важность для выявления сущности рамочной конструкции предложения и ее отношения к замыканию в словосочетании имеет защищаемое в советском языкознании положение о несоотносительности предикативного соединения подлежащего и сказуемого с категорией словосочетания [3]. Это положение следует из самого определения словосочетаний как сложных названий явлений действительности. Поскольку словосочетания являются названиями, им органически чужда категория предикативности, устанавливаемая в предложении и выявляющая предложение как основную единицу речи.

Надо сказать, что лингвисты, выделяющие в числе словосочетаний также и предикативные соединения подлежащего и сказуемого, все-таки проводят четкое различие между этими соединениями и словосочетаниями — номинативными единицами. Так, В. П. Сухотин, хотя и относит предикативное соединение подлежащего со сказуемым к словосочетаниям, определяет это «предикативное словосочетание» как «структурную основу» или «костяк» предложения в отличие от непредикативных сочетаний, представляющих собою «расчлененные или сложные названия явлений» [4].

Правда, предложение в речи может строиться и одним словосочетанием, а также и отдельным, изолированным словом. На первый взгляд может показаться, что это противоречит положению о соединении подлежащего и сказуемого как структурной основе предложения. Однако кажущееся противоречие разрешается, если учесть, что предложение имеет свою грамматическую форму, которая выявляется отнюдь не только в формах слов. Грамматическая форма предложения складывается, с одной стороны, из предикативно-морфологических форм связи подлежащего и сказуемого, а с другой стороны, из интонации и порядка слов [5]. Следовательно, слова и словосочетания, самостоятельно строящие предложения, выступают в подобных предложениях не сами по себе, а как бы преломившись в форме предложения. В этом плане рамочная конструкция предложения, поскольку она вычленяется в языке как грамматическая норма, оказывается составной частью грамматической формы предложения. Само ее строение непосредственно связано с подлежащно-сказуемной основой предложения, выявляясь в виде разъединения либо всей основы, т. е.

[3] См.: В. В. Виноградов, Вопросы изучения словосочетаний (На материале русского языка), ВЯ, 1954, 3; его же, Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике русского языка» Академии наук СССР, ИАН ОЛЯ, 1954, 6.

[4] В. П. Сухотин, Проблема словосочетания в современном русском языке, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 177.

[5] См. «Грамматика русского языка», II, ч. 2, М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 37—41, 76—78.

подлежащего и сказуемого, либо главной предикативной части основы — глагола-сказуемого. При этом, оформляя предложение как предикативную единицу, рамочная конструкция может дифференцировать своими моделями сочинение и подчинение, как в современном немецком языке.

Форма словосочетания, как и форма предложения, тоже складывается существенно из трех компонентов: форм словоизменения, особой модели интонации [6] и особой модели порядка слов. Но ведущая функция данных грамматических средств является здесь иной: это собственно выражение связи или спайки слов. В этом плане как важный показатель словосочетания выделяется контакт слов, который как бы дополняет, укрепляет формы слов, выражающие связь. Подобную же роль, очевидно, выполняет в словосочетании и замыкание, а его особенное, по сравнению с русским языком, развитие в именных сочетаниях английского и немецкого языков обусловлено необходимостью уточнения смысловых отношений слов при бедной флективной системе [7]. Таким образом, разъединение существительного и его местоименного определителя или артикля в субстантивном словосочетании строит замыкание в узком смысле этого термина, т. е. замыкание как элемент формы словосочетания.

Сложнее решается вопрос об отношении глагольно-сказуемного разъединения к рамочной конструкции предложения и замыканию. Пока и поскольку разъединение частей сказуемого ограничено словосочетанием и не обнаруживает связи со структурой предложения в целом, постольку оно тоже строит замыкание в узком смысле этого термина; ср. англ. *I have never doubted it* «Я никогда не сомневался в этом» (словосочетание *to have never doubted*)[8]. Но сказуемое, являясь основным центром предикации в предложении глагольного типа, по своему положению тесно связано со всеми без исключения членами предложения, со всем составом предложения от начала до конца. Поэтому в языке могут появиться такие условия, когда глагольное разъединение, формирующее словосочетание (замыкание), смыкается с рамочной конструкцией предложения, если такая конструкция вычленяется в языке как синтаксическое средство. Эта двойственная природа глагольно-сказуемного разъединения четко обнаруживается в истории западногерманских языков.

В древневерхненемецком и саксонском языках глагольно-сказуемное разъединение могло охватывать как единичный второстепенный член предложения, так и весь состав предложения, включая подлежащее; ср.: «Ih scal imu uuesan in fater stedi» (Isidor, IX, 2)[9] «Я ему буду отцом»; «Uuard thô gitân in then tagun...» (Tatian, V, 11) «Случилось тогда в те дни...»; «So wârun se unzan élti thaz lib léitendi» (Otfrids Evangelienbuch, I, 4) «Так жили они до старости»; «Uuarð ald gumo sprâca bilôsit» (Heliand III) «Был старый человек (дара) речи лишен». В приведенных примерах глагольно-сказуемные разъединения с охватом единичных членов (два первых примера), очевидно, оформляют соответствующие словосочетания. С другой стороны, для общего строя древневерхненемецкого и особенно саксонского повествовательного предложения было характерно образование синтаксических рамок, хотя эти рамки далеко еще не стали

[6] Грамматическая роль интонации в образовании словосочетания, как известно, является почти совсем не исследованной (см. В. В. Виноградов, Основные принципы..., стр. 499).

[7] См.: И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М., 1945, стр. 50—64; В. Г. Адмони, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955, стр. 259—263.

[8] См. Н. Ф. Иртеньева, Грамматика современного английского языка. Теоретический курс, М., 1956, стр. 142.

[9] Древневерхненемецкие и саксонские примеры цитируем по изданиям: «Der althochdeutsche Isidor», hrsg. von G. A. Hench, Strassburg, 1893; «Tatian. Lateinisch und altdeutsch», hrsg. von E. Sievers, 2-te Aufl., Paderborn, 1892; «Otfrids Evangelienbuch», hrsg. von O. Erdmann, Halle, 1882; «Heliand und Genesis», hrsg. von O. Behaghel, 6-te Aufl., Halle/Saale, 1948.

такой регулярной нормой, как в последующие периоды истории языка [10].

Для независимых и придаточных предложений выделялись свои специфические модели рамочных конструкций. Разъединение двухкомпонентного сказуемого с охватом подлежащего обычно характеризовало независимое предложение (см. два последних примера). Разъединение с подлежащим глагола-сказуемого в простой спрягаемой форме образовывало полную или неполную рамку придаточного, а иногда и независимого предложения: «Endi mina miltnissa ni nimu ih ab imu, so ih fona dhemu nam, dher ær fora dhir uuas» (Isidor, IX, 2) «И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был до тебя»; «Zi dhemu dhuo fater in psalmom umbi dhea sine euuigun chiburt quhad...» (Isidor, V, 3) «Ему тогда отец в псалмах о его вечном возрождении сказал...»; «Thea uuardos hôrdun, huô thiu engilo craft alomahtigna god suîðo uuerðlîco uuordun loƀodun» (*Heliand*, V) «Сторожа слыхали, как множество ангелов всемогущего Господа с благоговением прославляли». В придаточном предложении двухкомпонентное сказуемое обнаруживало определенную тенденцию располагаться в виде контактной инверсионной группы с глаголом в спрягаемой форме в исходе («переплет» частей сказуемого): «... Uuanta thaz in iru giboran ist, thaz ist fon themo heilagen geiste» (Tatian, V, 8) «... Ибо то, что в ней рождено, то есть от святого духа».

Поскольку, таким образом, общий строй предложения в древневерхненемецком и саксонском языках характеризовался развивающейся рамочной конструкцией, постольку глагольное замыкание включалось здесь в систему рамок предложений, выполняя своеобразную двойную функцию.

В дальнейшей истории немецкого языка глагольно-сказуемное разъединение окончательно оторвалось от замыканий, полностью перейдя в систему «чистых» рамочных конструкций предложения. Это ясно видно на простейшем примере глагольно-сказуемной рамки: «Klaus seufzte tief auf» (G. Weisenborn, Auf Sand gebaut) «Клаус глубоко вздохнул». На первый взгляд может показаться, что разъединение приставочного глагола-сказуемого в данном примере оформляет словосочетание *tief aufseufzen*. Однако стоит изменить синтаксические условия, в которых находится данное словосочетание, как глагольное разъединение *seufzte... auf* тотчас обнаружит свою природу синтаксического средства, связанного со строем предложения в целом и лишь в силу случайных обстоятельств оказавшегося внешне схожим с замыканием словосочетания; ср.: *Dann seufzte Klaus tief auf* «Тогда Клаус глубоко вздохнул», ... *als Klaus tief aufseufzte* «когда Клаус глубоко вздохнул».

Как показывают исторические факты, процесс втягивания глагольного замыкания в систему рамочных конструкций предложения происходил и в истории английского языка. В древнеанглийском языке, как и в древневерхненемецком и саксонском, компоненты сказуемого при разъединении могли охватывать как единичные второстепенные члены предложения, так и все предложение в целом; ср.: «Ic wolde betwenan leornian sprecan on leden gereorde» (Aelfric's Colloquy) [11] «*Я хотел бы между тем* научиться говорить на латинском языке»; «Hie ne dorston forþ bi þære ea siglan for unfriþe» (King Alfred's Orosius, I) I, «Они не решились плыть дальше мимо реки из-за вражды»; «Ne magon we buton þæm medmyclum synnum beon» (Blickling Homilies, III) «Не можем мы пребывать без грехов простительных». При этом для общего строя древнеанглийского

[10] См: H. Reis, Über althochdeutsche Wortfolge, ZfdPh, 33, Halle, 1901; J. Ries, Die Stellung von Subject und Prädikatsverbum im Heliand, Strassburg, 1880.

[11] Древнеанглийские примеры цитируем по изданиям: «Aelfric's Colloquy», ed. by G. N. Garmonsway, London, 1939; «King Alfred's Orosius», ed. by H. Sweet, London, 1883; «The Blickling Homilies of the tenth century», ed. by R. Morris, London, 1880.

предложения было характерно образование синтаксических рамок разных видов [12]; ср.: «þa he æst þider mid firde farende wæs, þa gewicade he neah anre ie...» (King Alfred's Orosius, IV, VI) «Когда он туда первый раз с армией шел, тогда расположился он около реки...»; «Ond gif we þa dagas fulfremedlice for gode lifgeaþ, þonne hæbbe we ure daga þone teoþan dæl for gode gedón» (Blickling Homilies, III) «И если мы в продолжение тех дней праведно перед богом живем, то десятую часть наших дней мы отдаем богу». Сопоставление глагольных разъединений друг с другом и с подлежащно-сказуемными разъединениями показывает, что с точки зрения языковых связей замыкание в древнеанглийском глагольном словосочетании смыкалось с рамочными конструкциями предложения, оказывалось одним из элементов системы рамочных конструкций предложения. Однако в дальнейшем ходе истории английского языка рамочная конструкция предложения была вытеснена из системы языка [13]. Поэтому и глагольно-сказуемное разъединение, которое сохранилось главным образом лишь в сочетаниях с некоторыми наречными выражениями, утратило связь с оформлением предложения в целом. Из системы рамочных конструкций предложения оно перешло в систему «чистых» замыканий.

Подведем итоги.

1. Сравнение синтаксических разъединений, оформляющих предложение, с синтаксическими разъединениями, оформляющими словосочетание, в свете теории словосочетаний как сложных номинативных единиц показывает, что между этими грамматическими средствами должно быть проведено строгое разграничение. Хотя замыкание (как и рамочная конструкция предложения) осуществляется посредством расщепления семантически и грамматически спаянных языковых элементов, оно является компонентом формы словосочетания. По своей функции оно близко к контакту слов. Рамочная конструкция предложения — это особая форма построения предложения, выявляющаяся в синтаксическом разъединении подлежащно-сказуемной основы предложения (всей основы или ее глагольно-сказуемной части). В функции рамочной конструкции предложения входит, во-первых, вычленение предложения как цельной единицы в потоке речи и, во-вторых, дифференциация внутри сложного предложения между главными и придаточными частями.

2. В особом отношении к рамочной конструкции предложения стоит разъединение в глагольном словосочетании. Поскольку глагол-сказуемое является главной лексико-грамматической предикативной единицей предложения и тесно связан со всеми членами предложения, в языке могут возникнуть условия, при которых разъединение в глагольном словосочетании (замыкание) включается в формирование тех или иных конкретных типов рамочной конструкции предложения.

3. Процесс втягивания глагольно-сказуемного замыкания в формирование рамочной конструкции предложения прослеживается, в частности, в древней истории немецкого языка. Глагольно-сказуемное разъединение здесь как бы движется от оформления словосочетаний к оформлению предложения, т. е. от замыкания к рамочной конструкции предложения. В дальнейшей истории немецкого языка глагольно-сказуемное разъединение совсем оторвалось от замыканий, полностью перейдя в систему рамочных конструкций предложения.

4. В ходе развития языка может произойти и обратный процесс: при отмирании системы рамочных конструкций предложения глагольно-сказуемное разъединение теряет связь с построением предложения в целом, переходя в систему чистых замыканий. Такой процесс произошел в истории английского языка.

---

[12] См. R. H u c h o n, Histoire de la langue anglaise, I, Paris, 1923, стр. 253—270.

[13] См. L. K e l l n e r, Historical outlines of English syntax, London—New York, 1892, стр. 290—291.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

М. Д. БОГОЛЮБОВ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ РАМОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

В современной германистике по вопросу о рамочной конструкции существуют две различные концепции. Сторонники первой считают, что «рамка» была целиком заимствована из латинского языка [1]. Формированию «латинской концепции» в большой мере способствовала выдвинутая еще в 1894 г. В. Брауне теория свободного порядка слов в древневерхненемецком языке [2]. Начиная с 90-х годов прошлого столетия против «латинской концепции» выдвигается ряд возражений [3]. Особого внимания заслуживает мысль О. Эрдмана [4] о том, что принципы современного порядка слов обнаруживаются уже в древневерхненемецком. Фр. Маурер стремится доказать на материале памятников XIV—XVI вв., что место расположения сказуемого и, в частности, «рамочная конструкция» не может рассматриваться только как механическое перенесение латинской грамматики на почву немецкого языка [5]. В последние годы в зарубежной германистике наблюдается стремление объяснить местоположение сказуемого с «психологической» точки зрения, как «одну из основных особенностей немецкого образа мышления»[6].

Из работ советских филологов, выступающих против «латинской концепции», следует отметить статьи В. Ю. Цареградской [7], выводы которой подтверждают мысль О. Эрдмана. Наиболее объективно вопрос о латинском влиянии трактуется М. М. Гухман [8], считающей, что оно является лишь фактором, ускорившим процесс, в результате которого рамка стала нормой немецкого литературного языка и заняла господствующие позиции в разговорной речи и произведениях, написанных на диалектах.

Согласно второй концепции, рамочное строение предложения рассматривается как характерная закономерность немецкого языка, корни которой уходят в далекое историческое прошлое [9]. Сторонники этого взгляда, однако, не принимают во внимание того, что рамка прослежи-

---

[1] Ср.: O. Behaghel, Deutsche Syntax, IV, Heidelb rg, 1932, стр. 3 и сл.; Э. Г. Ризель, Новое в синтаксисе немецкого литературного языка, «Ин. яз. в шк.», 1948, 1.

[2] W. Braune, Zur Lehre von der deutschen Wortstellung, «Forschungen zur deutschen Philologie. Festgabe für Rudolf Hildebrand», Leipzig, 1894.

[3] H. Reis, Über althochdeutsche Wortfolge, ZfdPh, XXXIII, 2—3, 1901.

[4] O. Erdmann, Grundzüge der deutschen Syntax nach ihrer geschichtlichen Entwicklung, I, Stuttgart, 1886, стр. 192.

[5] Fr. Maurer, Untersuchungen über die deutsche Verbstellung, Heidelberg, 1926.

[6] См.: E. Drach, Grundgedanken der deutschen Satzlehre, 3-e Aufl., Frankfurt-am-Main, 1937; K. Boost, Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes. Der Satz als Spannungsfeld, 3-e unveränd. Nachdruck, Berlin, 1957.

[7] В. Ю. Цареградская, О некоторых устойчивых элементах в синтаксической структуре немецкого предложения (на материале древневерхненемецких памятников), «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», V, 1953; ее же, К вопросу о порядке слов в немецком языке, «Уч. зап. Горьковск. гос. пед. ин-та ин. яз.», 1, 1955.

[8] См. примечания М. М. Гухман в кн.: Бах, История немецкого языка, М., 516, стр. 335, 338.

[9] См.: В. М. Жирмунский, К вопросу о внутренних законах развития немецкого языка, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», V, 1953; В. Г. Адмони, О закономерности развития синтаксического строя, там же.

вается во всех западногерманских языках на определенных этапах их развития. Написанные за последние годы диссертации по рамочной структуре предложения отвергают заимствование рамки из латинского языка, но не приводят каких-либо существенных объяснений ее возникновения на сугубо немецкой почве [10].

Движение и развитие языка не представляется нам простой механической сменой одной формы другой. Здесь имеет место более сложный процесс, представляющий собой переплетение многих тенденций, действующих в различных направлениях. Старые и вновь возникшие формы длительное время существуют параллельно. Это не простое «сосуществование», а постоянно наблюдаемое на материале истории языка соревнование, в результате которого одна форма стремится вытеснить другую. Иногда возникают компромиссные формы, совмещающие в себе некоторую часть нового явления, сохраняя в то же время значительные элементы старого; *такой формой и явилась, на наш взгляд, рамочная конструкция.*

Непосредственным стимулом к возникновению глагольно-сказуемной рамки послужило совпадающее с семантической и фонетической редукцией флексии перемещение verbum finitum с последнего места на второе, особенно отчетливо прослеживаемое в самостоятельном предложении. В результате этого перемещения возможность «обрамления» предложения при помощи его главных членов — подлежащего и сказуемого, по типу, встречавшемуся в древнейших памятниках (ср. «ðagar þar runo faihiðo» [11] «Дагар тут руну начертал»), уже не могла быть реализована.

В связи с тем, что в древних западногерманских языках «рамкообразующие» тенденции были, видимо, достаточно сильны, в них возникает стремление найти некоторое новое решение, отражающее, с одной стороны, процесс перемещения verbum finitum и в то же время являющееся средством структурного оформления предложения. Таким решением смогла стать глагольно-сказуемная рамка. Компромисс в новом типе рамки состоял в том, что, отдавая определенную дань общей тенденции к перемещению verbum finitum на второе место, сказуемое «расщепилось», в результате чего личная форма глагола стремилась занять второе место, а именная форма, будучи выразителем конкретного действия, имела тенденцию сохранить за собой привычное последнее место в предложении. Процесс перемещения verbum finitum совпадает по времени с быстрым развитием аналитических глагольных форм, что существенно усилило возможность дистантного расположения элементов сказуемого.

Образование рамки находит свое объяснение, при рассмотрении с точки зрения «психологической школы», в том, что в результате перемещения verbum finitum самостоятельного предложения на второе место разрушился выработавшийся в течение веков психологический штамп, нашедший свое выражение в форме построения предложения с показателем действия на конце [12]. В силу многовековой привычки видеть наименование действия на последнем месте в предложении, в аналитическом сказуемом происходит своего рода «расщепление», в результате которого один элемент его, будучи носителем глагольных категорий, под действием тенденции к перемещению verbum finitum стремится занять второе место, дру-

[10] Ср.: Н. И. Рыбакова, Некоторые черты синтаксиса немецкого языка XIII—XIV вв. на материале ранних грамот (закрепление местоположения сказуемого). Канд. диссерт., Калинин, 1953; Л. В. Драгомирецкая, Рамочная конструкция предложения в немецком языке (по материалам листовок XVI в. и прозаических произведений современного языка). Канд. диссерт., М., 1955; А. И. Домашнев, Синтаксические наблюдения над городской (деловой) прозой Германии XIII—XV вв. (местоположение главных членов самостоятельного повествовательного предложения). Канд. диссерт., М., 1954.

[11] См. A. Noreen, Altnordische Grammatik, I — Altisländische und Altnorwegische Grammatik, 4-te Aufl., Halle/Saale, 1923, стр. 378.

[12] См. С. И. Бернштейн, Основные вопросы синтаксиса в освещении Шахматова, ИОРЯС, XXV (1920), 1922.

	Наименование памятников, их диалект и датировка	Verbum finit. с модальным значением + Infinit.			*Werden* + + Part. Präterit.			*Sin (wesan)* + Part. Präterit.			*Haben (eigan)* + Part. Präterit.			Всего		
		к.р.*	н.р.**	п.р.***	к.р.	н.р.	п.р.	к.р.	н.р.	п.р.	к.р.	н.р.	п.р.	к.р.	н.р.	п.р.
Н. - немецкий	н.-франк. Psalmen (IX в.)	30			10			12		1				52		1
Ср. - немецкий	ср. - франк. Trierer Capit. (IX в.)				1									1		
	ср. - франк. Ludwigslied (IX в.)	1	2	2	1			6					1	8	2	3
	Всего	1	2	2	2			6					1	9	2	3
В. - немецкий	вост. - франк. Tatian (IX в.)	6	2	2	7	3		13	4					26	9	2
	вост. - франк. Will. Hohenlied (XI в.)	2		5	1		2	3	5	6	2	3	3	8	8	16
	юж. - франк. Otfrid (IX в.)	7	6	9	1	1	2	4	1	4	1		2	13	8	17
	алеман. Weis. Catech. (IX в.)	1	1				1	1		2				2	1	3
	алеман. Notker, Boeth. (X в.)		1	4		1		2	1			1	2	2	4	6
	алеман. Alt. Physiologus (XI в.)		2	6		1	2	1						1	3	8
	Всего	16	12	26	9	6	7	24	11	12	3	4	7	52	33	52
Др.-сакс.	Heliand (1994—2277) (IX в.)		10	19		4	1	2	2	3		3	1	2	19	24
Др. - английский	Alfreds Orosius (IX в.)	6	2	2					3	3		3		6	8	5
	Aelfric (X в.)	1		5	2		1	4	1	9				7	1	15
	Wulfstan (XI в.)	1	3	4	1			3	1	4			2	5	4	10
	Всего	8	15	30	3	4	2	9	7	19		6	3	20	32	54
Др. - сакс. (бавар. список)	Muspilli (IX в.)	4	1	12		1	1	1					1	5	2	14
	Итого по всем отрывкам	59	30	70	24	11	10	52	18	32	3	10	12	138	69	124

* к.р.— контактное расположение, ** н.р.— неполная рамка, *** п.р.— полная рамка.

гая же часть сказуемого, выражающая конкретное действие, в силу старой привычки обнаруживает стремление остаться на последнем месте.

Анализируя наиболее древние дошедшие до нас западногерманские памятники, мы видим, что в них часто встречаются предложения, где элементы двусоставного сказуемого расположены непосредственно друг за другом: «... unde geverthe ungenethero furuuerthan sal» (Psalmen, I, 6) [13] «... а путь нечестивых погибнуть должен». Поэтому тенденция к расщеплению двусоставного сказуемого встречает противодействие со стороны старой формы с контактным расположением обоих его элементов. Борьбой противоположных тенденций можно объяснить все многообразие и нестроту в области порядка слов в древних западногерманских языках. Однако при всем многообразии форм, но уже при явном стремлении ставить verbum finitum в самостоятельном предложении на 2-е место [14] (к концу IX в. лишь около 15% отступлений) можно выделить три типа расположения элементов двусоставного сказуемого: 1) контактное расположение, 2) неполная рамка, 3) полная рамка.

Анализируя отрывки из древних германских памятников, мы получаем следующие соотношения частотности (см. табл. на стр. 79).

Приведенная таблица дает нам основание утверждать, что в памятниках IX—XI вв. в древних западногерманских языках преобладают две тенденции: первая к помещению элементов двусоставного сказуемого на крайние позиции и вторая—к их контактному расположению. Нижне- и среднефранкские памятники обнаруживают значительную сопротивляемость внедрению рамки. Наиболее полно «рамкообразующие» тенденции проявляют себя в древнеанглийском и древнесаксонском. Объяснено это может быть тем, что в этих языках более сильно выражена редукция флексии, а развитие аналитических глагольных форм происходит значительно интенсивнее.

Рамка зависимого предложения также ведет свое начало от возможности замыкания всего состава предложения между двумя его главными членами — подлежащим и сказуемым, что встречается уже в древних рунических надписях (см. выше). Процесс выделения зависимого предложения из речевого комплекса в западногерманских языках совпадает с перемещением личной формы глагола на второе место. Это явление наблюдается не только в самостоятельном или начинающем выделяться главном предложении, но и в зависимом: «... ih bim Gabriel, the azstantu fora gote...» [Tat., 2,9 (Lk, I, 19)] «Я — Гавриил, который предстоит перед богом». Однако общая тенденция к перемещению verbum finitum встречает в зависимом предложении сильное противодействие со стороны ста-

---

[13] В статье приняты следующие сокращения названий использованных памятников языка: Psalmen, в кн. H e y n e, Kleinere altniederdeutsche Denkmäler, Paderborn, 1867, стр. 2—5, 37—40; Trierer Capitular, в кн. F. T s c h i r c h, Frühmittelalterliches Deutsch, Halle/Saale, 1955, стр. 7; Ludwigslied, в кн. «Denkmäler deutscher Poesie und Prosa», hrsg. von Müllenhoff und Scherer, Berlin, 1864, стр. 15—17; Weissenburger Catechismus, там же, стр. 157—161; Otfrid (1. Ludouuico orientalium; 2. Cur scriptor; 3. Fuit in diebus Herodis), в кн. F. T s c h i r c h, указ. соч., стр. 50—54; 55—57; Tatian, в кн. «Tatian, lateinisch und altdeutsch», hrsg. von E. Sievers, Paderborn, 1872, стр. 67—81, 122—125; Notker, Boethius, в кн. «Die Schriften Notkers und seiner Schule», hrsg. von Pieper, I, Freiburg — Tübingen, 1882, стр. 5—14; Williram, Hohenlied, в кн. «Willirams deutsche Paraphrase des Hohen Liedes mit Einführung und Glossar», hrsg. von Seemüller, Strassburg, 1878 (только перевод библейского текста); Ältere Physiologus, в кн. «Denkmäler deutscher Poesie und Prosa», стр. 199—203; Otlochs Gebet, там же, стр. 203—205; Sächsische Beichte, там же, стр. 182—183; Muspilli, там же, стр. 4—6; Alfreds Orosius, в кн. F. K l u g e, Angelsächsisches Lesebuch, 4-te Aufl., Halle/Saale, 1915, стр. 32—36; Aelfric — «Aus Aelfric's Homilen. Papst Gregorius und die Christianisierung Englands», там же, стр. 77—82; Wulfstans Homilien, там же, стр. 82—92; Heliand (1994—2277), в кн. «Heliand und Genesis», hrsg. von O. Behaghel, 6-te Aufl., Halle/Saale, 1948.

[14] Ср.: C. B i e n e r, Wie ist die neuhochdeutsche Regel über die Stellung des Verbums entstanden? «Zeitschr. für deutsches Altertum», 59, 1922; A. T o d t, Die Wortstellung im Beowulf, «Anglia», 16, 1894.

Наименование памятников, их диалект и датировка			Последнее место сказуемого	Неполная рамка + «Nachtrag»	Второе место сказуемого	Рамка главного в зависимом предложении
Н.-немецкий		н.-франк. Psalmen (IX в.)	16	11	23	
Ср.-немецкий	ср.-франк.	Trierer Capit. (IX в.)	16	2	2	
		Ludwigslied (IX в.)	11	3	2	1
		Всего	27	5	4	1
В.-немецкий	восточ.-франк.	Tatian (IX в.)	35	28	32	2
		Will. Hohenlied (XI в.)	61	17	13	4
	Юж.-франк. Otfrid (IXв.)		78	9	29	5
	алеман.	Weis. Catech. (IX в.)	9	4	4	1
		Notker Boeth. (X в.)	46	13	10	1
		Ält. Physiologus (XI в.)	59	26	13	
	бавар. Otlochs Gebet (XI в.)		30	23	1	
		Всего	318	120	102	13
Др.-английский		Alfreds Orosius (IX в.)	44	19	25	13
		Aelfric (X в.)	94	8	4	10
		Wulfstan (XI в.)	60	4	16	5
Др.-саксонский		Heliand (IX в.)	49	18	8	5
		Sächsische Beichte (IX в.)	36	1	1	
		Всего	283	50	54	33
Др.-акс. (бавар. список)		**Muspilli (IX в.)**	48	5	2	1
		Итого по всем текстам	692	191	185	48

рой — оформлять предложение по плану «(союз) подлежащее — второстепенные члены — глагол-сказуемое»: «Einan kuning uueiz ih, ... Ther *gerno gode thionot...*» (Ludwigslied, 1) «Одного короля знаю я, ... который охотно богу служит».

В зависимом предложении также наблюдается стремление к раздвоению сказуемого и расположению его элементов на крайних позициях:

«Bouhnitun tho sinemo fater, wenan her wolti inan genemnitan uuesan» [Tat., 4,12(Lk I, 62)] «Спросили знаками тогда отца его, как бы он хотел его назвать». Аналогичные явления можно наблюдать и в древнеанглийском и в древнесаксонском: «He cwæð, þæt he bude on þem lande...» (Aelfreds Orosius, 47) «Он говорит, что он живет на этой земле...»; «þa for he þagut norðrihte, swa he mihte on þaen oþrum þrim dagum geseglian» (Aelfreds Orosius, 57) «Тогда он поехал еще севернее, насколько он смог в течение трех других дней идти под парусами» (см. табл. на стр. 81).

Однако и в этих языках преобладающим является последнее место verbum finitum: «Thes giuhu ik hluttaliko, that ik arma man endi othra elilendia so ne eroda endi so ne minnoda, so ik solda» (Sächsische Beichte, 20) «В том каюсь я открыто, что я бедных людей и других обездоленных так не чтил и так не любил, как я должен». В качестве подтверждения этого мнения приводим таблицу, позволяющую более наглядно проиллюстрировать динамику становления порядка слов в зависимом предложении и тенденции, которые при этом действуют (см. табл. на стр. 81).

Из таблицы явствует, что во всех западногерманских памятниках, за исключением «Нижнефранкских псалмов», тенденция к постановке verbum finitum на последнее место занимает в зависимом предложении доминирующее положение. Наиболее отчетливо это преобладание обнаруживается в древнеанглийских и древнесаксонских памятниках. В этих памятниках мы также обнаруживаем несколько большее, чем в древневерхне- и средненемецком, количество случаев рамочного расположения элементов двусоставного сказуемого. Это еще раз подтверждает наше мнение о том, что в древнеанглийском и в древнесаксонском «рамкообразующие» тенденции оформления предложения проявляются сильнее.

Подчеркивая преобладающее количество постановки verbum finitum в зависимом предложении на последнем месте, мы не можем, как это утверждает Рейс, сказать, что такой тип порядка слов уже стал нормой структурного оформления начинающих развиваться в этот период придаточных предложений. 32% отступлений от этого структурного плана в древнеанглийских и древнесаксонских памятниках, 44% в древневерхненемецких, не говоря уже о «Нижнефранкских псалмах», свидетельствуют о правильности нашего мнения. В то же время мы можем со всей уверенностью подчеркнуть, что преобладающее количество зависимых предложений с verbum finitum на конце при наличии стремления противопоставить их самостоятельному предложению явилось одной из главных причин того, что в современном немецком языке структурный принцип оформления придаточного с личной формой глагола на конце и подлежащим, как правило, ближе к началу предложения стал вполне узаконенной нормой.

Таким образом, рамочная структура немецкого предложения имеет глубокие исторические корни. Она ведет свое начало от древней возможности структурного оформления предложения по схеме «подлежащее — второстепенные члены — сказуемое». Противоборство двух тенденций (новой — к перемещению verbum finitum на второе место и старой — к постановке показателя действия в конце предложения) привело к «расщеплению» сказуемого. Качественно новое значение приобрела роль сказуемого в самостоятельном предложении. Двусоставное сказуемое становится «рамкообразующим» членом. Примерно так же сильно и стремление к контактному расположению элементов сказуемого.

Старая форма структурного оформления предложения с verbum finitum на конце, в противовес главному предложению, закрепляет свои позиции в выделяющемся из состава предложения зависимом комплексе. Она начинает приобретать новое качество, становясь характерным признаком зависимого предложения. Тот факт, что и рассмотренные нами структурные тенденции организации предложения широко представлены в древнеанглийском и древнесаксонском, обращает наше внимание на то,

что их нельзя считать сугубо немецкими, как подчеркивают многие германисты, а следовало бы рассматривать как общее западногерманское явление.

В древнеанглийском и древнесаксонском редукция флексии проходила значительно интенсивнее, чем в древневерхненемецком; развитие аналитических глагольных форм в этих языках также протекало быстрее, и, следовательно, в них имелись лучшие условия для проявления «рамкообразующих» тенденций как в самостоятельном, так и в зависимом предложении. Не случайно, что оба эти языка в IX—XI вв. по своей структуре стояли несомненно ближе к современному немецкому языку, чем древневерхненемецкий.

Рамочная конструкция и прежде всего глагольно-сказуемная рамка является достоянием языков с ограниченной флексией[15], достаточной, однако, для того, чтобы с известной ясностью оттенить роль, которую определенное слово играет в предложении; она возникает как раз в тот момент, когда флективные тенденции еще удерживают свои позиции, а аналитические пока еще не в состоянии занять господствующее положение в языке, т. е. именно в начальный момент перехода от флективного строя к аналитическому.

Дальнейшее развитие аналитических тенденций, как это случилось в английском, ведет к потере словом своей грамматической выразительности. Тогда порядок слов вынужден подчеркивать логико-семантическую взаимосвязь между отдельными членами предложения. Без определенной выразительности отдельных слов рамочная конструкция, охватывающая все предложение, вступает в конфликт с логико-семантическим планом содержащегося в предложении высказывания. Дистантное расположение тесно связанных между собой элементов там, где эта связь внешне не подчеркнута грамматическими средствами, только затруднило бы понимание. Поэтому английский язык уже в среднеанглийском периоде начинает отказываться от «обрамления» предложения и отдает предпочтение другому, также свойственному западногерманским языкам контактному расположению элементов сказуемого. Однако это вовсе не означает, что рамка, так широко представленная в немецком, совершенно изжила себя в английском языке. Отказавшись от свойственного ему в древний период структурного оформления самостоятельного и зависимого предложения при помощи рамки, английский язык сохранил, например, рамку группы существительного, где дистантное расположение артикля и существительного подчеркивает монолитность всей синтаксической группы.

---

[15] См. В. Г. Адмони, К проблеме порядка слов, ИАН ОЛЯ, 1949, 4.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

Л. В. БОНДАРКО и Л. Р. ЗИНДЕР

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СИНТАКСИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ В НИВХСКОМ ЯЗЫКЕ

До настоящего времени является спорным вопрос о том, существует ли особый вид связи слов в предложении, который при положительном решении этого вопроса принято именовать инкорпорированием. Как показал диспут об инкорпорировании в палеоазиатских языках, происходивший в 1958 г. в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР, этот вопрос по-разному рассматривается советскими языковедами. Одни считают, что в соответствующих случаях образуются «словокомплексы» (инкорпорация), другие же рассматривают этот вид связи слов как примыкание [1]. Е. А. Крейнович, придерживающийся первой точки зрения, предложил проверить обе гипотезы фонетическими методами [2], что и было осуществлено авторами настоящей статьи в Лаборатории экспериментальной фонетики ЛГУ.

Совершенно очевидно, что сущность той или иной синтаксической конструкции не выражается непосредственно в соответствующем фонетическом оформлении; имея ту или иную фонетическую форму, мы не можем еще заключить о том, какой характер синтаксической связи за ней скрывается. Тем не менее есть достаточно оснований предполагать, что между более свободной и более тесной синтаксическими связями обнаружатся различия и в фонетическом аспекте. Если такие различия систематически встречаются в сравниваемых группах, то они могут быть свидетельством соотвстствующего различия синтаксических отношений. Более того, можно сказать, что в свободных синтаксических соединениях отдельные их компоненты (слова) будут выступать как относительно самостоятельные фонстические единицы, тогда как компоненты более тесных синтаксических сочетаний не будут обладать такой самостоятельностью. В применении к рассматриваемому вопросу это означает, что слова, являющиеся компонентами словокомплексов, должны обнаруживать меньшую самостоятельность, чем слова, входящие в предложения и выступающие как самостоятельные синтаксические единицы [3].

Исходя из этих общих соображений, мы попытались выявить некоторые фонетические характеристики разных типов синтаксических сочетаний. Для этой цели был записан ряд предложений, содержащих бесспорно самостоятельные члены, например: *Ан χад'*? [4] «Кто стрелял?», *Ни χад'* «Я стрелял» и т. п., а также и предложения, содержащие спорные синтаксические конструкции, например объектные: *Иф ан-q'ад'*? «Он в кого стрелял?», *Ни нга- χад'* «Я в зверя стрелял» [5]. При этом под-

[1] См.: Е. А. Крейнович, Об инкорпорировании в нивхском языке, ВЯ, 1958, 6; В. З. Панфилов, К вопросу об инкорпорировании, ВЯ, 1954, 6.

[2] Е. А. Крейнович, указ. соч., стр. 33.

[3] См. об этом R. Austerlitz, Semantic components of pronoun systems Gilyak, «Word», XV, 1, 1959.

[4] В статье используется транскрипция Е. А. Крейновича.

[5] В качестве дикторов были привлечены студенты-нивхи, носители амурского диалекта: Лидия Лок, урожд. Сев.-Зап. Сахалина, из дер. Луполово (дикт. 1), Николай Зескин, урожд. Нижне-Амурского р-на (дикт. 2), Валентина Лынкина, урожд. Тахтинского р-на (дикт. 3), Леонид Тывус, из дер. Куль (дикт. 4), Анатолий Метэк, из дер. Кальмы (дикт.5).

бирались соответствующие пары словосочетаний и предложений, в которых одно и то же слово выступало то как самостоятельный член, то как компонент синтаксической группы: *аҥ χад'*? — *иф аҥ-q'ад'*?; *ни χад'* — *ни ҥа-χад'*.

Весь материал был записан на магнитную ленту (около 30 предложений и словосочетаний от каждого диктора). Затем были получены осциллограммы [6]; некоторые из них приводятся здесь в качестве иллюстраций. Анализ осциллограмм показал, что в предложениях типа *аҥ χад'*?, *ни χад'* оба слова имеют равную интенсивность (о чем можно судить по амплитуде гласных в этих словах — см. рис. 1, 3, 5), а в предложениях типа *иф аҥ-q'ад'*? интенсивность глагольного сказуемого резко уменьшается (см. рис. 2, 4, 6); в предложениях второго типа равной интенсивностью обладают, с одной стороны, подлежащее, с другой — прямое дополнение, которое, по Е. А. Крейновичу, образует с глагольным сказуемым словокомплекс. Эта закономерность проявляется во всех предложениях, проанализированных для данной работы. Следует лишь заметить, что у тех или иных дикторов она выражена в разной степени. Такое различие в распределении интенсивностей в разных типах предложений (без прямого дополнения и с прямым дополнением) может быть истолковано в смысле самостоятельности и несамостоятельности ударных элементов, как об этом говорил Р. Аустерлитц в указанной выше статье.

Другой особенностью сочетаний глагольного сказуемого с дополнением является то, что длительность гласного в глаголе значительно сокращается по сравнению с длительностью этого же гласного в предложениях, не содержащих дополнения. Приведем данные о длительности гласного *а* в сказуемом *χад'q'ад'* [6] в том и другом случае (длительность дана в миллисекундах):

	Зескин	Лок	Лынкина	Метак	Тывус
аҥ χад'?	120	150	120	88	100
иф аҥ-q'ад'?	60	100	100	68	49

Как видно из приведенных данных, длительность гласного в глагольном сказуемом с дополнением сокращается в среднем в полтора раза по сравнению с длительностью того же гласного в сказуемом без дополнения.

Такое сокращение длительности вызвано не тем, что перед гласным в данном случае появляется взрывной согласный вместо щелевого. В других предложениях, где нет такого чередования начальных согласных, имеется аналогичное сокращение длительности гласного в глагольном сказуемом с дополнением. Например, в предложении *ни ҥа-χад'* длительность гласного в сказуемом в среднем в полтора раза меньше, чем в предложении *ни χад'*. Итак, в предложении типа *аҥ χад'*? оба слова сохраняют свою фонетическую самостоятельность; в предложениях типа *иф аҥ-q'ад'*? эти слова как бы сливаются в одно целое.

Что касается именных сочетаний, то здесь картина получается менее отчетливая. Это прежде всего объясняется невозможностью подобрать для анализа такие же пары, как в глагольных сочетаниях. Если речь идет об определительном сочетании, то тут можно записать лишь отдельные компоненты как самостоятельные единицы для сравнения их со словосочетаниями. Например, *тиф* «дорога, след», *к'эq-виф* «лисий след», *выт'виф* «железная дорога». Осциллограммы показывают, что интенсивность гласного в отдельном слове *тиф* заметно бо́льшая, чем в том же слове в сочетаниях *к'эq-виф*, *выт'виф* (см. рис. 7—9). В отличие от глагольных словосочетаний, где наблюдается довольно последовательное сокращение длительности гласного в глаголе, в определительных сочетаниях данные осциллограмм менее последовательны. Наряду с примерами, где

[6] Использовался шлейфный осциллограф МПО-2, скорость движения кинопленки 500 мм/сек и 250 мм/сек.

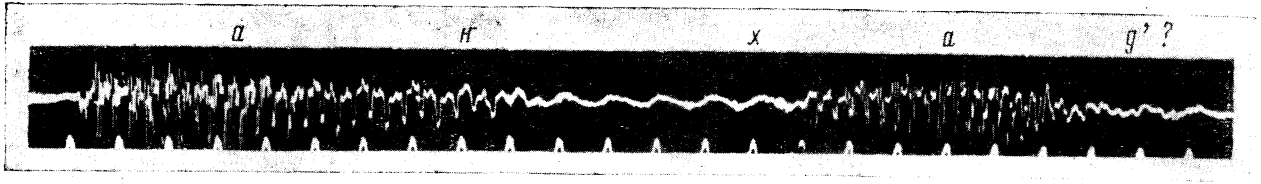


Рис. 1. *Ан χад'?* (дикт. 2)

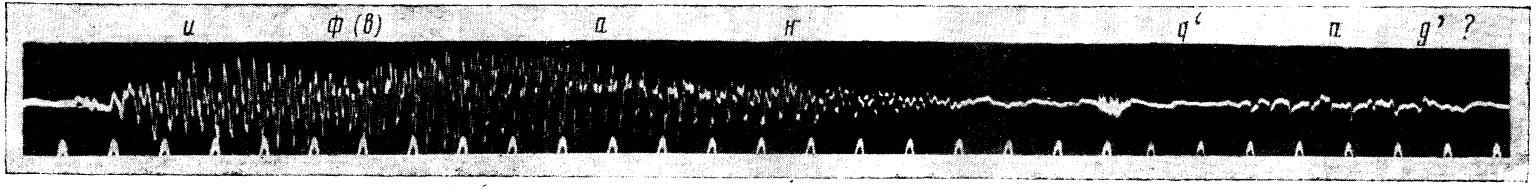


Рис. 2. *Иф ан-q'ад'?* (дикт. 2)

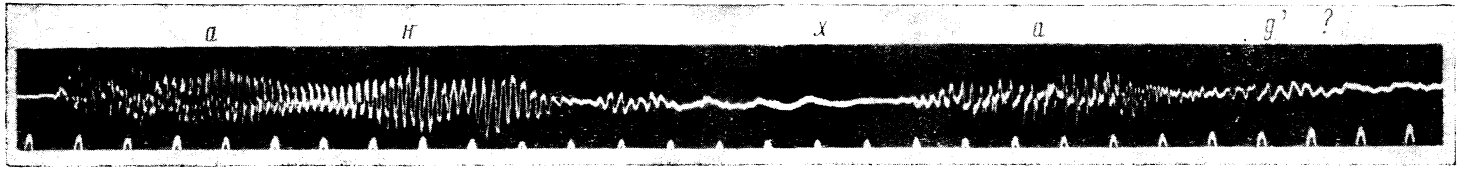


Рис. 3. *Ан χад'?* (дикт. 3)

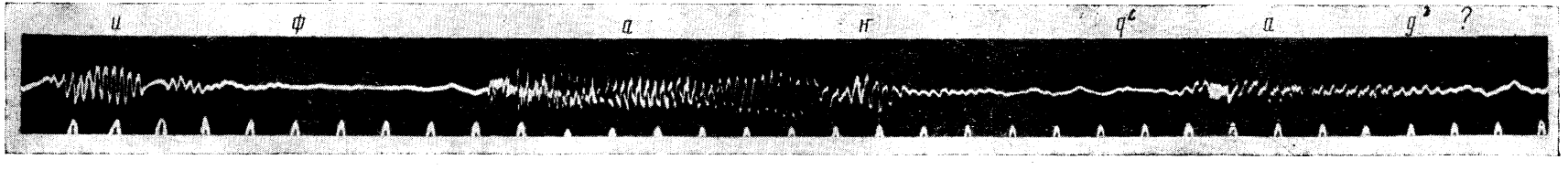


Рис. 4. *Иф ан-q'ад'?* (дикт. 3)

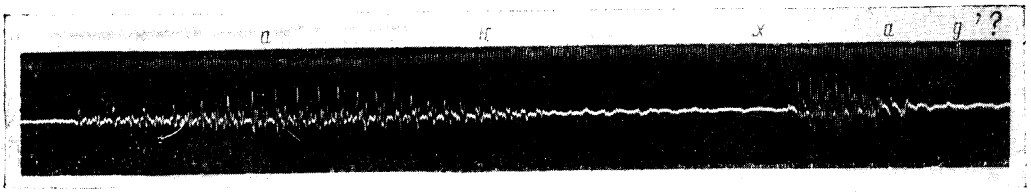


Рис. 5. *Ан χад'?* (дикт. 5)

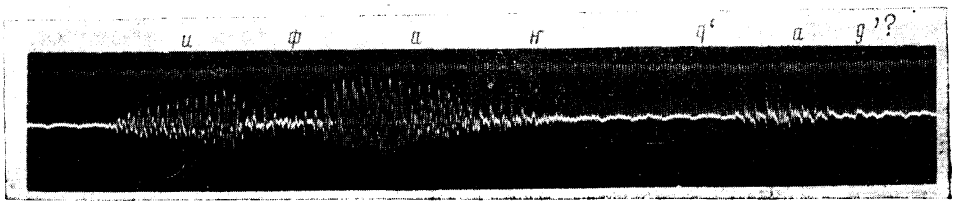


Рис. 6. *Иф ан-q'ад'?* (дикт. 5)

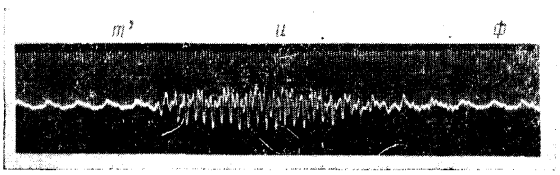


Рис. 7. *Т'иф* „дорога“ (дикт. 4)

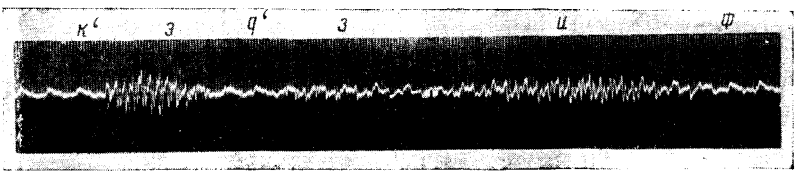


Рис. 8. *К'эq-зиф* „лисий след“ (дикт. 4)

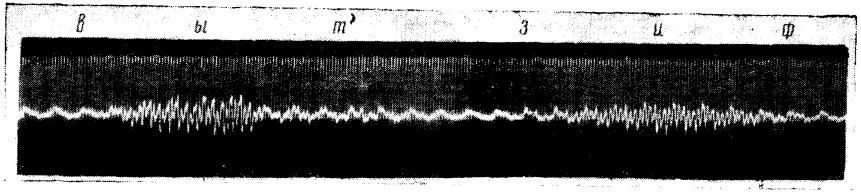


Рис. 9. *Выт'эиф* „железная дорога“ (дикт. 4)

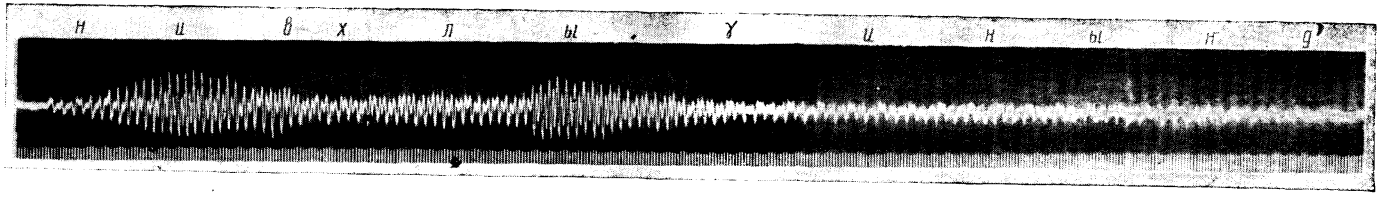


Рис. 10. *Нивх лыɣи-н'ыŋд'*? „человек кету ловит“ (дикт. 4)

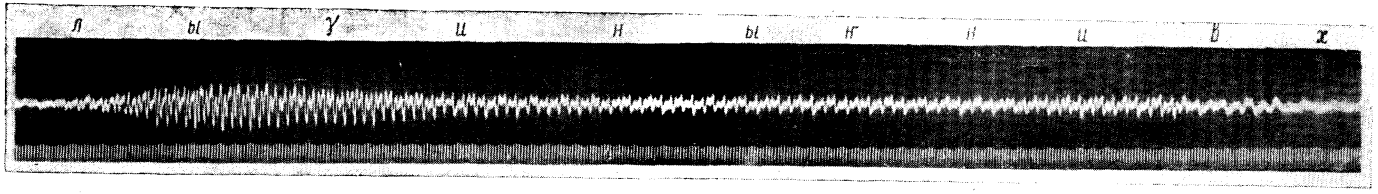


Рис. 11. *Лыɣи- н'ыŋ-нивх* „кету ловящий человек“ (дикт. 4)

интенсивность гласного в отдельном слове заметно большая,чем в том же слове — компоненте словосочетания, записаны сочетания типа *т'үүрму* «пароход», *н'ытыкму* «лодка отца», где ослабление интенсивности слова *му* очень незначительно и не столь очевидно, как в рассмотренном выше случае.

Интересные результаты выявлены при сравнении осциллограмм синтаксических групп, содержащих одни и те же лексические единицы, расположенные в разном порядке в связи с различным значением всего сочетания в целом. Например: *Нивх лыүи-н'ынд'* «Человек кету ловит» и *лыүи-н'ын-нивх* «кету ловящий человек». Как это видно из прилагаемых осциллограмм (см. рис. 10—11), в первом предложении имеются два амплитудных усиления (на слове *нивх* и на слове *лыүи*) [7], во втором — одно амплитудное усиление (на слове *лыүи*). Это может быть истолковано в том смысле, что в первом случае мы имеем две самостоятельные фонетические единицы, а во втором — одну.

Рассмотренный нами материал если и не позволяет говорить о типе синтаксической связи непосредственно, то бесспорно свидетельствует о том, что эта связь не во всех случаях однородна. Исходя из того положения, что в фонетической форме выражения должен отражаться характер синтаксических отношений, следует полагать, что при наличии одной фонетической вершины в фиксируемом отрезке нивхской речи мы имеем тесную синтаксическую связь типа той, которая существует в сложном слове, что и может быть названо термином «словокомплекс» в том значении, в каком его употребляет Е. А. Крейнович.

---

[7] Интересно отметить, что сказуемое *н'ынд'* в этом случае не выделяется амплитудой, что и следует ожидать на основании сказанного выше относительно сочетаний глагольного сказуемого с дополнением.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

КОНСУЛЬТАЦИИ

Ю. К. ЛЕКОМЦЕВ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛОССЕМАТИКИ

Глоссематика — недавно сложившееся направление, представленное рядом разновременных работ с сильными расхождениями в терминологии и имеющее большое число «белых пятен». Совокупность идей глоссематики не сведена еще в единую систему: некоторые идеи не проводятся достаточно последовательно, некоторые противоречивы. Существуют разделы глоссематики, находящиеся на ранней ступени формализации, а перевод с «формального» языка создает дополнительные трудности. Наша задача — дать ориентиры языковедам, начинающим интересоваться этим направлением. Мы излагаем более сжато содержание книги Л. Ельмслева «Пролегомены к теории языка»[1] и несколько более пространно проблемы, содержащиеся в непереведенных работах.

*

В начале 30-х годов группа датских ученых (главным образом Л. Ельмслев и Х. Ульдалль) выступила с критикой фонологических теорий Пражского лингвистического кружка. К середине 30-х годов новая концепция языка, разрабатываемая этими исследователями, получила название глоссематики (от греч. γλῶσσα «язык»). В 1936—1937 годах появляется капитальное исследование Л. Ельмслева «Категория падежей», предлагающее новую дедуктивную теорию падежных систем [2].

В 1943 г. вышла небольшая книжка того же автора «Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse», излагающая принципы нового направления. Эта книга оказалась синтезом предшествующих периодов развития структурной лингвистики и предопределила дальнейшее ее развитие. Когда в 1953 г. в Америке вышел английский перевод этой книги, стало ясно, что идеи глоссематики не устарели за это десятилетие и глоссематика оказалась теорией, связанной с ведущими течениями современной мысли. Число друзей или же оппонентов глоссематики среди лингвистов всех стран неизменно растет. Знакомство с этим направлением обязательно для работающего в области лингвистики.

Положение в науке ко времени создания глоссематики

1. Положение в лингвистике. Неоднократно подчеркивалось, что новые направления в лингвистике в XX в. возникали как реакция на атомический и индивидуально-психологический подход младограмматиков. Идеи соссюровского «Курса» помогли преодолеть кризис и открыли перед лингвистикой новые перспективы. В развитии лингвистики за последующие годы значительное место занимает борьба за различные интерпретации теории Ф. де Соссюра. С другой стороны, появляется много работ, посвященных философии языка (работы А. Марти, О. Есперсена, А. Гардинера и т. д.), которые также были попытками выхода из кризиса, возникшего в XIX в.

[1] L. Hjelmslev, Prolegomena to a theory of language, Baltimore, 1953 (русский перевод см. в сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960).

[2] L. Hjelmslev, La catégorie des cas. Étude de grammaire générale, «Acta jutlandica»: VII, 1—1935; IX, 2—1937.

При разработке комплекса идей Ф. де Соссюра его последователями часто оказывалось, что идеи собственно языковые растворяются в привнесенных психологических или социологических идеях (основанием чему была диффузность концепции самого Соссюра); лингвистика не имела строго ограниченного объекта. Возникала потребность выделить область чисто языковых явлений и дать им строгое описание.

2. Положение в теории познания (философии науки). Вместе с тем развитие точных наук в XIX в. привело к тому, что внимание философов и логиков оказалось направленным на язык как на инструмент познания. Особенно остро проблемы языка вставали в математике. Несколько поколений ученых работало над концепцией, согласно которой теоретическая мысль должна сводиться к идеальному языку, в котором каждый символ был бы однозначен. Немец Э. Фреге, американец Ч. С. Пирс, англичане А. Н. Уайтхед и Б. Рассел, австрийцы Л. Витгенштейн и Р. Карнап и многие другие работали над проблемами языка науки. Результатом было создание символической (или математической) логики, являющейся абстрактной математической моделью мышления. Язык науки был в центре внимания и некоторых философов, не разрабатывавших непосредственно символическую логику (Ф. Маутнер, Б. Кассирер, Э. Гуссерль и др.). Определение задач языка науки не могло не оказать огромного влияния на ученых, работающих в самых различных областях.

В таких условиях наиболее интересным в наследии де Соссюра оказывалось понимание языка как «формы, а не субстанции», как своего рода «имманентной алгебры» (Л. Ельмслев) в противоположность психологизированным и социологизированным интерпретациям Ш. Балли и Пражского кружка. Задача создания имманентной, наиболее абстрактной теории языка выпала на долю глоссематики.

Основные методологические идеи

1. Имманентный подход. Подход глоссематики к языку — чисто языковой; глоссематика считает, что любые факторы исторического, психологического, физического, физиологического и любого другого порядка не могут быть определяющими для изучаемой системы языка и поэтому должны быть исключены из лингвистики.

2. Дедуктивный подход. Глоссематика исходит из того положения, идущего от де Соссюра, что знаковая функция по-разному членит план выражения и план содержания различных языков. Членения планов (т. е. форма) разных языков несводимы. Отсюда вытекает отрицание индуктивного подхода к фактам языка, который не позволяет выделить свойства, общие для всех языков. Даже если удается найти общее определение для некоторой группы из m языков, то нет гарантии в том, что это определение окажется действительным в n-ом языке.

Дедуктивный подход, напротив, позволяет, рассмотрев определенное число случаев некоторого явления в достаточно большом числе языков, затем построить систему, учитывающую все логически возможные случаи. В такой системе понятий можно описать аналогичные факты любого вновь открытого языка. Подобный ход мысли свойствен всем математическим наукам. Принцип дедукции не исключает, но необходимо предполагает применение также и индуктивных методов.

3. Синхронный подход. Глоссематика отличается от классического языкознания (но не от других направлений структурализма) точкой зрения на историю языка. Если для лингвистики XIX в. в центре внимания стоял процесс изменения языковых фактов во времени, то для новых лингвистических направлений этот центр переместился на проблему синхронной системы языка. Развитие, движение в языке, которые рассматривались раньше как самая суть языка, теперь считаются внешним

фактором по отношению к языковой системе. История языка, занимающаяся теперь сопоставлением различных синхронных состояний языка, получает возможность обратиться к трансформациям различных систем друг в друга. Если синхронный подход свойствен глоссематике при описании конкретных языков, то в своей общей теории она прежде всего интересуется чертами структур, инвариантными при исторических преобразованиях.

4. Семиотический подход. Глоссематика подходит к языку с общесемиотической точки зрения. В основу теории кладется понятие знаковой функции — отношения между единицами плана выражения и плана содержания. В «Пролегоменах» Л. Ельмслев, проанализировав структуру естественного языка, сравнивает ее со структурами широкого круга семиотических объектов: логических языков, игр, символов и т. д.

5. Сублогический подход. Глоссематические правила построения естественного языка подчиняются законам, несколько отличным от законов формальной логики. Глоссематике свойствен более широкий так называемый сублогический подход к языку (включающий как логические, так и внелогические элементы). Представителей глоссематики всегда интересовали работы, занимающиеся «аксиоматикой» мышления, представленного в естественных языках, в частности труды по доисторическому мышлению Л. Брюля. Конкретно сублогический подход проявляется при анализе противопоставлений в языке (см. ниже).

С сублогическим подходом надо связать также следующие особенности глоссематики. В отличие от некоторых других направлений структурной лингвистики, сильно идеализирующих свой объект (в частности, абстрагирующихся от социальных и локальных языковых различий) и ограничивающихся репрезентативной функцией языка, глоссематика рассматривает языковой объект как сложное целое, представляющее результат наложения на репрезентативную систему языка дополнительных систем, связанных со стилевыми, эмоциональными, региональными и прочими языковыми особенностями (в терминах Л. Ельмслева денотативная семиотика и коннотативные семиотики) [3].

Основные моменты глоссематической теории

1. Теория. В глоссематике Ельмслева теория понимается как набор терминов, из которых некоторые даются без определения, а другие последовательно получают его. Считается, что такая система понятий имеет самодовлеющую ценность (в целях научной абстракции рационально рассматривать такое логическое построение в отрыве от действительности, которую оно должно описывать). Однако теория создается для того, чтобы объяснять и предсказывать факты. Теория ставится в отношение к изучаемым фактам через понятие пригодности: она считается пригодной, если описывает факты непротиворечиво, исчерпывающе и по возможности просто.

2. Функции. Описание языка заключается, по Ельмслеву, в фиксации отношений (функций в терминах Л. Ельмслева) между его элементами. Предлагается несколько видов функций. В терминах этих функций происходит описание языка. Функции носят не частный узко языковой характер (ср.: управление, предикативность, атрибутивность и т. д.), а логический (например: и — и, или — или, если B, то A, но обратное не обязательно, и др.). Это является залогом их общеприменимости.

Существенную роль в теории играют следующие пять функций: 1) реляция есть функция, связывающая элементы последовательности; 2) корреляция есть функция, связывающая элементы, каждый из которых

[3] Определение терминов см. в «Пролегоменах к теории языка», стр. 368—369 и 389 (определение № 97 и 101).

может быть выбран лишь на одно место последовательности. Элемент, присутствие которого является необходимым условием для присутствия другого элемента, называется п о с т о я н н ы м; элемент, присутствие которого не является необходимым условием для присутствия другого элемента, называется п е р е м е н н ы м. Тогда: 3) интердепенденция есть функция между двумя постоянными; 4) детерминация есть функция между постоянным и переменным; 5) констелляция есть функция между двумя переменными.

3. С у б с т а н ц и я и ф о р м а. Основной задачей лингвистики с точки зрения глоссематики является фиксация связей между элементами языка. Система отношений, существующая в языке, называется формой. Форма всегда существует в пределах определенной субстанции, определенной материи. Но одна и та же форма может в принципе переводиться в различные субстанции, на чем основано существование письменного языка и различных сигнализаций.

Следует отметить, что в теории информации понятие кода (т. е. закона комбинации сигналов) отделено от понятия сигнала: сигналы могут быть либо разной природы, либо одной (например, электрические импульсы), но различаться по разным основаниям, например по силе тока или по длительности. В связи с этим приходится подчеркнуть, что рассматриваемое положение Ельмслева, вызывавшее непонимание и философские обвинения в нашей языковедческой литературе, уже давно имеет практическое применение.

4. З н а к и и ф и г у р ы. Глоссематика исходит из понятия двустороннего языкового знака, предложенного де Соссюром. Однако глоссематический знак отличается от знака де Соссюра в основном в двух отношениях: а) в то время как у де Соссюра план содержания (означаемое) языкового знака рассматривается лишь в психическом аспекте, план содержания глоссематического знака может рассматриваться либо в физическом аспекте (предметы и отношения реального мира), либо в психическом (психические образы этих предметов и отношений); б) в то время как де Соссюр в основном рассматривал знак с глобальными, нерасчлененными сторонами, глоссематика имеет дело со знаком, стороны которого расчленены на элементы различных уровней, не являющиеся знаками. Эти элементы обозначаются термином «фигура». Фигурами плана выражения являются, например, фонемы и фонологические слоги; фигурами плана содержания — элементы, представляющие минимальные семантические различия, а также планы содержания морфем, слов, предложений и т. д. Формированию понятия фигуры способствовало создание фонологии. Анализ языка с точки зрения глоссематики в значительной мере связан с изучением фигур и их иерархий в обоих планах.

5. П р о ц е д у р а. Описание языка (языка вообще или конкретного языка) в терминах функций образует определенного рода процедуру. При анализе нерасчлененного текста по функциям нескольких видов выделяются последовательности с единообразными зависимостями, которые объединяются в эквивалентные классы. На уровне мельчайших единиц языка производится описание функций членов эквивалентных классов. Следует подчеркнуть, что на данном этапе анализа Ельмслев не оперирует с фиксированными единицами: предложениями, словами, морфемами и т. д.; он дает методы нахождения единиц, специфичных для каждого языка, и лишь затем пытается создать общую теорию языковых единиц (см. ниже).

6. Т и п ы п р о т и в о п о с т а в л е н и й в я з ы к е. В глоссематике предлагается различать логическое противопоставление, которое можно представить формулой: A/не-A, и характерное для естественных языков партиципативное противопоставление, формула которого: A / A + + не-A.

Примером партиципативного противопоставления может служить противопоставление лексем «женщина» /«человек» или грамматических

форм типа индонез. *orang orang/orang* («люди»/ «человек»; «люди»; удвоение — основной способ образования мн. числа; ср. возможное *lima orang* «пять человек»). Глоссематика берет за основу патрициnативное противопоставление, во-первых, потому, что оно имеет большое распространение в естественных языках; во-вторых, потому, что логическое противопоставление можно рассматривать как частный случай партиципативного. В соответствии с этим постулируется сублогический подход к языку.

Логические противопоставления бывают двух типов: 1) контрарные противопоставления, в которых противопоставляются полярные термины, например: «черный»/«белый» (формула a/b); 2) контрадикторные противопоставления, где определенный термин противопоставляется полярному по отношению к нему и нейтральному терминам, например: «белый»/ /«небелый» (т. е. «черный» + «цветной») (формула $a/b + c$).

Партиципативные противопоставления делятся в глоссематике на 1) простые партиципативные ($a/a + b + c$); 2) контрарно-партиципативные ($\boldsymbol{a} + b + c/a + \boldsymbol{b} + c$) (выделен термин, являющийся основным в члене противопоставления); 3) контрадикторно-партиципативные ($\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + c/a + b + \boldsymbol{c}$).

7. Описание грамматических категорий. При описании грамматических категорий глоссематика использует семантические и синтаксические признаки, область распространения знака и типы языковых противопоставлений. Семантические (и отчасти синтаксические) признаки используются в виде так называемых семантических зон, состоящих из трех отделов a, b и c, которые получают обозначение $+$, $\div$ и 0:

$+$	0	$\div$
a	c	b

Примером может служить семантическая зона направления, используемая Л. Ельмслевом при анализе категории падежа:

$+$	0	$\div$
a	c	b
приближение	покой	удаление

Наряду с семантической интерпретацией (ср. помещение локатива в отдел c — покой) Л. Ельмслев применяет и синтаксическую (например, способность падежа управлять другим падежом служит признаком для отнесения его в отдел $b \div$ — удаление). В зависимости от того, распространяется ли грамматический показатель на один отдел зоны или и на другие, он расценивается как интенсивный или экстенсивный.

Интенсивный член может занимать один из двух отделов зоны: a (+) или b (÷). Соответственно с этим считается, что зона получает положительную или отрицательную ориентацию. Интенсивный и экстенсивные члены могут вступать в различные типы противопоставлений. Интенсивные члены обозначаются строчной греческой буквой, экстенсивные — прописной. Тогда интенсивный и экстенсивные члены могут противопоставляться следующим образом: 1) простое партиципативное противопоставление α/A ($\alpha = a$; $\mathrm{A} = a + b + c$); 2) контрарно-партиципативное противопоставление β/B ($\beta = a + b + c$; $\mathrm{B} = a + \boldsymbol{b} + c$); 3) контрадикторно-партиципативное противопоставление γ/Γ ($\gamma = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + c$; $\Gamma = a + b + c$). Противопоставление 1 выступает в двучленных системах, противопоставления 2 и 3 в трех-, четырех-, пяти- и шестичленных.

Примером наиболее простой падежной системы с двумя членами простого партиципативного противопоставления, построенной на одной семантической зоне направления, может служить падежная система современного английского языка:

Possessive case (для одушевленных и собственных имен существительных) предлог *of* (для неодушевленных имен существительных)	common case

Possessive case рассматривается как интенсивный член, расположенный в отделе *b* (удаление); система имеет отрицательную ориентацию.

Для описания грамматических категорий может быть использовано несколько семантических зон. Для описания падежных систем Ельмслев привлекает 3 зоны (трехмерное семантическое пространство). Теоретически возможное число падежей в языке — от 2 до 216 (в каждой зоне максимальная система состоит из 6 членов αA βB γГ, $6^3 = 216$). Системы противопоставлений интенсивного и экстенсивных членов связаны законом солидарности, представляющей собой один из видов функций. Два термина называются солидарными, если они либо совместно присутствуют, либо совместно отсутствуют в данной системе. Тогда: 1) термины в парах αA и βB солидарны; 2) термины в парах βB и γГ солидарны, т. е.

$$\left.\begin{matrix}\alpha & \beta\\ A & B\end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix}\gamma\\ \Gamma.\end{matrix}\right.$$

Отсюда могут быть выведены 7 типов систем: 1) αA; 2) βBγ; 3) βBГ; 4) βBγГ; 5) αAβBγ; 6) αAβBГ; 7) αAβBγГ.

8. Теория языковых единиц (теория грамматики). Глоссематика не только ищет методы (процедуры) для описания единиц, специфических для каждого языка, но и пытается найти универсальные функциональные единицы. Все единицы языка, полученные на основе анализа по функции и называемые глоссемами, делятся с точки зрения их принадлежности к тому или иному плану языка (плану выражения или плану содержания) по отношению к некоторой функции направления и по отношению к высказыванию в целом на определенное число категорий. В результате получается ряд функциональных определений для таких понятий, как интонация, ударение, фонема (в терминологии Ельмслева, кенема), слог, служебная морфема, корень, глагол, имя, предикативная связь и многие другие.

В «Пролегоменах» Ельмслев дает определение для слова (минимальная единица, перестановка элементов плана выражения или плана содержания которой вызывает изменение в соответствующем противоположном плане). Однако, как было показано К. Тогебю [4], были обнаружены случаи, для которых это определение оказалось неадекватным (а именно случаи с возможной перестановкой аффиксов внутри слова).

9. Алгебраическая запись. У некоторых представителей глоссематики (Х. Ульдалль, Х. Сёренсен) наблюдается тенденция воплотить идею «имманентной алгебры» языка. Система исходных понятий принимает вид формального исчисления с использованием математических символов.

10. Тенденция к расчленению глоссематической теории на исчисление и интерпретационные правила. Формализация исходной системы понятий ведет к такой ситуации, когда: 1) возникает потребность в формализации предложений теории; 2) система понятий, а также предложений, куда входят понятия, имеет тенденцию превратиться в неинтерпретированное исчисление, а применение такого исчисления к материалу требует создания интерпретационных правил. Такого рода расчленение глоссематической теории наблюдается у некоторых представителей глоссематики (Ульдалль, Сёренсен) [5].

---

[4] См. K. Togeby, Qu'est-ce qu'un mot?, в кн. «Recherches structurales 1949» (TCLC, V), 1949, стр. 97—212.

[5] Значительное место занимает эпистемологический анализ лингвистических понятий (т. е. разнесение понятий по уровням абстракции) в работах советского лингвиста С. К. Шаумяна, принимающего ряд глоссематических идей (см., например: С. К. Шаумян, Структурная лингвистика как имманентная теория языка, М., 1960).

Заключение

Глоссематика сложно связана с развитием философской и математической мысли и несет явные отпечатки ранних логистических работ (таких как «Principia Mathematica» Уайтхеда и Рассела, «Der logische Aufbau der Welt» Р. Карнапа и др.). Отдельные идеи глоссематики (например, идея нахождения единиц исследуемого языка через формальную процедуру) перекликаются с идеями конструктивной математики (и логики).

Изучение языковых противопоставлений в глоссематике можно сопоставить с их анализом у английского логика и философа Ч. Огдена, намечавшего перспективу использования их в логике [6]. Идея разложения плана содержания на элементарные фигуры содержания предвосхитила понятие «семантических множителей», используемое в работах по машинному переводу и по искусственным языкам для информационных машин. Глоссематика вносит свой вклад и в семиотику — науку, складывающуюся в наши дни и являющуюся основой лингвистики, логики, теории познания, эстетики.

С другой стороны, глоссематика в ее настоящем виде обладает рядом существенных недостатков. Так, несмотря на большое влияние логистики, глоссематика не сумела воспользоваться аппаратом логики отношений и не сформулировала своих определений математически точно. В результате этого связь многих понятий в теории Л. Ельмслева не вскрыта. Например, реляция и корреляция, с одной стороны, и интердепенденция, детерминация и констелляция, с другой, связаны только через родовое понятие функции.

Формальная система в логике состоит из двух групп понятий: 1) неопределяемых понятий и 2) понятий, определяемых через первые, а также из двух групп предложений: 1) основных предложений (аксиом) и 2) предложений, полученных из первых посредством правил вывода (теорем). Л. Ельмслев отказался от формализации предложений своей теории. Поэтому такие понятия, как непротиворечивость, полнота и простота,— свойства внутренние для логической теории, относящиеся к формальной системе предложений данной теории,— у Ельмслева подменяют правила интерпретации, выступают как внешние по отношению к теории.

Многие слабые места глоссематики — такие как недостаточная строгость определений, формализация только инвентаря понятий, но не инвентаря предложений теории — объясняются недостаточно четким различием глоссематической теории и логических языков. Ельмслев сопоставляет структуры метаязыков глоссематики и логистики и правильно отмечает различия этих структур и «выводимость» более примитивного логического метаязыка из метаязыка глоссематики. Однако прагматическая направленность этих двух языков различна: метаязык глоссематики служит цели описания имманентной структуры естественных языков (а также и иных знаковых систем), в то время как логический метаязык предназначен для моделирования процесса мышления и включает (кроме чисто языковых) внешние по отношению к языку понятия, такие как денотат, истинность и т. д. Логический метаязык в принципе является языком, на котором должна строиться теория любой науки. Поэтому задача состоит не в том, чтобы построить метаязык, конкурирующий с логическим (такой метаязык был бы малоэффективным в качестве языка науки ввиду своей сложности), а в том, чтобы построить общую теорию языка (или знаковых систем), используя в качестве метаязыка язык логики, обладающий развитым формальным аппаратом. С другой стороны, когда будет достигнута высокая ступень формализации языка лингвистики, он может существенно повлиять на структуру логического языка.

[6] См. Ch. K. Ogden, Opposition. A linguistical and psychological analysis, London, 1932.

Второй упрек, который можно сделать глоссематической теории (в изложении Л. Ельмслева),— это недостаточное следование принципам современной эпистемологии (логической теории познания). С точки зрения эпистемологии исследователь любой эмпирической науки (а лингвистика является эмпирической, описательной наукой) начинает с фиксации своих наблюдений (уровень базисных высказываний) и их систематизации (уровень генерализации). Затем, чтобы объяснить результаты систематизированных наблюдений, он строит теорию, т. е. набор логически связанных понятий и предложений, которые объясняют полученные данные и дают возможность предсказать новые, еще не фиксированные наблюдения (уровень конструктов). Каждая формальная теория эмпирической науки должна быть дополнена системой интерпретационных правил, связывающих ее понятия с наблюдаемыми данными. Распространенной формой интерпретационных правил являются операциональные определения, когда понятию теории ставится в соответствие набор операций над материалом.

Глоссематика недостаточно различает два уровня абстракции (уровень генерализации наблюдений и уровень конструктов, теорию и интерпретационные правила). Так, например, при разделении текста по функции получаются категории функтивов. Но сама функция есть отношение между функтивами. Налицо логический круг, который может быть устранен, если предположить, что единицы языка интуитивно известны еще до проведения функционального анализа. Но здесь таится опасность субъективизма и видна необходимость механической процедуры, операциональных определений. Как указывалось выше, эти недостатки начинают осознаваться некоторыми представителями глоссематики.

Третьим недостатком глоссематики является односторонне аналитический подход к языку, недостаточное развитие точки зрения на язык как на генератор текста. Здесь следует учесть два фактора: 1) то, что соотношение анализа и синтеза в языке превратилось в кардинальную проблему современного языкознания (ср. точку зрения Р. Якобсона на анализ и синтез как д о п о л н и т е л ь н ы е в смысле Нильса Бора процедуры [7]); 2) то, что проблема ситезирующего устройства является одной из ведущих проблем кибернетики (например, в виде проблемы черного ящика). Наконец, можно указать еще на один недостаток, который заключается в том, что глоссематика строится на данных, добытых классическим языкознанием, и не имеет дела с результатами таких новых областей, как лингвостатистика.

Несмотря на названные пробелы, недооценивать значение глоссематики в развитии лингвистики нельзя. Она впервые указала путь синтеза лингвистики с символической логикой и семиотикой. В противоположность работам дескриптивной лингвистики, строящимся на несформулированных предпосылках процедур, глоссематика показала ведущую роль теории. Глоссематикой проделана огромная работа по синтезу современных представлений о языке и положено начало преобразованию полученных знаний в формализованную систему [8].

---

[7] R. J a k o b s o n, Linguistics and communication theory, «Proceedings of Symposia in applied mathematics», XII — Structure of language and its mathematical aspects, New York, 1961, стр. 249.

[8] Краткий список рекомендуемой литературы: L. H j e l m s l e v, Essai d'une théorie des morphèmes, «Actes du 4-me congrès international de linguistes», Copenhague, 1938; H. J. U l d a l l, Outline of glossematics, TCLC, X1, 1957 (перевод первой части см. в сб. «Новое в лингвистике», I. Значительный интерес представляет вторая непереведенная часть работы); B. S i e r t r s e m a, A study of glossematics. Critical survey of its fundamental concepts, The Hague, 1955; K. T o g e b y, Structure immanente de la langue française, TCLC, 6, 1951 (интересна общетеоретическая часть работы); H. S p a n g - H a n s s e n, Probability and structural classification in language description, Copenhagen, 1959; H. C h. S ø r e n s e n, Studies on case in Russian, København, 1957.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

АРН. ЧИКОБАВА

К ВОПРОСУ О ПЕРВЫХ ТЕКСТОВЫХ ЗАПИСЯХ ПО ГОРСКИМ ИБЕРИЙСКО-КАВКАЗСКИМ ЯЗЫКАМ

(предварительное сообщение) *

В известной работе проф. С. К. Булича, охватывающей громадный материал по истории изучения языков на территории Российской империи, содержится, в частности, указание на хранящийся в Гос. Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (в лингвистической коллекции Ф. П. Аделунга) «ряд рукописных записей» по языкам чеченскому и аварскому; отмечается также, что «даргинский и его диалекты послужили материалом» для записей по казыкумухскому, андийскому и акушинскому языкам, что «западно-горская [т. е. абхазско-адыгская.— *А. Ч.*] группа представлена только одной записью» — по кабардинскому (черкесскому) языку. По словам С. К. Булича, упомянутые записи содержат «собрание числительных и фраз» на указанных языках. «Записи эти,— пишет С. К. Булич,— очевидно представляют только часть того чернового материала, который лег в основание глоссариев разных кавказских языков, напечатанных во 2-й части описания путешествия Гюльденштедта по Кавказу, изданного уже после его смерти (1781 г.) академиком Палласом»[1]. Однако если числительные действительно фигурируют в лексических записях Гюльденштедта [2], то никаких фраз там не приводится. В свое время (1940 г.) числительные и фразы по абхазскому языку из коллекции Ф. Аделунга были рассмотрены в специальном докладе К. В. Ломтатидзе, но об абхазских материалах у С. К. Булича ничего не сказано; наоборот, там подчеркивается, что «западно-горская группа представлена только одной записью» — кабардинской (черкесской). Смущает и то обстоятельство, что казыкумухский (т. е. лакский) и андийский отнесены к даргинскому и его диалектам (!).

Документация большей или меньшей давности по бесписьменным и младописьменным горским иберийско-кавказским языкам представляет лингвистический интерес прежде всего в двух отношениях: во-первых, с точки зрения истории соответствующего языка и, во-вторых, для уяснения характера изменений и темпов изменений, наблюдаемых в истории данных лингвистических единиц,— словом, документация актуальна как с точки зрения истории иберийско-кавказских языков, так и в плане общелингвистическом для анализа труднейших вопросов теории исторического развития языков.

Если отвлечься от случайных записей фрагментарного характера (Эвлия Челеби, Шардена, Витзена, Штраленберга и др.), значительный материал по интересующим нас языкам впервые представлен в записях И. Гюльденштедта — естествоиспытателя, предпринявшего в 1768—

---

* Доложено на секции языка и литературы Объединенной сессии АН СССР, АН Груз. ССР, АН Азерб. ССР, АН Армян. ССР в Тбилиси 1 XII 1961.

[1] С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России, I, СПб., 1904, стр. 480.

[2] См. в собрании слов, помещенных в книге: J. A. Güldenstädt, Reisen durch Rußland und im Caucasischen Gebürge, hrsg. von P. S. Pallas, 2-er Tl., St. Petersburg, 1791, стр. 496—552.

1773 гг. по поручению Петербургской Академии наук путешествие по России и по Кавказу. И. Гюльденштедт в течение всех своих продолжительных поездок по Северному Кавказу и Грузии не только изучал природу, но и внимательно собирал также ценные сведения историко-этнографического и археологического характера; во второй же части его «Путешествий» на стр. 496—535 дан перевод 265—290 слов на 13 языков, а именно: 1) на картвельские наречия (грузинский, мингрельский, сванский); 2) мицдшегские (т. е. нахские) наречия (чеченский, ингушский, тушский, т. е. бацбийский); 3) лезгинские и родственные с ним наречия (анцугский, джарский, хунзахский, дидойский; 4) казыкумукский (!), андийский и акушинский; 5) кабардинский и абхазский (абасский) языки.

Из горских иберийско-кавказских языков здесь представлены: группа нахских языков — всеми ее членами; из абхазско-адыгских языков не достает убыхского и адыгейского материала; неравномерно представлены дагестанские языки: аварский — тремя диалектами, из которых два диалекта — южных (оба в непосредственном соседстве с грузинским) и с ними дидойский язык, также находящийся в полосе, примыкающей к Кахетии. Андийский язык оказался в одной группе с лакским и даргинским, хотя он лингвистически, да и географически близок к аварскому. Совершенно отсутствует такой распространенный дагестанский язык, как лезгинский, не говоря уже о табасаранском, рутульском, цахурском, удинском и других языках лезгинской группы.

По всем языкам дается один и тот же лексический материал: местоимения, наречия, числительные, различные предметные группы субстантивов (номенклатура родственных отношений и анатомические термины применительно к человеку, названия домашних животных и культурных растений, орудий труда, одежды, металлов, небесных тел, времен года), атрибутивы и, наконец, глаголы (их меньше всего: не более двадцати на 265—290 слов). Как известно, по инициативе Екатерины II такие списки слов составлялись для перевода на различные языки Европы, Азии, Африки и Америки, и переводы эти легли в основу труда «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею Всевысочайшей особы. Отделение первое, содержащее в себе Европейские и Азиатские языки» (СПб., 1787). Этот уникальный в своем роде труд был призван доказать единое происхождение всех языков; идея была подсказана французским филологом Кур де Жебелином, а «особую подробную программу и наставление к собиранию лингвистических материалов» для наших академиков Лепехина, Палласа, Гюльденштедта и др. составил инспектор академической гимназии Г. Бакмейстер [3]. Для этого словаря и собирал материалы Гюльденштедт [4]. Вопрос о родстве языков в этом труде решался на основе «сравнительного словаря», точнее — параллельного словаря однозначных слов; данные грамматики не учитывались; следовательно, не было необходимости в связных текстах. Если такие тексты (перевод молитвы «Отче наш») и записывались, то они рассматривались лишь как иллюстративный материал и не использовались для анализа языка и для уяснения родственных взаимоотношений, существующих между языками. Фиксировать связный текст не могло входить и в задачи Гюльденштедта. Тем больший интерес представляли текстовые записи, о которых сообщается у С. К. Булича.

---

[3] С. К. Б у л и ч, указ. соч., стр. 222—223.

[4] Общая характеристика этих материалов, а также анализ историко-этнографических данных Гюльденштедта даны И. А. Д ж а в а х и ш в и л и [см. его «Первоначальный строй и родство грузинского и кавказских языков», Тбилиси, 1937, стр. 13—31 (на груз. яз.)]; о «Сравнительных словарях всех языков и наречий» и роли в его составлении Екатерины II говорится в специальной работе Аделунга (Fr. A d e l u n g, Catherinens der grossen Verdienste um die vergleichende Sprachenkunde, St. Petersburg, 1815, стр. 37—106). О материалах по кабардинскому языку см. Г. Т у р ч а н и н о в, М. Ц а г о в, Грамматика кабардинского языка, М.—Л., 1940, стр. 12—15.

После ознакомления с записями по интересующим нас языкам, имеющимися в бумагах Аделунга (они числятся под № 13 в Гос. публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина), выяснилось следующее.

I. Записи имеются по следующим языкам (приводим с соответствующими заглавиями на латинском языке): кабардинскому (черкесскому)— «Kabarda-ice-Tscherkes-ice»— лл. 1—5[5]; казыкумухскому (т. е. лакскому.— *А. Ч.*) — «Lingua districtus Kasikumuch» — лл. 60—64; аварскому или хунзахскому — «Lingua, qua utitur in districtu Auar seu Chunsag»— лл. 66—69; андийскому — «Lingua, qua utitur in districtu Andi» — лл. 75—78; мингрельскому — «Lingua, qua utitur in provincia Mingrelia»— лл. 90—93; абхазскому — «Abasa-ice»— лл. 96—99; акушинскому (т. е. даргинскому.— *А. Ч.*) — «Lingua, qua utitur in districtu Akuscha»— лл. 103—105; чеченскому — «Lingua, qua utitur in districtu Tschetschen» — лл. 108—110; осетинскому — «Osseti-ce» — лл. 118—123; грузинскому — «Lingua, qua utitur in Georgia» — лл. 129—135.

II. Записи содержат список количественных числительных (с 1 по 22 приводятся все числительные подряд, затем даются наименования десятков, среди них вкраплены числительные 71, 72, 99; указаны также наименования для 100, 200, 1000) и около 50 фраз, объединенных под 23 номерами.

Эти тщательно подобранные фразы, как правило, представляют собой простые распространенные предложения или сложносочиненные:

«2. Бог бессмертен, жизнь человека коротка; 3. Мать детей целует; в груди матери много молока; муж ее любит; 4. Эта женщина была беременна; шесть дней назад мальчика родила; ее дочь сидит подле нее и плачет; 5. Мальчик грудь сосать не хочет; 6. Эта девочка еще не ходит; ей год и два месяца; 7. Эти четыре мальчика все здоровы; один бегает, другой прыгает, третий поет, четвертый смеется; 8. Этот человек слеп (на оба глаза); его жена глуха; мы говорим, она не слышит; 9. Твой брат чихает; твоя сестра спит; ваш старый отец не спит; он мало ест, мало пьет; 10. Нос находится посредине лица; 11. У нас две ноги; на каждой руке по пяти пальцев; 12. На голове волосы растут; 13. Язык и зубы находятся во рту; 14. Левая рука сильнее правой; 15. Волос — длинный и тонкий; кровь красная; кости крепки, как камень; 16. У рыб глаза имеются, ушей нет; 17. Эта птица медленно летает; она на землю садится; на ее крыльях черные перья, клюв — острый, хвост — короткий; в ее гнезде — белые яйца лежат; 18. На дереве — листья зеленые, сучок — толстый; 19. Огонь горит; мы видим дым, пламя, уголья; 20. Вода быстро течет; 21. Луна больше звезды, меньше солнца; 22. Вчера вечером шел дождь, сегодня утром радугу видел; 23. Ночью темно, днем — светло».

Фразы составлены таким образом, чтобы охватить строго определенный круг понятий и соответствующую лексику.

III. Текстовой материал, перевод которого на семь горских иберийско-кавказских языков представлен в фонде Аделунга, по сличении оказался идентичным тому, что приводится у Ю. Клапрота [6]; перевод вышеприведенных фраз находим в обзоре соответствующих языков: фразы на аварском и андийском языках приводятся параллельно (под заглавием: «Sprachproben in Auárischer und Andischer Sprache») на стр. 35—54 указанной работы Ю. Клапрота; фразы на акушинском (т. е. даргинском.— *А. Ч.*) и казыкумухском (т. е. лакском.— *А. Ч.*) языках даются параллельно: в разделе «Sprachproben in Akuschaischer und Ckaβi-Gkûmukischer Sprache»— там же, стр. 59—72; фразы на чеченском языке в разделе «Tschetschenzische Sprachproben nach einem etwas verschiedenen Dialect» (sic!— *А. Ч.*)— там же, стр. 172—175; фразы на черкесском языке — там же, стр. 235—236; фразы на абаза (т.е. абхазском.—*А. Ч.*) языке в разделе «Sprachproben des Dialects der Altekeβek-Abaβi» — там же, стр. 260—261.

[5] То же самое, но переписанное иным почерком, приводится на лл. 83—86.

[6] J. von Klaproth, Kaukasische Sprachen. Anhang zur «Reise in den Kaukasus und nach Georgien», Halle—Berlin, 1814 (под «Введением» — «Einleitung» — значится: St. Petersburg, d. 20. October, 1809).

У Клапрота текстовой материал приводится без всякого указания, кем, когда и где записан (или собран) данный материал. Считалось, что данные текстовые записи сделаны Клапротом во время его путешествия по Кавказу в 1807—1808 гг. Между тем сличение их с текстовыми записями фонда Аделунга не оставляет никакого сомнения в том, что запись этих текстов не имеет отношения к путешествию Клапрота на Кавказ (в 1807—1808 гг.): эти записи *имелись* у И. Гюльденштедта *еще* в 1775 г., как то отмечено в приписках в конце текстовых записей по каждому языку: «Получено от г-на профессора Гюльденштедта 18 сентября 1775 г.» («Reçu par M-r le Professeur Güldenstaedt le 18 Sept. 1775»)[7].

Таким образом, датировка данных текстовых записей отодвигается на последнюю четверть XVIII в. [8]; по всем шести горским иберийско-кавказским языкам (абхазскому, кабардинскому, чеченскому, аварскому, андийскому, даргинскому) эти текстовые записи являются наиболее старыми (из известных пока); представляют эти текстовые записи ценность и потому, что одни и те же тексты даны на семи горских иберийско-кавказских языках.

Отправляясь на Кавказ (в 1807 г.), Ю. Клапрот, по-видимому, взял с собой хранившиеся в Петербургской Академии наук текстовые записи вместе с лексическими записями и вел проверку их на Кавказе: новых фраз к текстовым записям не прибавилось; лишь по абхазскому языку (в разделе «Sprachproben des Dialects der Altekeβek-Abaβi») был дан дополнительный перевод все тех же фраз на «другой диалект» (...«Uebersetzung in einem verschiedenen Dialecte») с пометкой, что перевод не буквальный, но, однако, без какого-либо указания на то, что это за диалект [9]; отметим также, что чеченские материалы, приведенные в работе Клапрота, имеют заглавие «Tschetschenzische Sprachproben nach einem etwas verschiedenen Dialect» — опять-таки без уточнения, что это за диалект и от какого чеченского диалекта его следует отличать [10].

О том, что в распоряжении Ю. Клапрота имелись ранее собранные материалы, прямо говорится в инструкции А. Лерберга, специально занимавшегося в Петербургской Академии наук вопросами изучения Кавказа; в этой инструкции, приложенной к «Путешествию» Клапрота, с самого начала отмечается, что Клапроту предстоит ознакомиться со всеми материалами, которыми Петербургская Академия располагает о Кавказе, с тем чтобы он во время путешествия восполнил пробелы и исправил неточности [11].

Вполне естественно, в руках Ю. Клапрота должен был оказаться и весь материал, имевшийся у Гюльденштедта,— списки слов и упомянутые фразы; правильность этих записей Клапрот проверял во время своего пребывания на Кавказе. Издавая текстовые записи, он снабжал их грамматическими заметками (как правило, совершенно неудачными), а также сопоставлял («сравнивал»), выискивая *звуковое сходство*, лексический материал дагестанских языков с материалами финно-угор-

[7] С. К. Булич считает, что в 1775 г. текстовые записи были получены от Гюльденштедта Бакмейстером (см. С. К. *Булич*, указ. соч., стр. 480).

[8] За исключением лакского языка, по которому иберийско-кавказское языкознание ныне располагает документацией более старой, к тому же и более обширной, чем записи от 1775 г.: это — лакский перевод арабского медицинского трактата, выполненный в 1734 г., под названием «Xannal Murad» («Желание хана»). Перевод обнаружен и вводится в научный обиход научным сотрудником Института языкознания АН СССР С. М. Хайдаковым. (Лингвистическая характеристика текста дана в статье С. М. Хайдакова «Старокумухский диалект», которая печатается в томе XIV «Иберийско-кавказского языкознания».)

[9] J. von *Klaproth*, указ. соч., стр. 261.

[10] Там же, стр. 172.

[11] J. von *Klaproth*, Reise in den Kaukasus und nach Georgien, unternommen in den Jahren 1807 und 1808 auf Veranstaltung der Kaiserlichen Akad. der Wissenschaften zu St. Petersburg, Halle — Berlin, I, 1812, стр. 15.

ских языков (самоедского, мордовского, чувашского, вогульского...), полагая при этом, что тем самым решает вопрос о происхождении кавказских народов, и подчеркивая, что то, что сделано им, было не под силу Гюльденштедту как естествоиспытателю. Клапрот пишет во «Введении», что во время путешествия он считал нужным собрать по кавказским языкам достаточный вспомогательный материал, который давал бы ему возможность завершить то, что было начато Гюльденштедтом; он льстит себя надеждой, что произведенные им исследования проливают совершенно новый свет на происхождение кавказских народов [12]. К сожалению, работа Клапрота не дает возможности присоединиться к высокой оценке, которую он — автор — без особой скромности дает ей: исторические сведения о кавказских народах, почерпнутые Клапротом из различных исторических источников, представляются интересными, но все, что касается языка, заслуживает иной оценки, чем та, которая высказана автором; во всяком случае, сравнение с тем, что дается о языках у Гюльденштедта, говорит не в пользу Клапрота, а скорее наоборот.

Итак, первые из известных доныне текстовых записей по горским иберийско-кавказским языкам имелись в 1775 г. у И. Гюльденштедта. Они требуют всестороннего исследования. В плане предварительного сообщения отметим здесь лишь следующее.

Текстовые записи 1775 г. не являются оригиналом, а представляют лишь список; в них сперва дается буквальный перевод на русский язык (этот перевод, однако, не являлся исходным), далее следует транскрипция русскими буквами, а затем — латинскими. Перевод осуществлялся не с русского языка, а с какого-то иного (возможно, латинского); русский же текст был призван отобразить особенности языка, на котором была сделана запись; потому-то, например, вместо «одиннадцати» читаем: *один десять* = 11 (на чеченском языке); вместо «двенадцати»— *два десять*= 12 (на чеченском языке); *три двадцать на десять один*=71 (на аварском языке). *Луна велика звезды от, солнца от мал* (на акушском языке) «Луна больше звезды, меньше солнца»; *Вчера ввечеру дождь шел, сегодня поутру я видел небесный лук вышедшей* (на акушском языке) «небесный лук» = «радуга»; *Мужу жена хорошо любит* (на кабардинском языке); *Сын как родила дешесть-нь тому есть* (на кабардинском языке): *де-шесть-нь*- «день шесть»= «шесть дней» и т. п.

Текстовые записи имелись у Гюльденштедта, но записаны они не им или его помощниками, как то предполагает С. К. Булич [13]. Об этом свидетельствует следующее. В лексических записях Гюльденштедта имеются числительные. С числительных начинаются и текстовые записи. Уж это само по себе наводит на размышления: вряд ли естествоиспытатель стал бы выполнять одну и ту же филологическую работу дважды. Более существенно то, что числительные в лексических записях Гюльденштедта и числительные в текстовых записях далеко не всегда совпадают:

По Гюльденштедту			Текстовые записи
чечен.	«шесть» *jalch*	то же	*jelch, jелхъ*
»	«семь» *uor*	» »	*uosch, уошь*
»	«шестнадцать» *jalcheitte*	» »	*jelch itte, jелхъ итте*
авар.	«три» *schabgo*	» »	*chljabgo, хлябго*
»	«четыре» *uchgo*	» »	*uncugo, ункуго*

Лексические записи Гюльденштедта по своей транскрипции отличаются от текстовых записей настолько, что предположение о принадлежности последних этому автору должно быть исключено; так, *ж* у Гюльденштедта

[12] J. von Klaproth, Kaukasische Sprachen, стр. 3—4.
[13] С. К. Булич, указ. соч., стр. 480.

обозначается через *sh* (иногда через *s*), в записях же из коллекции Аделунга — при помощи $\dot{g}$. Например:

По Гюльденштедту	Текстовые записи
абаз. «одиннадцать» *bshasa*	то же $b\dot{g}asa$
» «двенадцать» *bshug*	» » $b\dot{g}ug$ и т. д. [14].

Приводя лексический материал по аварскому языку [15], Гюльденштедт на первом месте дает лексику южных диалектов — анцухского и джарского — и на третьем месте приводит данные северного, хунзахского наречия. Текстовые же записи дают лишь один вариант — хунзахский материал, но отнюдь не анцухский или джарский, т. е. здесь использованы данные северного наречия, без привлечения южных.

Аварский материал Гюльденштедту не удалось собрать, когда он находился на Северном Кавказе, в Кизляре; по словам Гюльденштедта, Шамхал Тарковский приказал не давать никаких сведений студенту Крашенникову, посланному Гюльденштедтом из Кизляра в Тарку [16]. Материалы по аварскому языку, надо думать, собирались в Грузии [17]. Естественно, что анцухская и джарская речь сопредельных с Кахетией аварских обществ и оказалась на первом плане; хунзахская речь была менее доступна Гюльденштедту, соответственно и записи ее изобилуют неточностями (ср. *Schabgo* «три», *uchgo* «четыре», *antelgo* «семь», *chogo* «двадцать»; в текстовых же записях эти числительные даны точнее: $\dot{c}hljabgo$ «три», $unc\dot{u}go$ «четыре», $ant\dot{l}'go$ «семь», $c\dot{o}go$ «двадцать»).

Таким образом, текстовые записи 1775 г., судя по всему, не были записаны Гюльденштедтом во время его пребывания на Кавказе (в 1770—1773 гг.). Кем и когда записаны рассмотренные тексты — вопрос, подлежащий специальному рассмотрению. Эти записи по семи горским иберийско-кавказским языкам, на наш взгляд, заслуживают того, чтобы быть изданными со всем необходимым аппаратом и анализом значения их для истории соответствующих языков. Такое издание с фотокопиями текстов подготавливается автором этих строк.

---

[14] То же самое подтверждается сличением записей и по другим языкам, например записей грузинского материала; в текстовых записях используются: *ss*, *pch*, *tschh*; в лексических записях Гюльденштедта соответственно: *s'*, *p'*, *tsch*; в русской транслитерации: $\widetilde{к}$, *гх*, $\widetilde{ц}$, соответственно: *к*, *х'*, *тц*... Для грузинского материала я пользовался выписками из рукописи «Путешествий» Гюльденштедта, любезно предоставленными мне сотрудником кафедры истории Грузии Тбилисского ун-та Г. И. Гелашвили (подготовившим грузинский перевод определенных разделов «Путешествий» Гюльденштедта), за что и выражаю молодому коллеге искреннюю признательность.

[15] См. J. A. Güldenstädt, указ. соч., 2-er Tl., стр. 518—519.

[16] См. J. A. Güldenstädt, указ. соч., 1-er Tl., 1787, стр. 484.

[17] Это предположение нашло подтверждение: в записях расходов, которые велись Гюльденштедтом, в частности, отмечено, что он заплатил 23 XI 1771 г. два рубля лезгину, который диктовал ему слова своего языка; 3 III 1772 г. он дал 32 аршина полотна, два зеркала за сведения о языке и об их селах двум лезгинам из Чар; 23 III 1772 г. двум лезгинам из Хунзаха и Кахаиса (Кахиба?) за сведения об их языке и их народе дано 32 аршина полотна, 2 зеркала, 2 бритвы; 25 III 1772 г. «лезгину из Дидо» за сведения о его языке и языке капучском дано 16 аршин полотна, 2 ножика и т. д. Из «Путешествий» же известно, что с сентября 1771 г. по октябрь 1772 г. Гюльденштедт находился в Грузии; здесь собирались материалы по аварским диалектам, по дидойскому и капучскому языкам (сведения эти уже после прочтения данного доклада получены мною от историка Г. И. Гелашвили).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

А. ХИЛЛ

О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОТМЕЧЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ*

Среди представителей трансформационного анализа обычным стало утверждение о том, что релевантная грамматика должна дать возможность порождать все грамматически отмеченные («правильные») предложения данного языка и, наоборот, не порождать грамматически неотмеченных предложений. Нередко считают также, что для отделения грамматически отмеченных предложений от неотмеченных вполне можно положиться на «беспристрастие» информаторов, участвующих в эксперименте, и что отвержение определенных предложений как грамматически неотмеченных одновременно несколькими информаторами может служить основанием для построения теории степеней грамматической отмеченности предложений. При разборе указанных концепций я ограничусь, в основном, работой Н. Хомского «Syntactic structures», ибо, как мне кажется, Н. Хомский в этой книге вполне выражает мнение своих единомышленников в области трансформации[1].

На стр. 15 [418—419] Н. Хомский приводит шесть предложений, которые я переписываю буквально: 1) *Colorless green ideas sleep furiously* «Бесцветные зеленые идеи спят бешено»[2]; 2) *Furiously sleep ideas green colorless* «Бешено спят идеи зеленые бесцветные»; 3) *have you a book on modern music*? «есть ли у Вас книга о современной музыке?»; 4) *the book seems interesting* «книга кажется интересной»; 5) *read you a book on modern music*? «читали ли Вы книгу о современной музыке?»; 6) *the child seems sleeping* «ребенок кажется спящим».

На стр. 16 [420] даются еще два предложения в виде остова фразы с пропусками для заполнения словами *whale* и *of*. Я выписал эти предложения, пронумеровал их и немного изменил пунктуацию: 7) *I saw a fragile whale* «Я увидел хрупкого кита»; 8) *I saw a fragile of* «Я увидел хрупкого [далее идет показатель род. падежа *of*]».

Указанные предложения сопровождаются следующими комментариями. «... предложения 1 и 2 равно бессмысленны, но любой носитель английского языка назовет грамматически правильным лишь первое» (стр. 15 [418]). «Точно так же нет никакого семантического основания предпочесть последовательность 3 последовательности 5 или 4—6; однако лишь 3 и 4 являются грамматически правильными предложениями английского языка» (там же [419]); «...существуют основания структурного характера, позволяющие отличать 3 и 4 от 5 и 6...» (там же [419]). «И тем не менее первое, хотя и бессмысленное, грамматически правильно, а второе нет. Носитель английского языка, если его попросят прочесть эти предложения, первое прочтет с нормальной интонацией предложения, а второе — с интонацией, падающей на каждом слове, т. е. как всякую последовательность бессвязных слов, принимая каждое слово в ней за отдельное высказывание. Отсюда вытекает, что ему гораздо легче припомнить первое, чем второе, что он гораздо быстрей заучит первое... Мы не можем, разумеется, апеллировать к тому факту, что предложения, подобные 1, „могут" быть высказаны в некотором достаточно искусственном контексте» (стр. 16 [419—420]). «В прошлом языковом опыте говорящего слова *whale* „кит" и *of* могут иметь одинаковую (т. е. нулевую) частотность появления в контексте *I saw a fragile* — „Я видел хрупкого —", и все же говорящий

* Учитывая интерес наших читателей к проблемам, связанным с трансформационным методом и так называемыми «порождающими грамматиками», помещаем на страницах нашего журнала любопытную дискуссию, продолжающую разработку теоретических и практических вопросов исследования, поднятых еще в работе Н. Хомского «Синтаксические структуры». В статье А. Хилла (A. A. Hill, Grammaticality, «Word», XVII, 1, 1961) сделана попытка поставить под сомнение объективность критериев определения отмеченности предложений на основе эксперимента с рядом информаторов; в ответной статье Н. Хомского (N. Chomsky, Some methodological remarks on generative grammar, «Word», XVII, 2, 1961) рассматриваются не только спорные вопросы, но дается также конспективное изложение теории порождающих грамматик на современном ее этапе.— *Ред.*

[1] N. Chomsky, Syntactic structures, 's-Gravenhage, 1957 (см. русск. перевод: Н. Хомский, Синтаксические структуры, в сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962. Далее в тексте в квадратных скобках указываются страницы русского издания).

[2] Следует учитывать, что грамматическая отмеченность в английском языке, в отличие от русского, во многом определяется порядком слов.— *Прим. перевод.*

немедленно заявит, что лишь первая из этих подстановок приводит к грамматически правильному предложению» (стр. 16 [419—420]).

Все эти категорические утверждения, особенно в отношении поведения «любого говорящего на английском языке», требуют экспериментальной проверки. В связи с этим указанные восемь предложений были занесены на карточки точно в той же форме, в какой они приведены выше. Для ровного счета я добавил еще два предложения, даваемых М. Джузом при разборе подобных же вопросов: 9) *Those man left yesterday* «Те человек уехал(и) вчера»; 10) *I never heard a green horse smoke a dozen oranges* «Я никогда не слышал, чтобы зеленая лошадь курила дюжину апельсин».

Десять карточек были тщательно перемешаны и затем розданы десяти информаторам. Мои информаторы, правда, не были типичными представителями общества, говорящего исключительно на английском языке; не следует, однако, забывать, что утверждения, подлежащие проверке, относились к «любому носителю английского языка». Отметим, что мои информаторы весьма типичны для академического общества: это — профессора, студенты, окончившие университет, один коммерсант, не окончивший полного курса университета, один секретарь. Лишь трое из них были в той или иной мере лингвистами. Два профессора (кроме двух лингвистов) были преподавателями английской литературы, причем все информаторы с детства говорили на английском языке.

Прежде всего каждого информатора попросили громко прочитать весь материал на карточках. Интересно, что некоторые информаторы обратили внимание на отсутствие пунктуации в ряде предложений и попросили разрешения «восстановить» ее при чтении. Им объявили, что они могут поступать так, как сочтут правильным. Результаты этой анкеты стоят в полном противоречии с утверждением Н. Хомского о том, что предложение 2 читается с интонацией, обычной при перечислении. Восемь информаторов без колебаний прочли предложение 2 по простой интонационной модели, называемой в американской лингвистике «two-three-one double-cross pattern». Два информатора разбили это предложение на три отрезка, причем разделы проходили перед словом *green* и после него. Интересно, что один из информаторов, который применил эту интонационную модель, *самостоятельно* отметил, что указанное предложение «звучит как современная поэзия». Другой информатор, не сделав такого замечания без дополнительного вопроса, на следующий день попросил опять прочитать это предложение, сказав при этом, что «оно не только звучит как современная поэзия, но как хорошая современная поэзия».

Следующей просьбой к информаторам было выделить все грамматически неотмеченные и отмеченные предложения. В результате предложение 9 (*those man...*) оказалось единственным, которое было отвергнуто как грамматически неотмеченное всеми десятью информаторами. Предложение 2 (*Furiously sleep...*) было отвергнуто семью и одобрено тремя информаторами. То же относится и к предложению 8 (*...fragile of*) (хотя одобрившие его три информатора не были теми же, что в случае предложения 2). Предложения 5 (*read you...?*) и 6 (*...seems sleeping*) были соответственно отвергнуты четырьмя и одобрены шестью информаторами. Предложение 10 (*...green horse...*) было отвергнуто тремя и одобрено семью информаторами. Предложение 1 (*Colorless green ideas...*) было отвергнуто одним и одобрено девятью информаторами. Предложение 3 (*have you a book...*) было одобрено всеми информаторами, кроме одного, который пояснил, что такое предложение не является грамматически отмеченным на его идиолекте. Этот информатор был одним из двух лингвистов и, таким образом, полностью отдавал себе отчет в различиях между английской и американской нормами английского языка. Предложение 4 (*the book seems...*) одним из информаторов было одобрено лишь с некоторыми колебаниями. Все прочие информаторы одобрили это предложение без колебаний. Предложение 7 без колебаний было признано грамматически отмеченным всеми информаторами.

Далее всем информаторам, отвергнувшим предложение 2 как грамматически неотмеченное, это предложение было прочтено с интонационной разбивкой на три отрезка. Был задан вопрос: как звучит теперь это предложение? Пять информаторов ответили, что оно звучит как стихи. Двое заявили, что это предложение произносится с правильной интонацией, но не имеет никакого смысла. Следующий информатор сказал, что указанное предложение приемлемо при одном условии: «если идеи — зеленые и могут спать». Этот информатор не предъявил тех же условий к предложению 1.

Затем предложение 8 было прочитано семи информаторам, которые ранее отвергли его как грамматически неотмеченное. Предложение читалось с главным ударением и интонацией конца фразы на *of*. Двое информаторов заявили,что такое произношение превращает *of* в существительное, а третий сказал, что законным был бы вопрос, «что такое *of*?»

Следует отметить несколько других комментариев информаторов. Предложение 1 было отвергнуто студентом — специалистом по литературе (тем самым, который одобрил предложение 2, так как, по его мнению, оно звучит как стихи). Один из четырех информаторов, который отверг предложение 5 (*read you...?*), заметил, что оно было бы грамматически отмеченным, если бы начиналось с заглавной буквы, хотя он и не сделал такого замечания в отношении предложения 4, которое одобрил. Один из информаторов, признавших правильным предложение 6 (*...seems sleeping*), заметил, что оно было бы отвергнуто Теннисоном, так как содержит слишком много *s*. Из трех инфор-

маторов, которые отвергли предложение 10 (... *green horse*...), двое изменили свое мнение после того, как было указано, что, строго говоря, оно вполне правильно. Третий не возражал, но не изменил своего мнения.

Хотя эксперимент, описанный здесь, проводился с ограниченным числом информаторов и не является исчерпывающим, он все же дает возможность сделать некоторые важные выводы. Этот эксперимент не только опровергает заявление Н. Хомского о том, что предложение 2 может произноситься лишь как перечисление[3], но и говорит о том, что некоторые другие его утверждения не выдержали проверки. В моем эксперименте указанное предложение не представило трудностей для запоминания информаторами: они даже заинтересовались этим предложением. Мне также сообщили, что один из информаторов сочинил стихи с целью использовать в них предложение 2. С другой стороны, мне неизвестно, чтобы кто-либо так же заинтересовался предложением 1. Один информатор считает даже, что предложение 2 более приемлемо по стилистическим соображениям, чем предложение 1[4].

Другим выводом является то, что интонационная модель обусловливает одобрение или отрицание предложений с точки зрения их грамматической отмеченности. Важно, что ряд информаторов изменил свое мнение о предложениях 2 и 8 при повторном их чтении по возможным интонационным моделям. Важно также, хотя и менее интересно для лингвиста, что дополнительное указание на правильность отрицательного предложения 10 повлияло на его одобрение.

Простое составление графика, показывающего количественное колебание отрицаний тех или иных предложений как грамматически неотмеченных, не может дать полного представления об интересующем нас вопросе. Так, можно наблюдать колебания от одного до шести отрицаний. Лишь один информатор отверг одно из всех заданных предложений. Трое отвергли только два предложения, хотя лишь двое из них были единодушны в отношении тех предложений, которые были отвергнуты. У двоих информаторов, отвергнувших максимальное число предложений (шесть), были разногласия о грамматической отмеченности двух предложений.

Понятно, что график степеней грамматической отмеченности можно составить в результате эксперимента с группой информаторов, достаточной по величине для того, чтобы дать статистически надежные сведения. Однако в связи с индивидуальными реакциями наших информаторов, не имеющими никакого значения для реальной классификации предложений на грамматически отмеченные и неотмеченные, маловероятно, что график, построенный на основе процентных соотношений «одобрений» соответствующих предложений, может оказаться полезным. Дело в том, что такой график вряд ли даст возможность вывести какие-либо общие принципы, а без этих принципов каждую новую группу предложений пришлось бы заново подвергнуть эксперименту. Мысль о проверке всех предложений, возможных и невозможных в английском языке, настолько нелепа, что вряд ли может долгое время привлекать серьезное внимание.

В большинстве случаев, когда Хомский говорит о грамматической отмеченности, он в конечном счете занимается не изолированными предложениями, а целыми рядами предложений, допускающих или не допускающих применение к ним определенных трансформов. Если отказаться от попытки определять грамматически неотмеченные предложения в терминах изолированных последовательностей слов, то моментально возникает мысль об ином виде эксперимента. Этот эксперимент состоит в том, что предложения, грамматическая отмеченность которых находится под сомнением, проверяются с точки зрения их соответствия тем или иным реляционным или трансформационным моделям (framework). Модели, используемые для эксперимента, следующие: 1) *The plate is hot. The plate seems hot. The plate seems very hot* «Блюдо — горячее. Блюдо кажется горячим. Блюдо кажется очень горячим»; 2) *The child is sleeping. The child seems sleeping. The child seems very sleeping* «Ребенок спит. Ребенок кажется спящим. Ребенок кажется очень (глубоко) спящим»; 3) *The book is interesting. The book seems interesting. The book seems very interesting* «Книга — интересна. Книга кажется интересной. Книга кажется очень интересной»; 4) *This hat is old. This hat seems old. This*

[3] Интересно, что Н. Хомский (в сноске 2, стр. 35—36 [441]) дает несколько другое описание характера произношения грамматически неотмеченных предложений. По его словам, такие предложения отмечаются характерными фонетическими признаками, вроде «особенно длинных пауз... подчеркивающей интонации, отсутствия редукции гласных и выпадения согласных в беглой речи и т. п.». Неясно, имеется ли здесь в виду интонация перечисления или что-либо другое. Если Хомский говорит не об интонации перечисления, то «особо длительные паузы» могут вполне означать разграничительные сигналы (terminal junctures), а «подчеркивающая интонация» — просто последовательность основных ударений в предложении, состоящем из нескольких групп слов (phrases). Подобные интонационные модели встречаются, конечно, во многих грамматически отмеченных предложениях.

[4] Интересной, хотя, возможно, и неважной, деталью является следующее: при произношении предложения 2 таким образом, что и *green* и *colorless* выделяются как отдельные самостоятельные единицы (phrases), предложение 2 становится (во всяком случае, в некоторой степени) более логичным, чем предложение 1. Предложение 2 можно истолковать так: «две группы идей, одна зеленая, другая — бесцветная, бешено спят». В предложении 1 речь идет лишь об одной (самой по себе противоречивой) группе идей (идеи — зеленые и одновременно бесцветные).

hat seems very old «Эта шляпа — старая. Эта шляпа кажется старой. Эта шляпа кажется очень старой»; 5) *The wine was drunk by the guests. The guests drank the wine* «Вино было выпито гостями. Гости выпили вино»; 6) *Golf is played by John. John plays golf* «Гольф играем Джоном. Джон играет в гольф»; 7) *The pie was eaten by John. John ate the pie* «Пирог был съеден Джоном. Джон съел пирог»; 8) *John was drunk by midnight. Midnight drank John* «Джон был пьян к полуночи (или: Джон был выпит полуночью). Полночь пил Джон»; 9) *John is a man. Is John a man?* «Джон — человек. Джон — человек?»; 10) *You have a book on modern music. Have you a book on modern music?* «У Вас есть книга о современной музыке. У Вас есть книга о современной музыке?»; 11) *You read books on modern music. Read you books on modern music?* «Вы читали книги о современной музыке. Читали ли Вы книги о современной музыке?»; 12) *John can. Can John?* «Джон может. Может Джон?».

Из приведенных рядов предложения ряда 2 можно обнаружить у Хомского на стр. 73 [482, 484]. Ряд 3 представляет собой распространение (в соответствии со сказанным на стр. 73) предложения, приводимого на стр. 15 [419]. Ряды 1 и 4 были добавлены.

Во второй группе ряд 5 приводится Хомским на стр. 80 [491], где он противопоставляется ряду 8. Ряд 6 дается Хомским на стр. 78 [488] и сопровождается замечанием, что этот ряд грамматически более отмечен, чем ряд *Golf plays John — John is played by golf*. Ряд 7 добавлен.

В последней группе ряд 10 взят со стр. 15 [419], где Хомский занимается вопросительным предложением как трансформом утвердительного. Ряд 11 также взят у Хомского (с небольшими изменениями). В связи с тем, что из вопросительного предложения можно построить вполне удовлетворительное утвердительное (*You read a book on modern music* можно принять за императив), вопросительное предложение дается в виде *Read you books on modern music?* Ряд 12 был добавлен. Я также всюду изменил пунктуацию с тем, чтобы показать конец предложений, а в некоторых случаях тип предложений.

Указанные группы предложений, занесенные на карточки, были в отдельности розданы десяти новым информаторам, преподавателям литературы (за исключением одного печатника). Информаторам сообщили при этом, что избранные предложения разбиты на три группы по четыре ряда в каждой и что во всех этих группах соотношения между предложениями одинаковы. Информаторов попросили отбросить любой ряд предложений, в котором соотношения между предложениями представляются им неверными (при этом, если хоть одно предложение в ряду казалось неправильным, снимался весь ряд).

Результаты оказались такими, каких и следовало ожидать. Ряды 2, 8, 11 были отвергнуты всеми информаторами, хотя один из них (специалист по средневековой литературе) отверг ряд 11 лишь со значительными колебаниями, заявив в конце концов, что он архаичен и поэтому неверен. Другой информатор отверг ряд 11 на том основании, что он лично не употребил бы таких предложений.

Самое интересное и удивительное выявилось в отношении предложений, отвергнутых некоторыми (но не всеми) информаторами. Любопытны причины, по которым эти предложения были отвергнуты. Два информатора отвергли ряд 1 в связи с тем, что объекты могут либо быть горячими, либо не быть горячими, но не могут «казаться» горячими. Один информатор отверг все ряды группы 2 по той причине, что пассив — менее яркая и непосредственная форма по сравнению с активом. Интересно, что тот же информатор тут же добавил, что ряды 2, 8 и 11 грамматически совершенно не отмечены. Другой информатор без колебаний отверг ряды 2, 8, 11, но заметил затем, что ряд 3 кажется ему «немного странным», а ряд 6 «неуклюжим». Специалист по средневековой литературе, по мнению которого ряд 11 архаичен, сказал также, что ряд 6 звучит таким образом, как будто он переведен с иностранного языка.

Нам представляется, что из всего сказанного можно также сделать некоторые важные выводы, причем выводы не всегда негативного порядка. Предложенные модели не только показывают информатору характер соотношений в рядах, но и дают возможность тем или иным образом оценить предложения, отмеченность которых находится под вопросом. Не имея таких опорных конструкций, мы неизбежно занимались бы, как некогда говорил Э. Сепир, построением моделей и выведением значений из материала, который не дает для этого никаких оснований. Таким образом, главное сводится к тому, что ряды 2, 8 и 11 были отвергнуты всеми информаторами, причем это произошло, несмотря на то, что основные предложения из рядов 2 и 8 ранее (когда они были заданы в отдельности) признавались отмеченными четырьмя информаторами из десяти. Я считаю поэтому, что такое всеобщее отрицание предложений как раз и представляет собой тот случай, на основе которого Хомский хотел бы построить теорию грамматической неотмеченности предложений. С другой стороны, предложения, которые не были отвергнуты всеми информаторами, не обнаруживают грамматической неотмеченности (полностью или в значительной степени). Здесь иногда возникают индивидуальные возражения (часто не лингвистического характера), например, вроде того, что ничто не может «казаться горячим». Наконец, ряды типа 9, против которых никто не возражал, грамматически также совершенно отмечены.

Если результаты моих экспериментов верны (а мне кажется, что это именно так), то непонятны утверждения Хомского о том, что все информаторы без колебаний от-

вергают определенные ряды или произносят их просто как перечисления. Хомский заявил на одном научном собрании, что эти результаты получены на основе экспериментов, повторенных несколько раз. Мне кажется, что здесь какое-то недоразумение или что часть этих результатов по той или иной причине ненадежна статистически.

Необходимо указать, однако, что имеется одно теоретическое основание, посредством которого можно a priori объяснить, почему изолированные предложения обычно не у всех вызывают сомнения в их грамматической отмеченности. Число интонационных моделей невелико, причем ни одно высказывание не может быть произнесено без использования той или иной из имеющихся интонационных моделей. Так, общепризнанным в лингвистике является тот факт, что нормальный ребенок усваивает все интонационные модели и их значения до 5-летнего возраста. Лексика же любого языка настолько обширна, что отдельный носитель языка никогда не овладевает ею полностью, причем словарный фонд постоянно открыт для новых образований. В результате нормальный говорящий всегда исходит из того, что он знает и может различать все интонационные модели, а также вполне может пользоваться ими для идентификации грамматической структуры. Что же касается словаря, то здесь, напротив, обычно исходят из предположения, что если какой-то элемент в определенном словарном окружении, произносимом с той или иной интонацией, кажется необычным, то перед нами слово, значение которого неизвестно. Именно второе предположение объясняет ответы тех информаторов, которые после повторного прочтения предложения *I saw a fragile of* с главным ударением и конечной фразовой интонацией на *of* заявили, что такая интонация превращает *of* в существительное или задавали вопрос: «что такое *of*?». Короче говоря, привычные интонационные модели при определении грамматической отмеченности «берут верх» над отдельными словарными элементами, состоящими из гласных и согласных. Если интонация правильная, большинство нормальных носителей языка положительно реагируют на то или иное предложение, считая его грамматически отмеченным, хотя и неясным по смыслу (это в свою очередь препятствует единодушному его отвержению как грамматически неверного).

Согласно концепции Хомского — независимо от того, излагается ли она Р. Б. Лизом или даже Г. Л. Смитом (младшим)[5] — грамматическая неотмеченность предложения доказывается в том случае, если выполнены два следующих условия. Во-первых, носитель языка должен полностью различать входящие в предложение сегментные морфемы и слова, а, во-вторых, последовательность, в которую поставлены эти морфемы и слова, должна быть невозможной. Мне представляется, что первое из этих

---

[5] Пример Р. Б. Лиза приводится по его работе «Rules for English pronominalizations» (I. B. M. Research Center), 1960, стр. 19, сноска 3: «В этой связи важно признать, что за исключением тех случаев, которые не вызывают сомнения, а также коротких предложений и абсолютной бессмыслицы, окончательное суждение о грамматической отмеченности нельзя с полной уверенностью делать без учета предварительно и независимо приобретенных сведений о других формальных признаках английских предложений и грамматики, релевантных для изучаемых спорных примеров. Так, мы с определенной уверенностью признаем грамматически неотмеченным «странное предложение» * *John astounded the dark green*, ибо знаем из ранее произведенного анализа, что различение „одушевленных" и „неодушевленных" существительных является релевантным для структуры английских предложений».

Пример Г. Смита (младшего) приводится из «Linguistics: A modern view of language» (в кн. «An outline of man's knowledge of the modern world», ed by L. Bryson, McGraw-Hill, 1960, стр. 355): «Последовательность *The tall man smoked the black cigar* является приемлемой как предложение, в то время как *Tall the man cigar the smoked black* было бы явно невозможным и как вероятная последовательность слов, и как предложение, ибо в этом случае нарушаются грамматические модели языка».

Из двух приведенных предложений пример Лиза более интересен и важен, ибо он иллюстрирует определенную концепцию, которая, как я думаю, разделяется ее автором вполне серьезно. Однако мне представляется, что «странность» указанного предложения прежде всего обусловливается предварительным определением *green* как «неодушевленного» прилагательного, обозначающего цвет. Некоторые слушатели, которым я читал это предложение, не придерживались такого определения и *green* соответственно было понято ими как нечто иное. Некоторые приняли это слово за имя собственное *Green*, а некоторые за часть названия спортивной команды — *Dark Green* (ср. *Light Blue* — команда Кембриджа). «Странность» предложения в большой мере исчезает, если последнее слово или последние два слова читать с заглавной буквы.

Пример Смита более тривиален. Смит, один из ведущих, если не ведущий, представитель фонологического обоснования грамматики и синтаксиса, очевидно, здесь поторопился: он стремился привести пример грамматически неотмеченного предложения в популярной статье, где он не мог указать интонации. Очевидно, смысл указанного примера у Смита примерно таков: «это — последовательность слов, для которой трудно найти подходящую интонационную модель». Однако такую модель можно найти. *Man cigar* можно читать с ударением сложного существительного, а все высказывание произносить как связанные, но равноправные именные элементы. Тот факт, что значение остается неизвестным, не является релевантным.

условий никогда не выполняется при произношении предложений. Каждое предложение произносится в соответствии с той или иной нормальной интонационной моделью, причем возникающая при этом нерегулярность последовательности попросту стоит в противоречии с различением сегментных морфем. Если предложение состоит из нормальной последовательности слов и морфем (за исключением одного словарного элемента) и, кроме того, произносится с нормальной интонацией, весьма сильно проявляется тенденция не обращать внимания на посторонние морфемы и не вдаваться в их этимологическую идентификацию. Все это находится в полном соответствии с законом Джуза (см. M. J o o s, [рец. на кн.:] E. T. H a m p, A glossary of American technical linguistic usage 1925—1950, Utrecht — Antwerp, 1957, «Language», XXXIV, 2 (pt. 1), 1958, стр. 286), согласно которому посторонняя морфема в самой незначительной степени нарушает контекст. Сказанное согласуется и с давно известным лексикологам и другим лингвистам фактом — значение слова адекватно выясняется лишь в контексте. Так, последовательность *look at the cross eyed...* при заполнении пропуска через *of* неизбежно заставит некоторых людей считать *of* каким-то видом животных. До тех пор, пока не будет выработан какой-то другой принцип упорядочения (например, составление алфавитных списков), нельзя полагаться на «беспристрастие» информатора, отвергающего последовательность слов как не образующую предложения.

Предположение, согласно которому морфемы и слова вполне различимы независимо от их синтаксической позиции или от моделей высоты тона, ударения, разграничительных сигналов, дает объяснение той «грамматической отмеченности», которую Хомский приписал многим из приводимых им предложений. Кроме того, считая морфемы вполне различными, Хомский вынужден в значительной степени полагаться на графику. Приводя пример *I saw a fragile of*, он, очевидно, считает, что последовательность букв *o* и *f* безусловно является признаком предлога. При этом не обращается внимания на ту возможность, что той же парой букв можно записать другое слово с другим произношением. В этом отношении можно привести любопытную параллель в отношении автора несколько другого рода. Мы имеем в виду Ч. Лэрда, который недавно высказал мнение, что вполне возможно уловить разницу между *I scream* «Я кричу» и *ice cream* «мороженое», не обращая внимания на звуковой состав этих сочетаний, ибо «мы сразу догадываемся, что слово типа *I ...*, непосредственно предшествующее такому слову, как *scream*,— подлежащее...»[6]. Как Ч. Лэрд, так и Н. Хомский полагаются на написание, очевидно, не отдавая себе отчет в этом. Ориентация на написание объясняется тем, что имеются только две системы, на которые можно опираться при первой идентификации слышимых или читаемых предложений — звуковая система и система написания. Если мы откажемся от одной из этих систем, мы вынуждены принять другую; причем, если это делается бессознательно, результаты обычно носят расплывчатый характер или просто вводят в заблуждение.

Допущение, что предложения — это просто цепочки слов, а слова, в свою очередь, последовательности букв, отделенные паузами, безусловно превращает определение грамматической отмеченности предложения в сложную и трудную проблему, а порождающая грамматика при этом ставится на весьма шаткое основание. Такая концепция объясняет отрицательное отношение к этому вопросу многих структуралистов, которые считают, что язык в первую очередь представляет собой звуковую систему и лишь во вторую — графическую. Однако, хотя иногда вполне справедливо, что противоречия двигают науку, в данном случае спор между структуралистами и представителями трансформационного анализа нельзя считать плодотворным. Странно, что представители трансформационного анализа, которые прежде всего заинтересованы в изучении процессов, применимых к определенным языковым единицам, и в получении таким образом эксплицитных выводов, так усиленно настаивают на оценке отдельных изолированных элементов, не обращая внимания на источники последних и процессы их образования. Тот факт, что представители трансформационного анализа настаивают на грамматической неотмеченности *Midnight drank John*, знаменует собой, как мне кажется, определенный упадок интереса к трансформационному анализу. *Несомненно*, что основным требованием при трансформационном анализе такого предложения должно быть следующее: оно должно оцениваться только в свете трансформов активных предложений в пассивные и возможных (или невозможных) обращений этого процесса.

Тот, кто занимается трансформационным анализом, не должен задаваться вопросом, является ли изолированное предложение грамматически отмеченным. Он должен брать ряды внешне подобных предложений и применять идентичный трансформ ко всем этим предложениям; это дает возможность получить определенные результаты. Указанные ряды, трансформы, а также результаты могут быть даны для экспериментальной проверки «беспристрастным» информаторам. В этом случае признание предложений допустимыми, отрицание предложений как неотмеченных и вообще ответы информаторов могут считаться надежными, чего нельзя сказать в отношении эксперимента с изолированными предложениями. Вполне понятно, что подобный метод получения надежных ответов явился бы большим подспорьем при трансформационном анализе; при этом совпадение ответов информаторов даст определенную основу для составления порождающей грамматики. Менее очевидно то обстоятельство, что указанный эксперимент является не чем иным, как применением основных принципов струк-

[6] Ch. L a i r d, Thinking about language, New York, 1960, стр. 56.

турной лингвистики. Главный вопрос, который лингвисты после Блумфилда всегда стремились разрешить, сводится к следующему: «являются ли изучаемые элементы одинаковыми или разными?» Именно ответ на этот вопрос дает возможность структуралистам сегментировать и описывать многие языковые закономерности. Мне кажется, что если при трансформационном анализе руководствоваться соображениями, еще более структуральными по содержанию и по форме, то это даст возможность реально, а не декларативно добиться определенного единодушия в ответах информаторов.

Перевел с английского *М. М. Маковский*

Н. ХОМСКИЙ

НЕСКОЛЬКО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ О ПОРОЖДАЮЩЕЙ ГРАММАТИКЕ

§ 1. Настоящие замечания вызваны рядом критических обсуждений[1] последних работ по дескриптивному синтаксису и синтаксической теории, проведенных в рамках порождающей грамматики[2]. Я постараюсь пояснить некоторые вопросы, которые, очевидно, явились источником недоразумений и путаницы в отношении целей и исходных пунктов указанных работ, а также попытаюсь наметить пути расширения подобных исследований и охвата ими некоторых важных областей, до сих пор остававшихся без внимания[3].

С самого начала полезно провести различие между д а н н ы м и (data) и ф а к т а м и. Данные, которыми располагает лингвист, состоят из определенных наблюдений над формой и употреблением высказываний. Факты же языковой структуры, которые лингвист старается обнаружить, выходят далеко за пределы этих наблюдений. Грамматика того или иного языка представляет собой, по сути дела, гипотезу о принципах построения предложений в этом языке. Грамматика излагает основанные на фактах постулаты (правила), на которых базируются данные, собранные на определенном этапе. Мы судим о правомерности или ложности этой гипотезы по тому, насколько при помощи грамматики можно упорядочить имеющиеся данные, насколько удовлетворительное объяснение всей совокупности эмпирических наблюдений дается на основе той или иной грамматики, насколько всеобъемлющи обобщения, сделанные в грамматике, как грамматика «вмещает в себя» новые данные. Огромное количество данных доступно любому человеку, с детства говорящему на определенном языке; факты же языковой структуры остаются скрытыми от него.

Теория языковой структуры представляет собой гипотезу о лингвистических универсалиях. Согласно этой теории, грамматики любого человеческого языка построены тем или иным специфическим для данного языка образом. При этом необходимо дать особую характеристику различным видам грамматик (схема грамматического описания) и разработать метод, позволяющий избирать определенную грамматику из множества возможных (каждая избранная грамматика должна быть совместимой с имеющимися данными того или иного языка и давать возможность сформулировать специфический ряд основанных на фактах постулатов относительно изучаемого языка). Правильность подобной теории проверяется вполне надежным (хотя и косвенным) методом. Для этого необходимо выяснить ценность того или иного вида избранной грамматики в смысле, описанном выше.

Лингвист, который занимается исключительно языковыми данными, а не фактами языка (в указанном широком смысле), очень ограничивает область своих исследований[4].

---

[1] A. H i l l, Grammaticality, «Word», XVII, 1, 1961 (далее — G); R. J a k o b s o n, Boas' view of grammatical meaning, «American anthropologist», LXI, 1959 (далее — BVGM); B o l i n g e r, Linguistic science and linguistic engineering, «Word», XVI, 1960 (далее — LSLE).

[2] Особенно в отношении моей работы «Syntactic structures» ('s-Gravenhage, 1957; далее — SS).

[3] Многое из того, что говорится в данной статье, является пересказом моих замечаний, сделанных ранее в SS или в «A transformational approach to syntax» [«Proceedings of the III Texas conference on problems in the analysis of English», ed. by A. A Hill — в печати (далее — TAS)].

[4] В своей работе LSLE Болинджер различает два подхода к лингвистическому описанию: «ориентированный на данные» (data-oriented) и «ориентированный на модель» (model-oriented). Смысл этого различения, по Болинджеру, заключается в том, что при исследованиях, ориентированных на модель, менее принимаются во внимание факты языка как такового. Основное различие описываемых Болинджером подходов, по моему мнению, в том, что при использовании метода, «ориентированного на данные», ограничиваются обычно рассмотрением узкого круга непосредственно доступных фактов; при применении этого метода не делается попытки точно сформулировать какие-либо более глубокие обобщения.

В этой связи следует помнить, что даже самый ограниченный ряд эксплицитно сформулированных рекурсивных (итеративных) правил в действительности может охватить намного больше фактов, чем самое огромное собрание примеров, произведенное на основе метода, «ориентированного на данные». Ниже мы вернемся к этому вопросу.

Грамматическое описание, которое не дает ничего, кроме «компактного и расчлененного отображения инвентаря высказываний из данного языкового арсенала (corpus)»[5], не может претендовать и на полноту получаемых в результате наблюдений. Такое описание ориентировано на малое, в связи с чем и сам круг интересов при описании соответственно ограничен.

В SS я разбирал те виды грамматик, которые *в значительно большей степени* ориентируются на факты. Порождающая грамматика в смысле, изложенном в SS, вовсе не представляет собой большого собрания тщательно упорядоченных предложений, снабженного комментариями об этих примерах и указаниями о методах построения подобных же предложений. Порождающей грамматикой нельзя назвать и разбор кратких и понятных условных изображений (например, инвентарей, фонем, морфем, категорий или типов конструкций), в терминах которых можно репрезентировать высказывания, входящие в арсенал языка. Порождающая грамматика — это система эксплицитно сформулированных правил, при помощи которых каждой последовательности фонов (независимо от того, входят они в данный язык или нет) дается структурное описание, содержащее всю информацию о том, как эта последовательность фонов репрезентируется на каждом языковом уровне, и, в частности, информацию о том, построена ли данная последовательность фонов правильно (т. е. образует грамматически отмеченные предложения)[6], а если нет, то в каких отношениях она отклоняется от нормы (well-formedness)[7]. Между прочим, в такой грамматике различается класс совершенно правильно построенных (полностью отмеченных) предложений. Таким образом, назначение порождающей грамматики состоит в том, чтобы «порождать в языке любое число высказываний, кроме тех, которые наблюдаются исследователем заранее, т. е. порождать новые высказывания, большинство, если не все из которых должны быть непреднамеренно признаны отмеченными при экспериментальной проверке носителями данного языка»[8] (именно это важнейшее, по словам Хоккета, условие определяет ценность порождающей грамматики). Мне бы только хотелось добавить к замечанию Хоккета, что грамматика должна не только определять бесконечно большой класс правильно построенных высказываний, но должна также дать каждой последовательности фонов структурное описание. Такое описание должно дать возможность объяснить, как употребляется и понимается данное высказывание, т. е. должно дать структурную информацию, без которой невозможно серьезно проводить дальнейшую работу.

В SS для сравнительного изучения предложены три теории порождающей грамматики. Первая (основанная, в соответствии с теорией Маркова, на понятии конечного состояния), как было показано мною, оказалась неадекватной предъявляемым к ней требованиям. Вторая теория — это формализованный и несколько обобщенный вариант теории непосредственно составляющих, истолкованной в терминах теории порождающей грамматики. Третья представляет собой трансформационную модель. На основе рассмотрения различных видов лингвистических данных я старался показать,

---

[5] В одном месте своих «Methods in structural linguistics» (Chicago, 1951) З. Харрис считает это «главнейшей задачей работы в области дескриптивной лингвистики». Позднее, однако, он замечает (стр. 372), что «анализ приводит к формулировкам, которые дают возможность синтезировать, или диагностировать, высказывания на данном языке». Именно этот ряд формулировок я называю грамматикой, хотя я не уверен, что последнее из цитированных утверждений в настоящее время оправдано (т. е. что какие-либо известные процедуры дают возможность получить адекватную грамматику). Однако это другой вопрос. Здесь мне важно было только показать различие в целях при указанных подходах.

[6] В грамматиках того типа, который изучается в SS, часть структурного описания последовательности фонов представляет собой их репрезентацию на уровне структуры фразы. Это достигается посредством ряда абстрактных цепочек, которые можно эквивалентно представить в виде дерева с маркированными узлами (подробнее см. SS и приводимую там литературу). Полностью отмеченными предложениями, порождаемыми грамматикой, являются те, которые репрезентируются деревом, на вершине которого имеется лишь один узел *S* (где *S* является особым начальным символом структурной грамматики, лежащей в основе построения таких предложений). Трансформационные правила важны также при репрезентации фразовой структуры, хотя вопрос о том, как это делается, еще удовлетворительно не разрешен. См. мою «Logical structure of linguistic theory» (1955— мимеогр. изд.; далее LSLT), выдержкой из которой является SS, а также «On the notion „rule of grammar"» («Proceedings of the Symposia on applied mathematics», XIII, 1961).

[7] Т. е. предложениям, не порожденным непосредственно, все же можно приписать определенную степень грамматической отмеченности и дать структурное описание, показывающее их соотношение с непосредственно порожденными предложениями. Специальная глава LSLT посвящена этому вопросу, который бегло разбирается также в SS (сноски 2 и 7 главы V). Ниже (§ 5) мы возвратимся к этой проблеме.

[8] См. C h. H o c k e t t, Two models of grammatical description, «Word», X, 1954 (перепечатано в сб. «*Readings in linguistics*», *ed. by M. Joos, Washington*, 1957); см. также C h. H o c k e t t, A note on «structure», IJAL, XIV, 1948 (также перепечатана в «Readings...»).

что теория непосредственно составляющих несовершенна и что на теорию трансформации можно возлагать больше надежд. Исследования, появившиеся с того времени[9], кажется, не опровергают этого утверждения. Мы имеем в виду основанный на фактах постулат относительно структуры английского языка и, более широко, структуры естественных языков вообще. Правомерность постулата такого рода можно проверить следующими способами: построением других видов грамматик, дающих больше возможностей исследовать данные, лежащие в основе теоретических выкладок; выяснением вопроса о том, подходит ли грамматика данного типа для того или иного естественного языка в связи с определенными формальными особенностями высказываний на этом языке и т. д.

§ 2. Исследование порождающей грамматики, описанное в SS, было обусловлено необходимостью объяснить способность говорящего с легкостью производить и понимать бесконечное число новых предложений (а также признавать их правильно построенными или в той или иной мере отклоняющимися от нормы) (см. SS, стр. 15 [418—419]). Порождающую грамматику следует рассматривать как характеристику определенных аспектов этой способности, причем особое внимание уделяется общим и универсальным принципам последней[10]. Если мы хотим обеспечить успешное осуществление этих целей, то создаваемые нами грамматики должны быть настолько точными, чтобы дать возможность сделать выводы, применимые непосредственно к обширным и разнообразным лингвистическим данным. С этим требованием редко считаются в традиционных или современных исследованиях[11], что в некоторой степени, очевидно, объясняется неформальностью лингвистических описаний, как традиционных, так и современных.

Изучение точных порождающих грамматик с ясными выводами из них (и общая структура таких грамматик) в настоящее время находится в зачаточном состоянии. В традиционных грамматиках при получении структурных описаний элементов, отсутствующих в собрании примеров, обычно полагаются на сознание и языковую интуицию читателя. Нет сомнения в том, что непосредственно не воспринимаемые признаки грамматической структуры не выражаются в грамматике, рассчитанной на сознательного человека. Этот последний каким-то неизвестным образом приобретает способность производить и понимать новые предложения, усвоив представляемую ему информацию из краткой традиционной грамматики. Изучение порождающих грамматик является естественным продолжением традиционной описательной лингвистики. Характерно, что современная лингвистика занимается более узкой проблемой создания инвентарей элементов, в терминах которых можно представить то или иные высказывания, и уделяет мало внимания правилам порождения высказываний со структурным описанием[12].

§ 3. Имея в виду те цели, которые были изложены в § 2, мы должны использовать различные данные для определения правомерности тех или иных порождающих грамматик, или, еще шире, для построения определенных теорий порождающей грамматики. Так, в SS, TAS и в других работах я занимался рассмотрением следующих данных:

1. а) фонетические транскрипции; б) оценка совпадения признаков высказываний; в) оценка правильности построения высказываний; г) изучение двусмысленности, обусловленной структурными причинами; д) оценка идентичности или различия в типе предложений; е) оценка целесообразности определенных классификаций и сегментаций и т. д.[13]

---

[9] Например, TAS, которая в большой мере является выдержкой из книги Р. Б. Лиза «Grammar of English nominalizations» (Baltimore, 1960; далее — GEN).

[10] Теорию порождающих грамматик, естественно, можно рассматривать как описание некоторых главнейших навыков, наблюдаемых при усвоении языка ребенком. Подробнее см. мою работу «Explanatory models in linguistics» («Proceedings of the International congress on logic, methodology and philosophy of science», ed. by P. Suppes, August, 1960 — в печати).

[11] За некоторыми очень небольшими исключениями (например, в отношении флективных парадигм традиционного типа). При наличии списка лексических элементов парадигма дает точные указания для построения ряда флективных форм определенной протяженности. Ясно, однако, что это не представляет решающего значения.

Как раз на синтаксическом уровне интуитивный характер грамматических описаний и недостатки таких описаний становятся особенно очевидными, ибо именно здесь данные нельзя уместить в список определенного размера. Мне представляется, однако, что ввиду интереса современных лингвистов именно к инвентарю элементов, а не к грамматическим правилам, некоторые важные аспекты фонологии вышли из сферы лингвистического исследования, например вопросы типа разбираемых ниже. Дальнейшие замечания об этом см. в EML, а также в кн.: M. Halle, N. Chomsky, Sound pattern of English (в печати, далее — SPE).

[12] В SS я отметил некоторые исключения из этого. В частности, правила Харриса для перехода от морфем к высказываниям можно истолковать как модель порождающей грамматики, а предложенная Хоккетом модель (в соответствии с теорией Маркова) была специально построена в качестве порождающей грамматики предложений.

[13] Чтобы избежать возможных недоразумений, отметим, что данные этого рода релевантны для определения качества грамматики и грамматической теории. Эти дан-

Под а) я имею в виду данные «импрессионистической» фонетики обычного типа, например запись контуров ударения и т. д. В основе категории б) лежат интуитивные оценки «одинаковости — неодинаковости», которые совершенно необходимы для дескриптивной фонологии [например, наблюдение, что в моей нормальной речи *latter* и *ladder* с фонематической точки зрения — идентичны (имеются в виду их фонематические признаки), но *writer* и *rider* — фонематически различны]. Для иллюстрации категории в) я приводил такие примеры, как: 2) *colorless green ideas sleep furiously* «бесцветные зеленые идеи спят бешено»; 3) *furiously sleep ideas green colorless* «бешено спят идеи зеленые бесцветные»; 4) *the child seems sleeping* «ребенок кажется спящим»; 5) *the book seems interesting* «книга кажется интересной» и некоторые другие. Я не в меньшей мере уверен в том, что предложения 2 и 5 построены правильно, а 3 и 4 — неверно, чем я уверен в традиционных фонетических записях (например, в различных вариантах транскрипций *light house keeper's*) или в определенных оценках одинаковости и различия. Под рубрикой г) я разбирал такие образования, как *flying planes can be dangerous* «полеты на самолетах могут быть опасными (или: летящие самолеты могут быть опасными)»; *I found the boy studying in the library* «я нашел, что мальчик занимается в библиотеке (или: я нашел занимающегося мальчика в библиотеке)» и т. д. Примеры категории д) — различны по своему характеру. Так, в этой связи я занимался проблемой грамматического объяснения того факта, что *did you eat the apple, who ate the apple, what did you eat* «Вы съели яблоко?, кто съел яблоко?, что Вы съели?» и т. д. естественно рассматривать как особый тип предложений (в отличие от *you ate the apple* и т. д.), а также проблемой интуитивно очевидной разницы между *the police suspected the man behind the bar* «полиция заподозрила человека за решеткой (или: на скамье подсудимых)»; *...questioned the man behind closed doors* «... допросила человека при закрытых дверях»; *...put the man behind bars* «... бросила человека за решетку». Были подняты многие другие вопросы подобного рода, например, почему *sm5king mén* скорее означает загоревшихся («дымящих») людей, а не людей, которые курят. Что касается целесообразности сегментации и классификации, то при оценке теории морфемного анализа было бы абсурдным не учитывать тот факт, что в 6 [it ended late ([I]ĉndId + léyt], [D] = альвеолярный затвор), несомненно, содержатся, по крайней мере, четыре морфемы, а при определении правомерности теории классов слов не принимать во внимание то, что *boy, horse, justice* в определенном смысле являются словами другого типа по сравнению с *compel, retain, bring*.

Все подобные соображения вполне обычны в традиционной грамматике. Соображения типа а), б), е) ясно сформулированы в современной структурной лингвистике. Так, в основе методологических исследований американских дескриптивистов лежит информация типа с), которая принимается за известную. Если бы кто-либо предложил теорию морфемной сегментации, позволяющую заключить, что 6 содержит две морфемы, этот вывод, очевидно, считался бы достаточным основанием для отвержения самой указанной теории. То же относится к методам (например, к процессам подстановки) обнаружения классов, определения фонем и т. д. Эти методологические исследования (а также обусловливаемые ими споры) становятся совершенно непонятными, если не сделать вполне законного допущения, что они представляют собой попытку точно охарактеризовать то, что частично уже дано интуитивно. Попытки определить «фонему», «морфему» и т. д. предполагают наличие ряда ясных случаев применимости или неприменимости этих терминов, в связи с чем и можно проверить правомерность предлагаемого определения. То же относится к попытке определить «правильно образованные (грамматически отмеченные) предложения в английском языке» (т. е. построить английскую грамматику) или в каком-либо произвольном языке L'. В свете сказанного выше понятно, что речь идет о попытках определить и обобщить факты, лежащие в основе данных, доступных наблюдению, и объясняющие их. Отказ от использования данных типа 1 уничтожил бы лингвистику как отдельную дисциплину в той же мере, в какой отказ от учета чувств и восприятий субъекта уничтожил бы психофизику. В обоих случаях мы пытаемся (хотя весьма различными способами) найти основу для интуитивных суждений, хотя трудность получения надежной и вполне релевантной информации очевидна.

Ясно, что огромное количество данных описанного типа доступно исконным носителям того или иного языка (хотя отсюда не следует, что подобные данные легко выявить). Бессмысленно отказываться от использования таких данных при оценке определенной формулировки ряда правил того или иного вида грамматики (т. е. правил, которые носители языка тем или иным образом усвоили к тому моменту, когда они

ные, однако, не должны использоваться для построения или выбора того или иного вида грамматики *в том плане, как это* вытекает из теории лингвистической структуры. Указанное различие является основным (подробнее см. SS и EML). Так, можно построить общую теорию лингвистической структуры, которая окажется настолько эффективной, что даст возможность посредством определенных данных о языке [ограниченных в рассматриваемом контексте а), б), в)] создать порождающую грамматику этого языка, т. е. получить как раз те данные, которыми располагает ребенок при усвоении языка. Такая процедура является разумной, если целью изучения порождающей грамматики является построение модели определенного рода для изучения языка. Однако при оценке того, насколько указанная теория изучения языка соответствует реальной языковой практике, неизбежно придется принять во внимание данные г), д), е).

достигли способности производить и понимать новые предложения) или принципов, лежащих в основе грамматической структуры вообще.

Мне представляется, что при изучении грамматической структуры именно данным описываемых выше порядков необходимо дать точную характеристику и объяснение а также свести эти данные к некоторому числу общих принципов. Порождающую грамматику можно представить себе как теорию языка, пытающуюся охарактеризовать и объяснить данные этого рода. Эта точка зрения подробно разбирается в SS (например, в §§ 6, 8), в EML и в других работах, и я проиллюстрирую свои мысли еще несколькими примерами.

В случае данных типа 1а) необходимо стараться при помощи порождающей грамматики выявить общие правила, лежащие в основе определенных фонетических наблюдений. Важно показать, как контуры ударения фраз и отдельных слов в английском языке обусловливаются их структурой по НС и сегментными фонемами[14]. Такое исследование должно содержать разбор редукции гласных (как, например, во втором слоге *compensation*, но не *condensation* в моей речи) в терминах НС и структуры слога (ср. EML и SPE). Необходимо также объяснить, почему такие элементы, как *telegraph*, *aristocrat* (в контекстах $\neq\!-\!\neq$, $-\!+y$, $-\!+ic$) и т. д., обладают строго определенным рядом вариантов. Это можно сделать, показав, что указанное явление обусловливается применением независимо мотивированных правил (ср. EML и SPE) и так далее в бесчисленном множестве подобных случаев. Правомерность порождающей грамматики (т. е. возможность выяснения при помощи такой грамматики фактов, лежащих в основе языковой структуры) оценивается в той мере, насколько она позволяет вскрыть, каким образом посредством относительно малого числа простых систематизированных правил объясняется значительное количество таких данных (ср. выше § 1).

В случае данных типа 1в) порождающая грамматика показывает взаимные связи между независимыми суждениями о правильности построения тех или иных структур и формулирует общие правила, на основе которых можно вывести разнообразное множество таких суждений (ср., например, 6). Многочисленные примеры см. в SS, TAS, GEN.

Имеется второй путь изучения данных типа 1. Можно попытаться выяснить объективные экспериментальные методы характеристики этих интуитивных наблюдений. Так, в отношении традиционных фонетических наблюдений типа 1а) можно заняться отысканием объективных акустических или артикуляторных коррелятов тех явлений, которые лингвисту представляются на слух в виде уровня ударения, качества гласных и т. д. В отношении данных типа 1в) можно провести опыты на поведение (behavioral tests), которые по своим результатам будут соответствовать интуитивным суждениям о правильности построения[15].

Таким образом, имеются два подхода к языковым данным. Можно охарактеризовать эти данные как на основе порождающей грамматики, так и при помощи экспериментальной проверки. Эти два подхода не являются, однако, альтернативами. Безусловно, что оба они оправданы, и нам хотелось бы применить их таким образом чтобы они давали сходные результаты. Важно понять, что каждый из этих методов дополняет, но не предопределяет один другого.

Независимо от того, какой метод мы используем, ключ успешной работы заложен в данных, которые стимулируют исследование (в нашем случае — это данные 1[16]). Предположим, например, что кто-либо высказывает эмпирическое суждение о том, что уровень ударения соответствует физической мере интенсивности. Можно, однако, быстро обнаружить, что ударение в таком определении вовсе не соответствует «импрессионистическим» транскрипциям, при помощи которых производится фонетическая запись 1а). Исходя из этого было бы абсурдным заключить, что транскрипции неверны,

[14] См. N. Chomsky, M. Halle, F. Lukoff, On accent and juncture in English, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956. Новая упрощенная и обобщенная трактовка этого материала в связи с общим изучением фонологических процессов содержится в SPE. Частично эти мысли можно найти в EML и (в более раннем варианте) в моем докладе на IV Техасской конференции (1959).

[15] Лингвисты обычно мало занимались этим подходом к языковым данным. Так, даже в отношении 1б), для проверки которого был предложен очень хороший эксперимент (опыт З. Харриса со спаренными высказываниями; см.: Z. Harris, указ. соч., стр. 32 и сл.), в лингвистической литературе нет ни одной работы, посвященной объективной оценке результатов этого опыта, несмотря на тот факт, что отношение совместимости (одинаковости — различия) признаков высказывания считалось (после публикации «Postulates» Блумфилда) краеугольным камнем структурной лингвистики. Нет сомнения, что этот эксперимент (в том виде, в каком он обычно описывается) часто не дает правильных результатов. Были предложены некоторые пути его совершенствования (например, в SS, стр. 96), но они не были систематически изучены.

[16] В определенной мере, конечно, теоретические исследования или практические эксперименты могут привести нас к необходимости отвергнуть первоначальные данные как нерелевантные или неверные. Можно полагать, что в результате систематических исследований можно усовершенствовать наше понимание того, что является естественными границами данной дисциплины и изучение каких явлений может помочь углублению анализа языковой структуры.

что фонология строится на песке и т. д. Отсутствие соответствия в этом случае может просто указывать на то, что избран неправильный эксперимент[17]. Подобным же образом, когда опыт со спаренными высказываниями не дает возможности показать, что *writer* и *rider* с точки зрения их фонемного состава различны в моей речи, это означает, что указанный эксперимент требует пересмотра и усовершенствования. Если тот или иной эксперимент, применяемый для проверки грамматической отмеченности (т. е. 1в), не дает возможности показать требуемое различие между 2 и 5, с одной стороны, и 3 и 4 — с другой, то из этого можно заключить лишь, что указанный эксперимент не является совершенным. Другими словами, мы оцениваем качество и релевантность эксперимента (и порождающей грамматики) в зависимости от того, насколько этот эксперимент соответствует изучаемым данным. Нет никакого труда построить плохую грамматику. В равной степени очень легко поставить плохой эксперимент. Ни то, ни другое не представляет интереса.

§ 4. Мне хотелось бы здесь разобрать некоторые критические замечания в отношении SS. Рассмотрим сначала G Хилла. Хиллу в этой работе удалось показать лишь то, что несколько экспериментов, которые он испробовал, оказались очень плохими. Негативные результаты, полученные Хиллом, с моей точки зрения, не представляют интереса, и я не вижу причин находить эти результаты удивительными[18].

Так, если информатору задать вопрос: «какое из данных предложений является грамматически отмеченным?», не объяснив ему предварительно, как следует понимать этот вопрос, он, конечно, будет считать, что его ответы не представляют никакого интереса для характеристики данных типа 1в). Подобным же образом, если спросить у информатора: «что Вы слышите?», то его ответы вряд ли будут фонетически релевантными [т. е. мало соотнесенными с 1а)]. Если же спросить: «эти предложения — одинаковы или различны?», не указав, что́ мы имеем в виду под этим вопросом, то не следует

---

[17] Ряд неудачных попыток найти нужный эксперимент в конце концов может поставить под сомнение имеющиеся фонетические данные, хотя трудно сказать, когда это оправдано. Так, мы можем обнаружить следующее: то, что фонетист воспринимает как уровень ударения, определяется частично не акустическими закономерностями, а идеальной моделью ударения, которая приписывается высказыванию правилами порождающей грамматики (т. е. фонетист может «слышать» нечто, отсутствующее в полном объеме в звуковой волне, но предусмотренное грамматической структурой звуковой волны, природу которой фонетисту удалось в определенной мере осознать). Мне представляется, что это полностью не исключено в отношении уровней ударения (ср. SPE).

Подобным же образом ряд неудачных попыток получить суждение о том, что 2 и 5 значительно отличаются в определенном отношении от 3 и 4, в конце концов может поколебать нашу уверенность в правильности того или иного суждения, по крайней мере у некоторых говорящих. Вполне допустимо, как мне кажется, что некоторые говорящие на английском языке не осознают разницу между 2 и 5 и подобными им примерами, с одной стороны, и 3, 4 (или *tall the man cigar the smoked black* «высокий *the* человек сигара *the* курил черный» с любой интонацией; ср. G, сноска 4) и т. д., с другой. Такой человек, если он существует, будет иметь не больше успеха в изучении синтаксиса, чем глухой в качестве фонетиста.

[18] Очевидно, Хилл придерживается мнения, что я предложил эти эксперименты как общий критерий грамматической отмеченности или степени грамматической отмеченности. Однако это неверно. С самого начала я разъяснил в SS (стр. 13 [418]), что не предлагаю какого-либо общего эксперимента на поведение. Я утверждал (мимоходом при обсуждении порядка аппроксимации, стр. 16 [419]), что говорящий на английском языке будет рассматривать 3, а не 2 как последовательность несвязанных слов, произнося каждое из них с интонацией законченного целого. При этом говорящий легче вспоминает 2, чем 3, и легче заучивает первый из этих примеров, несмотря на то, что оба они являются для него новыми. Я старался не вводить читателя в заблуждение относительно возможности того, что мои замечания могут представить общий критерий грамматической отмеченности (так, эти замечания неприменимы в случаях 4 и 5). Позднее, на стр. 35—36 [441] я сделал несколько дополнительных замечаний о фонетических признаках, связанных с отклонением высказывания от грамматической отмеченности, причем вовсе не указывал какого-либо общего операционного критерия. В самом деле, мне вообще неизвестны такие критерии.

Между положениями SS и результатами Хилла имеется лишь один разнобой, а именно следующий: в отличие от меня, Хилл обнаружил, что его информаторы не произносили каждое слово в 3 с интонацией законченного целого. Этому, однако, не следует удивляться. В экспериментах, которые проводил Хилл, соответствующие инструкции и установки могут иметь значительное влияние на ответы информаторов. Именно поэтому, между прочим, ни мои замечания, ни комментарии Хилла нельзя серьезно считать описанием процедуры эксперимента. Вывод о «статистической надежности» (G, стр. 7) в связи с такими ни к чему не обязывающими замечаниями показывает лишь непонимание того, что является серьезным научным экспериментом. Во всяком случае вопрос о том, как читается определенная последовательность слов 3 (ведь речь идет только об этом), не представляет такой важности, чтобы по нему можно было проводить длительную дискуссию.

ожидать, что результаты этого эксперимента будут соотносимы с классификацией признаков высказываний как идентичных или различных с точки зрения их фонемной структуры [ср. 1б)]. Отсутствие соответствия в таких случаях ничего не говорит о правомерности наблюдений типа 1а), 1б), 1в); оно просто указывает, как и следовало ожидать заранее, что для получения релевантной информации о сознательных реакциях говорящего необходимы более совершенные средства[19].

Хилл предлагает один эксперимент, который мог бы дать полезные результаты. При этом эксперименте информатору предлагаются два ряда высказываний и задается вопрос, имеется ли в обоих рядах одно и то же формальное соотношение. Хилл считает этот опыт «более структуральным», чем непосредственный эксперимент по проверке грамматической отмеченности, и более подходящим для трансформационного анализа[20]. Насколько я могу понять рассуждение, которое привело к такому выводу, мне кажется, что оно основано на путанице двух порядков. Речь идет прежде всего о природе трансформационных отношений: некоторые ряды, которые Хилл приводит в своем опыте, содержат предложения, связанные друг с другом с точки зрения трансформации, другие же ряды не связаны таким образом. Если Хилл считает указанный эксперимент особенно пригодным для трансформационной грамматики, то это, очевидно, частично объясняется тем, что он неправильно истолковал техническое употребление термина «грамматическая трансформация» в SS, TAS, GEN и в других работах. Хилл употребляет этот термин в значении любого, формально формулируемого отношения между предложениями. Я не думаю, что указанный термин когда-либо употреблялся в таком значении.

Во-вторых, в работе Хилла вполне очевидна путаница в отношении между терминами «порождающая грамматика» и «трансформационная грамматика». Хилл, очевидно, отождествляет обе эти грамматики. Сходным же образом Болинджер считает, что замечания Якобсона о грамматической отмеченности (я вернусь к ним ниже) имеют особое значение для трансформации (см. LSLE, стр. 377). На самом деле ни замечания Хилла, ни замечания Якобсона не имеют прямого отношения к трансформационной модели порождающей грамматики. Они скорее относятся к порождающей грамматике как таковой, т. е. к построению точных грамматик с эксплицитными следствиями о правильности построения высказываний. Изучение грамматической отмеченности предложений никак не совместимо со взглядом, что определенная трансформационная теория, предложенная в SS, GEN и в других работах, является самой перспективной специфической чертой порождающих грамматик. Этой проблемой скорее должны заниматься те исследователи, которые интересуются синтаксисом в традиционном смысле или вопросами, разбираемыми выше в § 2.

Следует, наконец, пояснить еще одно критическое замечание в адрес трансформационной грамматики, даваемое в G. Хилл находится под впечатлением, что исследователи трансформационных моделей для порождающей грамматики рассматривают предложения в основном как цепочки напечатанных слов и что мы не согласны с тем, что «язык в первую очередь представляет собой звуковую систему и лишь во вторую — графическую». По его мнению, этим можно «объяснить отрицательное отношение многих структуралистов» к трансформационному анализу. В SS, GEN и в других работах грамматика рассматривается как состоящая из двух компонентов: синтаксического и морфофонемного. Первый порождает бесконечный класс цепочек минимальных синтаксически функционирующих единиц. Каждая такая цепочка, кроме того, автоматически получает структурное описание. Морфофонемный компонент грамматики в конечном итоге превращает каждый элемент, даваемый как выходной продукт (output) синтаксического компонента, в фонетическую репрезентацию высказывания. Как SS, так и GEN посвящены главным образом синтаксическому компоненту. С другой стороны, ряд исследований был посвящен морфофонемному компоненту порождающей трансфор-

---

[19] Это особенно отмечается в работе: M a c l a y, S l e a t o r, Responses to language. Judgements of grammaticalness, IJAL, XXX, 1960, стр. 281. Опыты указанных авторов, очевидно, дали лучшие и более релевантные результаты, чем те, которые описывает Хилл. В своей работе «Language, purposive behavior and evolution» (1958, мимеогр. изд.) Э. Леннеберг описывает опыт по проверке грамматической отмеченности примера 2, а также предложений, получаемых при произвольных перестановках слов в этом примере. Опыт Леннеберга, проводившийся со студентами Массачусетского технологического института, предварительно получившими соответствующие инструкции (указанные в его работе), дал ожидаемые результаты, полностью совпадающие у всех информаторов.

[20] Следует отметить, что этот эксперимент (в том виде, в каком он был проведен) пока не оказался полезным. Так, он не дает возможности ответить на вопрос, какое из двух предложений (*the child is sleeping*, *the child seems sleeping* «ребенок спит, ребенок кажется спящим») следует отвергнуть как отклоняющееся от правильного построения. Далее, этот опыт не позволяет, как мне кажется, делать обобщения о таких различиях, как 2—3. Возможно, однако, что этот опыт поддается усовершенствованию. Вообще указанный эксперимент следует рассматривать как один из целой серии опытов, на основе которых, возможно, удастся дать определенную характеристику грамматической отмеченности.

мационной грамматики [21]. Однако тот факт, что выходным продуктом порождающей грамматики является репрезентация речи, вполне ясно изложен в SS (например, на стр. 46) и в GEN[22].

Якобсон в своей BVGM также указывает на неудовлетворительную интерпретацию в SS таких примеров, как 6) *colorless green ideas sleep furiously*; 7) *furiously sleep ideas green colorless*.

Эти критические замечания (положительно оцененные в LSLE Болинджера) я нахожу весьма любопытными и загадочными. Критика Якобсона в отношении этих примеров, а также его замечания о грамматической отмеченности и о степени грамматической правильности вообще, как мне кажется, вполне поддерживают мои взгляды, высказанные в SS — в определенной части эти замечания представляют собой просто пересказ положений SS с использованием слегка измененной терминологии. Поэтому я считаю, что Якобсон и Болинджер абсолютно неверно истолковали точку зрения, изложенную в SS.

В SS примеры 6 и 7 использовались для иллюстрации бесполезности: а) поисков семантически обоснованного определения «грамматической отмеченности» или б) попытки определить грамматическую отмеченность в терминах порядка аппроксимации. Так, 6, но не 7, безусловно, является правильно построенным предложением (или, по крайней мере, в большей степени, чем 7), хотя а) ни 6, ни 7 не являются «значимыми» (meaningful) в каком-либо смысле, независимом от грамматической структуры, и б) оба предложения не дифференцируются в терминах статистического порядка аппроксимации. Те же примеры можно было бы использовать для иллюстрации невозможности: в) определить «грамматическую отмеченность» в терминах модели «грамматически правильных морфем», ибо 8 имеет ту же модель, что и 6, а 9 — ту же модель, что и 7. Считать, что морфемы *-ly* и т. д. в 6 и 8 — различны, было бы равносильно априорному заключению по вопросу, требующему исследования: 8) *harmless seem dogs young friendly* (— *less* — — *s* — — *ly*) «Безобидными кажутся собаки молодые дружественные»; 9) *friendly young dogs seem harmless* (— *ly* — — *s* — — *less*) «Дружественные молодые собаки кажутся безобидными».

Якобсон указывает, что мы можем различить грамматическую структуру 6 (но не 7) и что «эти грамматические отношения создают значимое предложение». Он также замечает, что только 6 может быть использовано в стихе [23], что мы можем поставить вопросы к этому предложению и различить в нем некоторые метафоры и т. д. Все эти замечания лишь подтверждают положение SS о том, что именно 6, а не 7 является

---

[21] Особенно см. M. H a l l e, Sound pattern of Russian, The Hague, 1960. Этот вопрос является центральным также в моем «Transformational basis for syntax» («Proceedings of the IV Texas conference...», ed. by A. A. Hill — в печати). Та же проблема обсуждается в одном из разделов TAS.

[22] Очевидно, мое замечание в SS привело Хилла к заключению, что трансформационная грамматика имеет дело прежде всего с графикой, а не с речью. Это замечание следующее: «В прошлом языковом опыте говорящего слова *whale* „кит“ и *of* могут иметь одинаковую (т. е. нулевую) частотность появления в контексте *I saw a fragile* — „я видел хрупкого — “, и все же говорящий немедленно заявит, что лишь первая из этих подстановок приводит к грамматически правильному предложению» (стр. 16 [419]). Смысл указанного замечания сводился к тому, что оценка правильности построения предложений не может основываться на статистическом порядке аппроксимации. Это вполне очевидно и вряд ли заслуживает большего внимания, чем уделено в моем беглом замечании. Правда, приведенная формулировка требует определенной квалификации читателя. То же можно было бы сформулировать и иначе. Так, можно было бы сказать, что в контексте Σ (где Σ представляет собой фонетическую транскрипцию *I saw a fragile*, произнесенного с законченной интонацией и т. д.) /wéyl/ будет истолковано как знакомый лексический элемент *whale*, /əv/ с ударением 4 будет отвергнуто, а с ударением 1 либо рассмотрено как новый незнакомый лексический элемент, или как форма цитаты *of*. Очевидно, к этому можно добавить и другие оттенки значения. Мне кажется, однако, что точность и строгость анализа более полезны не в разборе подобных вопросов, а в других областях.

[23] Хилл, напротив, считает, что 7, а не 6 могло бы быть строкой современной поэзии (G, стр. 4). Как Хилл, так и Якобсон ссылаются на письменный язык поэзии для доказательства этих (противоположных) тезисов. Однако вопрос о том, встречается ли последовательность слов в стихе, не имеет никакого значения, ибо совершенно ясно, что отклонение от правил построения не только терпимо (как в прозе, так и в поэзии), но может с успехом применяться как стилистический прием (ниже мы вернемся к этому вопросу). Следует отметить, что наше замечание никак не является новым наблюдением; ср., например, E m p s o n, Seven types of ambiguity (Meridian), стр. 34: «Требования стихотворного размера дают возможность поэту употребить слова и выражения, не являющиеся обычными в разговорной речи, так что в этих случаях читатель должен вспомнить и сопоставить различные сходные образования в разговорном языке, оценивая вероятность каждого из них в зависимости от их близости к рассматриваемому случаю. Именно поэтому поэзия может быть более компактной (хотя внешне и менее точной), чем проза. Именно поэтому невнимание поэта к современному разговорному стилю... ведет к таким пагубным результатам...».

грамматически отмеченным и что определенная значимость этого предложения может формулироваться лишь на основе его независимо различаемой грамматической структуры. Тот факт, что независимо различаемые «грамматические отношения создают значимое предложение», вполне согласуется с утверждением SS о том, что только на основе значимости высказывания нельзя заключить о его грамматической отмеченности. Если возражать против этого положения, то необходимо будет признать, что имеется абсолютный семантический признак «значимость», который можно приписать высказываниям совершенно независимо от рассмотрения их грамматической структуры (можно показать, что этот признак применим к 6, но не к 7). Трудно поверить, однако, что кто-либо серьезно может придерживаться этого взгляда.

Из рассмотрения таких примеров, как 6, 7 (и многих других примеров различного рода; ср. SS, § 9), вытекает, что восприятие грамматических отношений в предложении не связано с априорной и независимой идентификацией семантических свойств и что изучение грамматической структуры совершенно независимо от значения. Далее, как отмечается в SS (стр. 101): «изучение значения настолько осложнено (даже после определения языковых элементов — носителей значения и их отношений), что любая попытка изучать значение независимо от такого определения исключается[24]. Иными словами, если нам даны какой-то язык и его формальные средства, мы можем и должны изучать семантическую функцию последних (как, например, это делает Якобсон в „Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre", TCLP, 6, 1936), но мы не можем, очевидно, найти абсолютных семантических единиц, известных до построения грамматики и используемых для того, чтобы тем или иным образом определить грамматические величины».

Замечания Якобсона не дают повода для пересмотра указанных выше выводов. Якобсон заявляет, что, признав предложение грамматически отмеченным и определив его грамматические отношения, говорящий может истолковать его; для этого следует учесть, как в данном конкретном случае функционируют определенные формальные элементы и конструкции. Якобсон отмечает, что вообще легче подобрать то или иное объяснение грамматически отмеченной последовательности (по сравнению с грамматически неотмеченной). Такая точка зрения вполне совпадает, однако, с концепцией, сформулированной в SS[25].

В этой связи мы можем обратиться к рассмотрению того, что Болинджер называет семантической основой трансформационной грамматики (LSLE, стр. 377). Он утверждает, что «если известно значение *seem*, мы можем с некоторой уверенностью предсказать, что образование* *He is seeming* мало вероятно». При определенной интерпретации это замечание совершенно правильно. Можно было бы также утверждать, что, зная значение *seem*, можно диагностировать появление этого элемента в контексте *I saw — boy*, или, зная значение *in*, можно предсказать неотмеченность *I saw in boy* и т. д.[26]. Однако подобные допущения являются целесообразными лишь в том случае, когда мы имеем дело с определенной характеристикой значения *seem*, *in* и т. д. безотносительно к их грамматической функции, лишь на основе которой можно предсказать функцию значения[27]. Если же этого нет, то утверждение Болинджера сводится к наблюдению (выраженному весьма сбивчиво), согласно которому *seem* не встречается в длительной форме (progressive). В общем мне представляется, что долгий спор о зависимости грамматических категорий от значения не выходит за пределы словопрений: никто еще не привел убедительных доказательств важности такой зависимости.

В противовес SS Якобсон также считает, что понятие «степень отмеченности»— неприемлемо. Однако здесь, по моему мнению, вопрос лишь в терминологии. Якобсон признает (BVMG, последний параграф), что имеется определенная шкала «стирания»

[24] В исследованиях, посвященных значению, это положение считается аксиомой. Ср., например, Z i f f, Semantic analysis, Ithaca, 1960.

[25] Темпоральные усложнения этого описания не следует принимать слишком буквально. Я считаю, что разумная апперцепционная модель должна давать возможность идентифицировать грамматическую структуру независимо от семантических соображений (то же относится и к модели изучения языка). Сам по себе этот вопрос — очень широкий, и я здесь не буду входить в подробности. Мне хотелось бы только подчеркнуть, что те, кто считает семантику в том или ином смысле основой для грамматики, очевидно, не отдают себе отчет в том, насколько экстремистским и неправдоподобным является их утверждение. Если следовать указанной концепции, то получается, что имеются абсолютные семантические величины, идентифицируемые в шумах независимо от присущей им грамматической структуры (в частности, от лексических элементов). Возможно, что здесь имеется в виду менее широкое утверждение. Однако, насколько мне известно, таковое никогда ясно не формулировалось.

[26] Выражение «вероятность встречаемости» часто используется вместо такого узкоспециального термина, как «грамматическая отмеченность». Использование этого выражения имеет видимость объективности, которая, однако, вводит нас в заблуждение. Практически нельзя предсказать, что́ именно вероятно в речи.

[27] Следует подчеркнуть что в исследованиях, посвященных значению, аргументация обычно обратна указанной. Так, нередко утверждают, что знание, зрение и т. д. вовсе не являются теми процессами, к которым применимо известное правило: глаголы *know*, *see* (подобно *seem*) в своих обычных значениях, как правило, не встречаются в длительной форме.

корреляции между «синтаксическими формами и выражаемыми ими реляционными понятиями»; он также настаивает на различении буквального и переносного употребления. Однако именно такие соображения и обусловливают изучение отклонений от отмеченности, против чего Якобсон возражает. Вопрос состоит лишь в том, является ли изучение подобных проблем естественным продолжением грамматических исследований (т. е. в какой мере соображения, важные для изучения принципов построения предложений, могут дать систематическое объяснение подобных явлений). Я считаю, что в определенной мере это возможно; и изучение степеней отмеченности (или, если хотите, шкалы «стирания» корреляции синтаксических форм и выражаемых ими реляционных понятий) является попыткой показать, как простое обобщение некоторых привычных понятий может способствовать уяснению самих указанных проблем.

§ 5. В связи с большими недоразумениями в вопросах терминологии мне хотелось бы подчеркнуть, что я использую термины «грамматическая отмеченность» и «степень отмеченности» в узко специальном смысле (хотя и связанном в той или иной мере с обычным). В частности, из утверждений, что предложение является «полуотмеченным» или отклоняется от грамматической нормы, вовсе не следует, что такое предложение «предосудительно» (BVGM, стр. 144) или что его употребление исключается и запрещается. Для этого, насколько я понимаю, нет никаких «онтологических» оснований (LSLE, стр. 377, BVGM, стр. 144), за исключением тех, которые отражены в грамматических категориях и подкатегориях. Использование предложения, которое в той или иной мере является грамматически полуотмеченным, не более предосудительно, чем использование трансформа, далеко отошедшего от своего ядра. В обоих случаях мы делаем попытку произвести углубленный анализ структуры предложения; цель такого анализа в конечном итоге сводится к тому, чтобы оправдать выводы, полученные на основе менее тщательного изучения использования и интерпретации высказываний. Есть случаи, когда употребление предложений, отклоняющихся по своей грамматической структуре от отмеченных, вполне уместно. Ср., например, такие фразы, как *a grief ago* у Д. Томаса [28], или ироническое выражение Веблена *perform leisure*. В этих и в многочисленных подобных случаях определенный стилистический эффект достигается именно отклонением от грамматической отмеченности.

При анализе высказывания, грамматически отклоняющегося от отмеченного, мы пытаемся интерпретировать его, опираясь на все те признаки грамматической структуры, которые сохраняются в этом высказывании, и на все аналогии его с совершенно правильно построенными предложениями. Интересно в связи с этим, что полностью отмеченные высказывания не нуждаются в какой-либо интерпретации (именно поэтому хорошо подобранные примеры отклонения от грамматической нормы могут нередко оказаться более полезными при анализе; см. сноску 23). При изучении грамматически полуотмеченных высказываний часто стараются дать различные интерпретации в специально подобранных контекстах, что и дает основание заключать о том, что эти примеры не отклоняются от грамматической нормы. Такой подход бьет совершенно мимо цели, так как затушевывает важное различие между классом высказываний, для которых нет необходимости в искусственной интерпретации на основе аналогий, и высказываниями, которые можно истолковать лишь посредством отношений к верно подобранным элементам того же класса.

Так, например, когда Якобсон замечает (BVGM, стр. 144), что *golf plays John* можно было бы считать вполне ясным высказыванием, он совершенно прав. Но когда он заключает, что это высказывание в такой же мере соответствует грамматическим правилам английского языка, что и *John plays golf*, то он слишком суживает понятие «грамматическое правило», исключая возможность принципиально разграничить указанные две фразы. Заключение о ясности первого из этих высказываний основывается на ряде последовательных операций, которые мы производим при его интерпретации. Первой из таких операций является признание факта, что эта фраза отклоняется от определенного грамматического правила английского языка, в данном случае от избирательного правила, определяющего грамматические категории подлежащего и дополнения при глаголе *play*. Подобные операции совершенно не нужны в отношении неотклоняющейся (и, следовательно, не представляющей интереса) фразы *John plays golf*.

Я вовсе, однако, не хочу сказать, что каждое выражение, представляющее трудности интерпретации или употребленное в переносном смысле, является грамматически полуотмеченным (или наоборот). Основное заключается в том, в какой степени особенности употребления и понимания высказываний можно выяснить путем анализа и обобщения грамматических понятий. В приведенном выше случае, как и во многих других, мне представляется это возможным. В связи с этим было бы совершенно произвольным и нецелесообразным утверждать, что теория грамматической структуры ограничивается изучением таких относительно неважных вопросов, как согласование, флективно-отмеченные категории и т. д.[29].

[28] Один из примеров, проанализированных в интересной работе Циффа, посвященной отклонению от грамматической отмеченности [«On understanding „understanding"» (мимеогр. изд.— 1960)].

[29] Отметим, что если мы таким образом произвольно ограничим изучение грамматики, то даже не сможем объяснить различие между 6 и 9, с одной стороны, и 7, 8— с другой, ибо это различие выражается лишь в терминах категорий, которые устанавливаются на основе определенных синтаксических соображений, далеко выходящих

Короче говоря, мне не кажется, что игнорировать различия подкатегорий, входящих в ряд *John plays golf*, *golf plays John*, *John plays and*, более правомерно, чем соответственно видеть человека своими глазами, на абстрактной картине и в чернильной кляксе. Тот факт, что мы можем дать определенную интерпретацию во втором случае и даже иногда в третьем (используя при этом все имеющиеся возможности), не стирает различий между этими тремя слоями.

Подобные примеры заставляют нас изучать степени грамматической отмеченности. В дополнение к данным 1 мы можем попытаться, например, объяснить тот факт, что такие фразы, как 10, не находятся на столь же крайнем полюсе «нарушения» грамматических правил, как 11, хотя подобные предложения, строго говоря, не соответствуют правилам языка в той же мере, как 12: 10) *a grief ago*; *perform leisure*; *golf plays John*; *colorless green ideas sleep furiously*; *misery loves company*; *John frightens sincerity*; *what did you do to the book*, *understand it?* «горе тому назад; совершать отдых; гольф играет в Джона; бесцветные зеленые идеи спят бешено; несчастье любит компанию; Джон пугает искренность; что ты сделал с этой книгой, понимаешь ее?»; 11) *a the ago*; *perform compel*; *golf plays aggressive*; *furiously sleep ideas green colorless*; *abundant loves company*; *John sincerity frightens*; *what did you do to the book*, *justice it?* «*a the* тому назад; совершить заставить; гольф играет агрессивный; бешено спят идеи зеленые бесцветные; обильный любит компанию; Джон искренность пугает; что ты сделал с книгой, правосудие ее?»; 12) *a year ago*; *perform the task*; *John plays golf*; *revolutionary new ideas appear infrequently*; *John loves company*; *sincerity frightens John*; *what did you do to the book*, *bite it?* «год тому назад; исполнить задание; Джон играет в гольф; революционные новые идеи появляются редко; Джон любит компанию; искренность пугает Джона; что ты сделал с этой книгой, кусаешь ее?».

Здесь возможны бесчисленные градации грамматической отмеченности. Можно попытаться выразить эти отличия в терминах порождающей грамматики и (что гораздо важнее) найти определенное объяснение существования указанных различий (путем изучения порождающей грамматики).

Возникает вопрос: каковы те процедуры, посредством которых грамматика может дать произвольной последовательности фонов структурное описание, указывающее на степень ее грамматической отмеченности, на степень отклонения от грамматической регулярности и на сам вид отклонения (ср. § 1). Это вполне естественный вопрос в рамках § 2.

Допустим, что у нас имеется грамматика, порождающая бесконечный ряд высказываний со структурным описанием. Назовем единицы, в терминах которых эти высказывания репрезентируются нейтральным термином «формативы» (термин предложен Болинджером). Предположим далее, что на уровне m у нас имеется иерархия категорий формативов со следующей структурой. На уровне 1 у нас имеется одна категория, обозначаемая C_1^1 (категория всех формативов). На уровне 2 — категории, обозначаемые $C_1^2, \ldots, C_{n_2}^2$. На уровне 3 нам даны категории $C_1^3, \ldots, C_{n_3}^3$, где $n_3 < n_2$ и т.д. вплоть до уровня m с категориями $C_1^m, \ldots, C_{n_m}^m$ ($1 < n_2 < \ldots < n_m$). На каждом уровне категории являются полными (exhaustive) в том смысле, что каждый форматив принадлежит по крайней мере одной из них, а иногда и более чем одной категории (в случае грамматической омонимии). Можно также обусловить, чтобы каждый уровень представлял собой более мелкую градацию по сравнению с предыдущим, т.е. подразделение категорий предыдущего уровня на подкатегории.

Допустим, что категории уровня m — это мельчайшие категории, используемые в правилах порождающей грамматики, т.е. члены C_1^m взаимозаменяемы в ряду порождаемых высказываний. При этом многие из них могут содержать лишь один форматив.

Для большей конкретности укажу, что под формативами я имею в виду английские слова [30]. Предположим, что мы имеем дело с иерархией из трех уровней. Тогда C_1^1 = класс всех слов. Пусть C_1^2 = существительные, C_2^2 = глаголы, C_3^2 = прилагательные, C_4^2 = прочие слова. Пусть, $C_1^3, \ldots C_j^3$ будут подкатегориями глаголов (только транзитивные формы, глаголы с неодушевленными дополнениями и т.д.), подкатегориями существительных и т.д. Тогда каждую последовательность слов можно

за пределы вопроса флективности. Если же мы посредством правил (построенных с использованием таких синтаксических категорий, как прилагательное, существительное и т. д.) можем различить 6 от 9, то подобным же образом на основе правил, учитывающих синтаксические подкатегории одушевленного существительного и т. д., можно различить *John plays golf* от *golf plays John*. Здесь мы имеем дело лишь с более мелкой разновидностью привычных категорий. Я не вижу между ними никакой принципиальной разницы. Для отделения друг от друга таких категорий, как существительное, прилагательное и т. д., никогда не предлагалась какая-либо общая процедура, которая в равной степени была бы применима к более мелким подкатегориям. Я возвращусь к этому вопросу ниже.

[30] Это — только иллюстративный пример.

репрезентировать соответственно последовательностью категорий первого, второго и третьего уровней, к которым эти слова принадлежат. Так, *misery loves company* репрезентируется C_1^1, C_1^1, C_1^1 — на первом уровне, C_1^2, C_2^2, C_1^2 — (т.е. *CFC*) на втором уровне, $C_{\text{абстр}}$ Γ_k $C_{\text{абстр}}$ — на третьем уровне (т.е. указанные элементы выражают соответствующие члены C_i^3). Согласно одному из избирательных правил порождающих грамматик (т.е., по трансформационной модели SS, одному из ограниченных контекстом правил составляющей структуры), Γ_k встречается только с одушевленными предметами. Таким образом, высказывание *misery loves company* не будет порождено грамматикой, а *John loves company* будет. Однако пример *misery loves company* на втором уровне имеет репрезентацию, общую с порожденным высказыванием, а именно *CFC*. Поэтому мы называем это предложение полуотмеченным на уровне 2. Что же касается *abundant loves company*, то это предложение лишь на уровне 1 имеет репрезентацию, общую с порожденным высказыванием, и потому называется грамматически неотмеченным.

Даже не вдаваясь в детали, вполне ясно, что подобным же образом мы можем приписать степень грамматической отмеченности любой последовательности формативов в случае, когда порождающая грамматика заменяется иерархией категорий. Степень грамматической отмеченности — это мера отдаления высказывания от порожденного ряда абсолютно правильно построенных предложений; при этом общая величина, репрезентирующая последовательность категорий, показывает, в каких отношениях изучаемое высказывание отклоняется от нормы[31]. Чем больше порожденный язык ограничивается категориями уровня m (т. е. чем у́же избирательные ограничения), тем более совершенной является градация высказываний по степеням грамматической отмеченности. В процессе уточнения грамматического описания (т. е. при детальном изучении ограничений встречаемости в естественных предложениях) не «выпадает» ни одно высказывание. Подвергая анализу иерархию категорий, мы просто производим более мелкую градацию высказываний по степеням грамматической отмеченности и, таким образом, увеличиваем способность грамматики отмечать различия между высказываниями[32].

Таким образом, при помощи порождающей грамматики, заменяемой иерархией категорий, можно приписать определенную степень грамматической отмеченности любой последовательности нормативов. Если бы удалось показать, каким образом иерархию категорий можно получить на основе порождающей грамматики, то лишь эта последняя давала бы возможность приписывать степени грамматической отмеченности. Имеются несколько способов осуществления этой задачи.

Прежде всего, следует учесть, что трансформационная грамматика на промежуточных уровнях репрезентации пользуется такими символами, как «существительное, прилагательное, ...» (в добавление к более узким подкатегориям), даже в тех случаях, если назначением такой грамматики является порождение узкого класса грамматически полностью отмеченных предложений (ибо эти более широкие категории вносят определенное упрощение в область трансформационных правил). Таким образом, вполне возможно, что иерархия категорий будет включаться в правила поэлементной структуры трансформационной грамматики. При этом мы можем иметь дело с релевантной иерархией или с определенным видом приближения к построенной таковой[33].

Построение иерархии категорий на основе ряда высказываний можно представить себе и в другом плане. Мы имеем в виду определение анализа на оптимальную категорию k при произвольной величине k. Предположим для простоты, что у нас имеется набор предложений (corpus) одинаковой длины. Пусть C_1, ..., C_k будут (возможно, налагающимися друг на друга) категориями, дающими исчерпывающую классификацию формативов, которые встречаются в инвентаре предложений. Тогда каждое предложение репрезентируется, по крайней мере, одной категориальной последовательностью. Каждая такая категориальная последовательность, в свою очередь, является

---

[31] Таким путем можно репрезентировать лишь одно «измерение» отклонения от грамматической отмеченности. Есть и другие способы. Ср., например, SS, § 5, сноску 2. В случаях, не вызывающих затруднений, можно дать более дробную градацию высказываний (здесь, однако, я не буду входить в такое рассмотрение).

[32] Вполне естественно задать вопрос: где должен кончиться анализ категориальных иерархий? Это, однако, не является вполне очевидным. По мере того, как уточняются грамматические правила, мы можем обнаружить, что наша грамматика сливается с так называемой логической грамматикой. Это означает, что мы изучаем небольшие налагающиеся друг на друга категории формативов, причем каждую категорию в настоящее время (при наличии грамматики) мы можем признать определенным семантическим признаком. Если при серьезном изучении проблемы приведенное положение окажется правильным, то тем интереснее. Мы сможем, таким образом, заключить, что изучение принципов построения предложений действительно ведет к все более глубокому осознанию употребления и понимания высказываний (при их непрерывном анализе).

[33] Эта возможность вытекает из некоторых замечаний Р. Б. Лиза.

репрезентацией многих последовательностей формативов, в частности таких, которые могут и не оказаться в первоначальном инвентаре примеров. Таким образом, выбор категории k расширяет наш набор примеров и превращает его в ряд предложений, которые в терминах этих категорий неотличимы от предложений первоначального инвентаря.

Анализ на оптимальную категорию k естественно определить как такой, который минимально расширяет сам инвентарь примеров, т. е. наилучшим образом отражает отношения заменяемости элементов в пределах этого инвентаря. Если для каждой величины k провести анализ на оптимальную категорию k, то этот анализ можно избрать как уровень иерархии (в случае, если он дает значительное преимущество перед анализом на оптимальные категории $k - l$, но не уступает анализу на оптимальные категории $k + l$). Легко убедиться, что имеются случаи, когда при анализе на оптимальную категорию k получаются накладывающиеся друг на друга классы (омонимы) [34].

При этом можно отказаться от ограничения, согласно которому все предложения должны быть одинаковой длины, а набор примеров должен быть определенной протяженности (finite). При уточнении подобных положений [35] открывается еще одна возможность — на основе самой порождающей грамматики подразделять высказывания, не порождаемые непосредственно, по степеням отмеченности. Это достигается посредством категориальной иерархии, которая получается при анализе порожденных предложений.

Указанный метод — безусловно схематичен и сильно упрощен. Тем не менее такой подход к проблеме определения синтаксических категорий имеет много выгодных особенностей и важных преимуществ по сравнению с другими методами (например, по сравнению с процедурой подстановок) [36], которые описывались в специальной литературе (подробнее см. LSLT). В частности, указанный подход открывает возможность построения иерархии категорий и подкатегорий и позволяет дать обоснованное общее решение проблемы распознавания омонимов. Этот метод разбирается здесь лишь как пример того направления, в котором можно было бы продолжить исследования отклонений от грамматической отмеченности.

Перевел с английского *М. М. Маковский*

---

[34] В общем вполне естественно, что перекрывание категорий ведет к расширению ряда порожденных предложений, ибо сами категории увеличиваются. Поэтому вообще анализ расчлененных категорий (на основе изложенной выше оценочной процедуры) следует предпочитать анализу равного числа перекрывающихся категорий. Предположим, однако, что перекрываются настоящие омонимы, например категории C и F в таких элементах, как /riyd/ (*read, reed*) и т. д. Тогда открывается возможность двух репрезентаций предложений *read the book* (*ГАС* или *САС*), *the reed looks tall* (*АСГП* или *АГГП*) и т. д. Ср. единственный способ репрезентации этих предложений (*ГАС* и *АГГП*), если /riyd/ означает F. В каждом случае мы можем избрать ту репрезентацию, которая (безотносительно к прочим условиям) обусловливается сопоставлением с другими предложениями (в приведенных примерах — *ГАС* и *АСГП*). Таким образом, накладывая категории друг на друга, можно сократить число порожденных предложений. Следовательно, наложение категорий друг на друга допустимо в том случае, когда выигрыш, получаемый таким путем, значительно превосходит «убыток» (разрастание протяженности категорий). Необходимо исследовать вопрос о том, можно ли определить омонимы как элементы, перекрывающиеся в оптимальном ряду категорий на определенном уровне. Некоторые данные в пользу такого допущения содержатся в LSLT.

[35] Этот подход к градации степеней грамматической отмеченности был описан более подробно в LSLT и с некоторыми подтверждающими эмпирическими данными в лекции в Лингвистическом институте в Чикаго в 1954 г., а также в прениях на IV Техасской конференции.

[36] Часто предлагается, чтобы категории определялись в терминах тех или иных рядов флективных морфем. Однако при отсутствии общих правил выбора релевантных рядов (такие правила, насколько мне известно, никогда не формулировались) подобные определения являются совершенно ad hoc. В этих случаях обычно желают избежать необходимости найти определенную основу разбиения на категории.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1962

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

РАЗВИТИЕ ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

(Обзор литературы)*

Понимание языка как функциональной системы, находящейся в развитии, легло в основу созданной Пражским лингвистическим кружком новой дисциплины — диахронической фонологии [1], разработка которой сняла положение Ф. де Соссюра о невозможности системности в диахронии [2]. Изучение эволюции языка проводилось, таким образом, в связи с исследованием внутренних структурных закономерностей, определяемых его функционированием как средством общения. Причину каждого отдельного изменения следует искать в развитии всей фонологической системы, что определяется в конечном счете нуждами общения данного языкового коллектива, «необходимостью обеспечения взаимного понимания путем сохранения требующихся для этого фонематических противопоставлений» [3]. Последнее предполагает по возможности полное использование всех фонологических возможностей, заполнение всех «клеток» фонологической модели, тенденцию восстановления равновесия системы и заполнения в ней лакун. Этот принцип, получивший наиболее полное выражение в работах А. Мартине, имеет большое теоретическое значение, поскольку предполагает определенные причинные связи между языковой субстанцией и языковыми отношениями [4].

Еще Ф. де Соссюр говорил, что значимость каждого элемента системы меняется с изменением любого другого члена и они все «находятся в обоюдном равновесии, согласно определенным правилам» [5]. Отношения между значимостями устанавливаются на уровне чистых отношений: «понятие значимости в конечном счете покрывает понятия и конкретной единицы, и сущности, и реальности» [6]. Так, от замены одной цифры в многозначном числе само это число изменится и тем самым изменится значимость каждой входящей в него цифры, хотя внешне они останутся те же. В языке связи осуществляются иначе. В системе из четырех велярных $k : g = x : \gamma$ фонема g иная, чем в троичной системе $k : g = x$: ноль; однако здесь меняется не только значимость, поскольку возникает фонетическая тенденция перехода g в γ. В общеславянском имелась система из трех велярных с лакуной на месте звонкого спиранта [7] (она сохраняется в польском и сербскохорватском). Фонетическая тенденция спирантизации g дает систему с новой лакуной k : ноль $= x : \gamma$, которая сохраняется только в литературном украинском; в чешском лакуна заполнена в результате ассимиляции g заимствованных слов. Фонетическая близость x и γ вызывает у звонкого коррелята тенденцию к исчезновению, а x реализуется в начале слова как kh (в верхнелужицком), причем связь этих двух изменений подтверждается лингвистической географией. Две фонемы, как бы столкнувшись в своих антропофонических реализациях, расходятся в разных направлениях. Здесь мы усматриваем единство структурных и антропофонических причин фонетических изменений. Именно в этом вопросе идет наиболее острая борьба мнений, характерным примером которой может служить полемика А. Мартине с Л. Ельмслевом по докладу последнего о понятии передвижений [8].

---

* Мы берем основную литературу, вышедшую после 1955 г., когда появилась обобщающая работа А. Мартине (A. Martinet, Économie des changements phonétiques, Berne, 1955). Объем статьи не позволяет реферировать конкретные исследования, не ставящие себе целью разрешение общетеоретических задач.

[1] См. «Thèse», TCLP, 1, 1929; русский перевод «Тезисы Пражского лингвистического кружка», в кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях, II, М., 1960, стр. 69 и сл.

[2] См. кн. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», М., 1960.

[3] См. A. Martinet, указ. соч., стр. 49.

[4] Ср. H. Kurath, Phonemics and phonics in historical phonology, «American speech», XXXVI, 2, Burlington, 1961, стр. 93—100.

[5] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1938, стр. 111.

[6] Там же.

[7] См. Z. Stieber, Le développement de χ (ch) dans les langues slaves, BSLP, LVI, 1, 1961, стр. XXI (краткое изложение доклада на заседании Парижского лингвистического общества).

[8] См. прения по докладу Л. Ельмслева «Les mutations linguistiques. Essai de synthèse et de mise au point», BSLP, LVI, 1,

В конкретных историко-фонологических исследованиях после 1955 г. найден ряд новых примеров взаимосвязанных структурных изменений, обусловленных заполнением лакун в фонологической системе языка.

Приведем некоторые из них. В звольском диалекте (Нидерланды) в X—XII вв. наблюдается общее понижение кратких гласных: *i*, *e*, *y*, *ø*, *u*, *o* переходят соответственно в *e*, *ę*, *ø*, *œ*, *o*, *g*. Образовавшаяся лакуна в области узких гласных была заполнена в XIII—XV вв. в результате общего повышения долгих гласных, после которого *e*, *ø*, *o*, дали соответственно *i*, *y*, *u*. В том же диалекте в XIX в. образуется лакуна на месте долгого *a* — существует противопоставление [æ:]: [æ:]; однако *a* не противопоставляется долгому *a*, которое возникает в результате заимствований из литературного языка [9]. В качестве другого примера взаимосвязанных изменений можно привести развитие дифтонгов в средневерхненемецком, в баварских диалектах. В XI в. здесь различаются [i:] и дифтонг [ei]; в XII — XIII вв. [i:] дифтонгизируется и понижается в [ei]; при этом старое [ei] понижается в [ai], и противопоставление сохраняется. В XIV в. члены коррелирующей пары одновременно изменяются соответственно в [ai] и [ɔi], например ср.-в.-нем. *wîn* [wain] «вино», *stein* [stɔin] «камень». В тот же период времени (XI — XV вв.) старый дифтонг [iu] через ступень [ey] дает [oi], а старый дифтонг [øy], совпавший с [y:], изменяется в [ei]. В XV в. образуется система из четырех дифтонгов: [ei], [ai], [ɔi], [oi], причем эти фонологические единицы различались на каждом синхронном срезе [10].

Разбирая развитие противопоставления др.- в.-нем. [i] : [ei], можно задаться вопросом, что здесь имело место: «push chain» или «drag chain», дифтонгизация [i:] вызвала понижение [ai] или наоборот? Такой вопрос, однако, нам представляется неправомерным, а сама классификация типов сдвига фонологического ряда [11] в высшей степени условной. В речи существует континуум возможных «фонов», артикуляций; дискретность в звуковую материю языка вносит система противопоставлений, связей, образующих фонологическую систему языка. Эти связи двусторонни, поэтому и сдвиг фонологического ряда, как представляется, с самого начала затрагивает все входящие в него фонемы. С этой точки зрения известный спор о фонетической природе германских передвижений (что было исходным моментом изменения: аспирация глухих или ослабление звонких?) [12] представляется бесплодным.

Примеры, показывающие системный характер фонетических изменений, сохранение равновесия и оптимального (в данных конкретных условиях) числа фонологических противопоставлений, можно было бы значительно умножить [13]. Представляется, что именно в этом вопросе современная

стр. XXVIII—XXIX. По мнению А. Мартине, совпадение (confusion) двух фонем, которое Л. Ельмслев рассматривает как конец лингвистического изменения, является на самом деле его начальным пунктом. Это совпадение часто служит фонологическим катализатором, вызывая аттракцию соседнего члена фонологической системы. Отвечая на вопрос Л. Ельмслева, как можно объяснить совпадение и.-е. *dh* и *d*, исходя из их слабой функциональной нагрузки, А. Мартине подчеркнул, что необходимо рассматривать фонологическую систему в целом. Так, совпадение *o* и *a* имело место в балто-славянском и германском, где слоговые сонорные давали закрытые гласные *i*, *u*, а не *a*, как в греческом. Объяснение совпадения *o* и *a* в славянском см.: В. К. Журавлев, Формирование группового сингармонизма в праславянском языке, ВЯ, 1951, 4, стр. 35. См. также: H. G. Lunt, On the origins of phonemic palatalization in Slavic, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956. С нашей точки зрения, совпадение **d* и **dh* в балто-славянском ареале (т. е. отсутствие в нем «передвижения») связано с судьбой сочетаний *gh* — *s*, *g* — *s*, *k* — *s*, *H* — *s*, дававших *x* через ступень *kh*. С этим *kh* совпадали любые аспирированные или ослабленные варианты *k*, и, так как передвижение не прошло в этом звене, тенденция была нарушена и в области согласных с другим местом артикуляции.

[9] См. W. Z. Shetter, Phonemics of the Zwolle dialect, synchronic and diachronic, «Language», XXXIV, 1, 1958, стр. 47—49.

[10] См. H. L. Kufner, History of middle Bavarian vocalism, «Language», XXXIII, 4 (pt. 1), 1957, стр. 522—523.

[11] См.: A. Martinet, указ. соч., стр. 50; его же, Function, structure and sound change, «Word», VIII, 1, 1952, стр. 5.

[12] См.: W. G. Moulton, The stops and spirants of early Germanic, «Language», XXX, 1, 1954; A. Sommerfelt, On the phonemic aspect of the Germanic consonant mutation, сб. «For Roman Jakobson».

[13] См., например: M. S. Ruipérez, Esqisse d'une histoire du vocalisme grec, «Word», XII, 1, 1956; W. Diver, On the prehistory of Greek consonantism, «Word», XIV, 1, 1958; J. W. Marchand, Germanic short **i* and **e*: two phonemes or one, «Language», XXXIII, 3 (pt. 1), 1957; A. Sieberer, Lautwandel und seine Triebkräfte. Eine Studie über den Zusammenhang von Lautänderungen, Wien, 1958; A. Martinet, Phonetics and linguistic evolution, сб. «Manual of phonetics», Amsterdam, 1957; A. L. Lloyd, Vowel shortening and stress in the old High German of Notker Labeo, «Journ. of English and Germanic philology», LX, 1, 1961; H. Pilch, Das Kymrische Laut-System, KZ, LXXV, 1/2, 1957. В об-

лингвистика глубже всего проникла в сущность языковой системы, подошла к познанию объективных связей между фактами, которые мы непосредственно наблюдаем в речевом потоке. Мы никак не можем согласиться с У. С. Алленом, который писал: «При современном состоянии наших исследований было бы более мудрым только наблюдать то, что фонетическое развитие часто имеет результатом снятие асимметрии фонологической системы, и, оставаясь на уровне описания, не переходить к каузальным или телеологическим объяснениям» [14].

Нельзя не отметить, з что десь проявилась позиция автора по теоретическим *вопросам языкознания*, характерная для известной части зарубежных языковедов, находящихся под влиянием неопозитивизма [15].

Признавая, однако, каузальный характер давления системы [16], мы закономерно приходим к другому спорному вопросу — о соотношении влияния уровней языковой системы в фонологическом изменении. Е. Курилович последовательно проводит точку зрения о примате высших уровней в определении причин изменений: морфологического над фонологическим, собственно фонологического над антропофоническим. Передвижения согласных в германских языках объясняются им как результат фонологической нейтрализации оппозиций согласных в группе с *s* [17]. С нашей точки зрения, невозможно противопоставить в таком смысле фонетическое и фонологическое развитие: структурные причины вызывают фонетическую тенденцию; это проявляется, однако, в том, что фонологическая модель, подобно структурной решетке кристалла полупроводника, служит для направленного отбора случайных антропофонических колебаний, а затем результаты фонетического сдвига закрепляются и фонологически. В ряде случаев указанные колебания не вполне случайны, а обусловлены позиционно; противопоставление спонтанных и позиционных изменений условно: тенденция развития может найти выражение как в совокупности позиционных изменений, так и в «спонтанном» сдвиге. Необычайно пестрое и противоречивое как по результатам, так и по позиционным условиям развитие индоевропейской фонемы *s* может быть сведено к одной общеиндоевропейской тенденции [18].

Сложнее вопрос о примате морфологического уровня над фонологическим. Как известно, именно в этом вопросе идет теоретическое размежевание московской и ленинградской школ в советской фонологии [19]. Основной мыслью вышедшей в 1956 г. книги Е. Куриловича о проблеме чередования гласных в индоевропейских языках [20] было то, что генетически аблаут — морфологическое явление. Индоевропейские *e* и *o*, всегда существовавшие в праязыке, оказались связанными морфологически, так как в ступени редукции они совпадали перед сонорными. Развитие вокализма в индоевропейских языках в концепции Е. Куриловича подобно лавине изменений по аналогии, которая в основном определила фонологическое развитие языка. Делаются попытки внести морфологическую дистрибуцию в само определение фонемы. С точки зрения К. Персивала, мы не можем говорить о разных фонемах в том случае, если морфемы, в которых эти фонемы различаются и которые образуют минимальные пары, сами находятся в дополнительной дистрибуции на морфологическом уровне [21]. Ре-

---

ласти романских языков большое значение имеет книга: H. Weinrich, Phonologische Studien zur romanischen Sprachgeschichte, Münster, 1958. Ср., однако, критику указанных принципов в работе: I. S. Lasso de la Vega, Sobre la historia de las vocales largas en griego, «Emerita», XXIV, Madrid, 1956.

[14] W. S. Allen, Some remarks on the structure of Greek vowel systems, «Word», XV, 2, 1959, стр. 240. У. С. Аллен является автором известной книги «Phonetics in ancient India» (London, 1959).

[15] См. W. S. Allen, On the linguistic study of languages, Cambridge, 1957. Автор, с одной стороны, считает, что историческое объяснение фактов языка, которым, по его словам, было «одержимо» языкознание прошлого века, должно быть вынесено за рамки лингвистики. С другой стороны, У. С. Аллен высказывается за философскую лингвистику, которая «должна заниматься содержательным анализом философских высказываний» («Quae philosophia fuit, facta philologia est»). Нельзя не отдать должного автору: в ряде вопросов он занимает самостоятельную позицию (критикуя, например, смешение метода и процедуры исследования в американской лингвистике).

[16] См. Э. А. Макаев, Понятие давления системы и иерархии языковых единиц, «Тезисы докладов на дискуссии о проблеме системности в языке», М., 1962; ср. J. Malkiel, Paradigmatic resistance to sound change, «Language», XXXVI, 3 (pt. 1), 1960.

[17] J. Kuryłowicz, Le sens des mutations consonantiques, «Lingua», I, 1948; его же, Alofoni i alomorfi, BPTJ, 18, 1959.

[18] См. Г. С. Клычков, К развитию системы спирантов в индоевропейских языках. Автореф. канд. диссерт., М., 1959; его же, Индоевропейская фонема **s* как коррелят ларингальных, ВЯ, 1959, 1.

[19] См.: А. А. Реформатский, О соотношении фонетики и грамматики, сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955; Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960.

[20] J. Kuryłowicz, L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956.

[21] K. Percival, A problem in competing phonemic solutions, «Language» XXXVI, 3 (pt. 1). См. особо стр. 384 (на материале тоба-батак — малайо-полинезийского языка северной Суматры).

шение вопроса во многом зависит от самого понимания системы. Мы не будем сейчас выяснять, в какой мере справедлив упрек в чистом операционализме, брошенный Э. Бенвенистом в адрес Г. М. Хенигсвальда [22]. Для нас важно, на каком этапе членения речевого потока (которое, с нашей точки зрения, призвано установить внутренние объективные связи языковой системы) мы сталкиваемся с наиболее существенными закономерностями. Таких решающих моментов, как представляется, два. Первый имеет место при вычленении из высказывания основной значимой единицы (для флективных языков — слова), и он определяет синтаксическую типологию языка. Второй — при вычленении основной смыслоразличительной единицы на уровне фонологического строения морфемы. Морфонология в большинстве случаев призвана дать исчерпывающую характеристику своеобразия каждого языка [23], его типологию как на фонологическом, так и на морфологическом уровне [24]. Допущение особого характера фонологической структуры слова, образования слогового сингармонизма, слияния нескольких фонем в более сложную единицу, просодически выступающую как слог, позволило В. К. Журавлеву убедительно связать единым объяснением такие факты, как славянские палатализации, совпадение *ŏ* и *ă*, закон открытых слогов в славянских языках [25].

Интересна восходящая к Е. Д. Поливанову и недавно высказанная М. В. Гординой мысль, что для языков корневого типа неприменимо понятие фонемы и здесь мы должны говорить об основной фонологической единице более высокого просодического уровня [26]. А. Скаличкова также подчеркнула значение для общего языкознания того факта, что в корейском реализация согласных зависит от характера их связи с последующей гласной, т. е. что сочетание типа СГ выступает как особая единица [27]. Именно таков путь разрешения проблемы индетерминированности фонемических систем и обратимости различных (фонологических) описаний, которую ставит Е. Хауген [28]. С его точки зрения, в фонемических решениях есть элемент произвола (стр. 57), который заключается в том, что одну и ту же фонетическую черту можно рассматривать то как аллофон или сегмент, то как компонент фонемы, ее дифференциальный признак или супрасегментный элемент. Такая неоднозначность описания фонологической системы одного и того же языка, с его точки зрения, вполне допустима и позволяет упростить описание, отказавшись от понятий нейтрализации и архифонемы.

Аналогичные затруднения возникают при описании некоторых баварских диалектов. В статье Г. Л. Куфнера [29] ставится вопрос о соотношении долготы гласных и усилении согласных в диалекте Зальцахгау, в области, находящейся в 80 км к юго-востоку от Мюнхена. В этом диалекте в срединных и конечных слогах за долгой гласной всегда следует краткий, негеминированный слабый согласный, а после краткого гласного представлена гемината; например, [n'ɔɔsn] «нос»: [n'ɔssn] «мокрый, сырой». Возникает вопрос, считать ли различительной длину согласной и выделять две согласные фонемы или считать различительной длину гласной: [n'ɔɔsn] : : [nɔsn]. Можно предположить, что фонематически здесь важна не продленность, а качество согласной: [nɔzn] : [nɔsn]. И, наконец, возможно, что смыслоразличительную функцию несет здесь просодическая характеристика — слабое и сильное ударение. В противоположность другим авторам, предпочитавшим противопоставление fortis — lenis, в данной статье геминация принимается за фонематический признак. Решение это в известном смысле произвольно, поскольку фактически как дифференциальная фонологическая единица здесь выступает просодическое единство всех этих фонетических признаков.

В данной связи нельзя не остановиться на ряде исследований, посвященных силлабической структуре слова в индоевропейском и связанных с проблемой индоевропейских сонорных и закона Зиверса — Эджертона [30], согласно которому индоевропейские сонорные были фонетически двучленны (тип ḁR) после тяжелого слога (так называемый закон Зиверса), причем соответствующий первый гласный элемент закономерно исчезал после легкого слога (поправка Эджертона). Таким путем полу-

[22] См. E. Benveniste, [рец. на кн.:] H. M. Hoenigswald, Language change and linguistic reconstruction, BSLP, LVI, 2, 1961, стр. 27.

[23] См. N. S. Trubetskoy, Gedanken über Morphonologie, TCLP, 4, 1931, стр. 163.

[24] Ср. Ю. В. Рождественский, О некоторых предпосылках флексии и изоляции (доклад, прочитанный на Конференции по вопросам агглютинации в Ленинграде в декабре 1961 г.).

[25] Ср. В. К. Журавлев, указ. соч.

[26] М. В. Гордина, К вопросу о фонеме во вьетнамском языке, ВЯ, 1959, 6.

[27] См. «Acta Universitatis Carolinae — Philologica», I, 1959; см. также статью А. Скаличковой «A contribution to the problem of the syllable», ZfPh, XI, 2—3, 1958.

[28] E. Haugen, The phonemics of modern Icelandic, «Language», XXXIV, 1.

[29] См. H. L. Kufner, History of central Bavarian obstruents, «Word», XVI, 1, 1960.

[30] См.: F. Edgerton, Severs'sł law and I. E. weak-grade vocalism, «Language», X, 3, 1934; ср. его же, The Indo-European semivowels, «Language», XIX, 1, 1943; W. P. Lehmann, The Proto-Indo-European resonants in Germanic, «Language», XXXI, 3 (pt. 1), 1955; J. W. Marchand, The «converse of Sievers'law» and the Germanic first class weak verbs, «Language», XXXII, 2 (pt. 1), 1956.

чают объяснение противоречия типа ст.-слав. *знати* из * *ǵneH* при литов. *žinoti*, где следует предполагать обобщение фонетического варианта *ǵn̥eH*, который должен был возникать по закону Зиверса — Эджертона, если в результате соединения в речи с предшествующим словом сонорный попадал в позицию после тяжелого слога [31]. Этот принцип был применен П. В. Бросманом к ларингальным для объяснения возникновения индоевропейского «шва» [32].

Интересна попытка Л. Г. Хеллера применить принципы синтаксической фонетики к проблеме морфологического уровня. Если мы реконструируем местоимение 1-го лица ед. числа в протоиндоевропейском как * *Hem/Hm*, то все личные окончания 1-го лица индоевропейского глагола могут быть объяснены как алломорфы этого местоимения, обусловленные слоговой структурой предшествующего и последующего слова [33]. Ф. Эджертон выступил со статьей, где, исходя из тех же принципов, по-новому представил объяснение индоевропейского *s*-mobile. По его мнению, правило сандхи *s* на стыке двух слов определялось качеством (тяжестью или легкостью) конечного слога первого слова. Таким образом, правило Зиверса — Эджертона оказалось распространенным не только на сонорные, но и на ларингальные и фонему *s*. Следует признать, что закон Зиверса в формулировке Эджертона в целом, по-видимому, дает правильную алгебраическую формулу поведения индоевропейских сонорных в различных окружениях. Представляется, однако, что допущение трех вариантов сонорного — гласного $\underset{\circ}{R}$, согласного R и промежуточного $\underset{\circ}{R}R$ — не отражает истинного положения вещей. В положении между согласными следует восстанавливать не вариант $\underset{\circ}{R}$, а тот же вариант $\underset{\circ}{R}R$, который устанавливается в позиции между согласной и гласной после тяжелого слога [$KT\underset{\circ}{R}RE$ или $\bar{E}T\underset{\circ}{R}RE$]. Первый гласный элемент слогового сонорного отражается в качестве отдельной фонемы *i*, *u* или *a* в различных индоевропейских языках. Если примеры с $\underset{\circ}{r}$, $\underset{\circ}{l}$, $\underset{\circ}{m}$, $\underset{\circ}{n}$ самоочевидны (ср. гот. *bundum*), то фонетическая двучленность *$\underset{\circ}{i}$, *$\underset{\circ}{u}$ в слоговой функции прослеживается труднее. Эта двучленность проявляется в том, что индоевропейское *$\underset{\circ}{u}$, не входящее в чередования типа *u* : *eu* : *ou*, отражается то как *u* долгое (др.-инд. *sūnúṣ*), то как *u* краткое (авест. *hunuš*), то как дифтонг (др.-прусск. *souns* «сын»). Аналогично индоевропейское «шва» в формах лат. *satur*, гот. *safs* можно считать отражением первого гласного элемента слогового *$\underset{\circ}{u}$, которое отразилось как *u* долгое в ст.-слав. *сытъ*.

К той же весьма продуктивной линии развития сравнительно-исторической фонологии индоевропейских языков, связанной с восстановлением слоговой структуры и других просодических явлений, принадлежит также работа Д. Х. Келли [34], посвященная восстановлению в протогреческом так называемых «junctures», т.е. супрасегментных структурных единиц, возникающих на стыке сегментных языковых единиц [35]. Автор пользуется методом выделения таких фонетических изменений, которые позиционно необъяснимы, если не принимать во внимание закономерности синтаксической фонетики (различное поведение согласных в конце и середине слова).

Многочисленны работы, посвященные проблемам фонологического развития языка и реконструкции. У. М. Остин устанавливает правило, что фонетическое изменение происходит либо по оси места артикуляции, либо по оси способа артикуляции [36]; одновременно, в качестве одного шага развития, и способ и место артикуляции измениться не могут. Если в каком-либо языке *d* и *r* являются аллофонами одной фонемы, это *r* не может быть увулярным, оно обязательно должно быть альвеолярным. Правило это устанавливается автором чисто эмпирически, путем анализа довольно значительного количества случаев, когда аллофонами оказываются звуки фонетически несхожие. Как известно, артикуляторно-акустические характеристики произносимой цепи не определяются однозначно, а представляют собою поля дисперсии близких физических характеристик, нормально распределенных вокруг некоторого среднего значения. Границы допустимых колебаний определяются структурно — оппозицией одной единицы другой и функционально — нежелательностью их совпадения для процесса общения. Поскольку трудно представить систему, где были бы одновременно фонологически иррелевантны и место и способ образования, правило Остина представляется правильным и теоретически.

---

[31] См. W. R. Schmalstieg, The Indo-European semivowels in Balto-Slavic, «Language», XXXV, 1, 1959.

[32] P. W. Brosman (Jr), Proto-Indo-Hittite ḫ and the allophones of laryngeals, «Language», XXXIII, 1, 1957.

[33] L. G. Heller, The first person singular verbal endings in Indo-European: a study in syntagmatic phonetics, «Language», XXXIII, 1.

[34] D. H. Kelly, Internal reconstruction of juncture for Proto-Greek, «Language», XXXVI, 3 (pt. 1).

[35] В синхронном плане эта проблема ставится рядом ученых. См.: C. F. Hockett, A manual of phonology, Bloomington, 1955, стр. 158; N. Chomsky, M. Halle, F. Lukoff, On accent and juncture in English, сб. «For Roman Jakobson», стр. 66 и сл.; H. Stockwell, I. Bowen, I. Silva-Fuenzalida, Spanish juncture and intonation, «Language», XXXII, 4, 1956; W. G. Moulton, Syllabic nuclei and final consonant clusters in German, сб. «For Roman Jakobson», и др.

[36] W. M. Austin, Criteria for phonetic similarity, «Language», XXXIII, 4 (pt. 1).

Ряд работ посвящен фонологическим проблемам реконструкции [37]. Итог этим исследованиям подведен в указанной книге Хенигсвальда «Language change and linguistic reconstruction». Главной заслугой автора является то, что он показал строгость основных исследовательских приемов сравнительного метода. Принцип системного анализа не был в полном смысле слова открыт в начале нашего столетия: имплицитно он содержался в самом методе сравнительно-исторического языкознания XIX в. и был перенесен из диахронической лингвистики в синхронное описание языка.

С точки зрения Г. Хенигсвальда, теория лингвистического изменения сводима к описанию моделей замещений одних структур другими, которые принципиально отличны от так называемых «аморфных изменений», представляющих собой не смену структур, а изменение экстралингвистической ситуации (например, архаизация элементов языка и заимствование). Автор, как представляется, проходит мимо того факта, что аморфное изменение также структурно, только оно предполагает сосуществование, наложение друг на друга двух систем [38]. В определенном смысле любое языковое изменение аморфно, так как оно заключается не просто в замещении одной модели другой, но и в сосуществовании, взаимодействии этих моделей в синхронии.

Наиболее слабо разработанной областью диахронической фонологии является применение статистических методов анализа. Р. Эберхарт показал, что направление фонетического изменения можно связать с распределением энтропии между элементами фонологической системы [39]. Существуют попытки построения фонологической типологии языков на основании величины энтропии системы фонем [40], а также измерения степени симметрии фонологической системы.

Это достигается путем вычисления отношения числа используемых комбинаций дифференциальных признаков к общему числу возможных их комбинаций. Сюда же следует отнести попытки построения фонологической топологии и системы фонологической глоттохронологии на основании отношения гласных и согласных в системе [41], а также числа рядов взрывных согласных [42]. Последние работы безусловно отличаются механистическим под-

[37] W. L. Chafe, Internal reconstruction in Seneca, «Language», XXXV, 3, 1959; H. M. Hoenigswald, Sound change and linguistic structure, «Language», XXII, 2, 1946; его же, The principle step in comparative grammar, «Language», XXVI, 3, 1950; J. W. Marchand, Internal reconstruction of phonemic split, «Language», XXXII, 2 (pt. 1); H. M. Hoenigswald, Phonetic similarity in internal reconstruction, «Language», XXXVI, 2 (pt. 1), 1960. Мы не даем изложение этих работ, как и обобщающей книги Г. Хенигсвальда «Language change and linguistic reconstruction» (Chicago, 1960), поскольку они учтены нами в статье «Об основных приемах лингвистической реконструкции» (ВЯ, 1961, 6).

[38] Теорию сосуществования лингвистических систем см. в следующих работах: Ch. C. Fries, K. L. Pike, Coexistent phonemic systems, «Language», XXV, 1, 1949, стр. 29; E. I. A. Henderson, The phonology of loanwords im some South-East Asian languages, сб. «Transactions of the Philological society», Oxford, 1951; H. Kučera, Inquiry into coexistent phonemic systems in Slavic languages, «American contributions to the 4-th International congress of slavicists», 's-Gravenhage, 1958; A. Saareste, Le traitement des allophones dans les emprunts modernes en estonien, «Orbis», VI, 2, 1957; E. P. Hamp, Stylistically modified allophones in Huichol, «Language», XXXIII, 2, 1957. Проблема сосуществования систем в структурной диалектологии разбирается в следующих работах: U. Weinreich, Is a structural dialectology possible? «Word», X, 1952; E. Stankiewicz, On discreteness and continuity in structural dialectology, «Word», XIII, 1, 1957; его же, The phonemic patterns of the Polish dialects. A study in structural dialectology, сб. «For Roman Jakobson»; его же, Towards a phonemic typology of the Slavic languages, «American contributions to the 4-th International congress of slavicists; W. Doroszewsky, Le structuralisme linguistuque et les études de geographie dialectale, «Proceedings of the 8-th International congress of linguists», Oslo, 1958; J. Fourquet, Linguistique structurale et dialectologie, сб. «Fragen und Forschungen im Bereich und Umkreis der germanischen Philologie. Festgabe für Th. Frings zum 70 Geburtstag», Berlin, 1956; I. C. Catford, Vowel-systems of Scots dialects, «Transactions of the Philological society», Oxford, 1957; G. R. Cochrane, The Australian English vowels as a diasystem, «Word», XV, 1, 1959; P. Carde, Réflexions sur les différences phonétiques entre les langues slaves, «Word», XVII, 1961.

[39] R. Abernathy, The fall of the jers: a statistical interpretation, сб. «For Roman Jakobson».

[40] См. I. Greenberg, The nature and uses of linguistic typologies, IJAL, XXIII, 2, 1957.

[41] См. C. F. Voegelin, Six statements for phonemic inventory, IJAL, XXIII, 2. К. Ф. Фегелин различает консонантные и вокалические языки, а В. А. Никонов — консонантный коэффициент (см. «Lingua posnaniensis», VIII, 1960) и на этом принципе предполагает построить фонологическую систему глоттохронологии.

[42] См. C. F. Voegelin, Inductively arrived-at models for cross-genetic comparisons of American Indian languages, «Papers from the symposium on American Indian languages held at Berkeley, July 1951» («University of California publications in linguistics», X), 1954; I. E. Pierce, A statistical study in New World languages, IJAL, XXIII, 1, 1957.

ходом к проблеме, поскольку сходные фонетические фонемы разных языков теоретически несопоставимы, так как они занимают различное положение в модели и сами эти модели различны [43]. К. Ф. Фёгелин строит свои списки фонем, объединяя в одну категорию взрывные различных американдейских языков, сильно отличающихся моделями фонологической системы. П. Гиро использует статистическую закономерность распределения фонем, установленную Дж. К. Ципфом, пытаясь объяснить на ее основании развитие фонологической системы латинского языка [44]. Так, постепенное исчезновение конечного *-m* он объясняет большой частотностью этой фонемы (стр. 111—112).

Закон Ципфа в применении к фонемам («фонемы, отличающиеся бо́льшим числом дифференциальных признаков, встречаются реже»), по-видимому, имеет значение для лингвистики при решении вопроса, какой из членов противопоставления маркирован (немаркированный член оппозиции, как *правило*, встречается чаще). Тем не менее следует признать, что определенное статистическое распределение фонем, установленное на основании анализа речи, отнюдь еще нельзя приравнивать к статистической модели фонологической системы языка. В последней все элементы взаимосвязаны; изменение одной фонемы фактически означает возникновение новой системы, где все члены иные. Наши же статистические подсчеты пока еще дают только такие данные, которые не обладают системностью, или, используя математический термин, обладают числом степеней свободы более единицы. Поэтому мы вынуждены признать, что до сих пор развитие фонологической статистики не сняло положения Н. С. Трубецкого, что «язык лежит вне меры и числа» [45].

Г. С. Клычков

[43] Ср. S. Saporta, Methodological considerations regarding a statistical approach to typologies, IJAL, XXIII, 1.

[44] См. P. Guiraud, Problèmes et méthodes de la statistique linguistique, Paris, 1960; ср.: E. Newman, Statistical methods in phonetics, сб. «Manual of phonetics», Amsterdam, 1957; G. H. Fairbanks, Frequency and phonemics, «Indian linguistics», XVII, Madras, 1957; W. J. Plath, The relative frequency of English consonantal patterns, ZfPh, XI, 1, 1958.

[45] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 15.

РЕЦЕНЗИИ

H. M. Hoenigswald. **Language change and linguistic reconstruction.** — Chicago, The University of Chicago Press, 1960. VIII + 168 стр.

Рецензируемая книга американского лингвиста Г. М. Хёнигсвальда, успевшая занять видное место среди изданий последних лет [1], посвящена языковым изменениям и способам реконструкции подвергшихся модификации единиц фонологии и морфологии, т. е. центральным вопросам диахронической лингвистики, которая в последнее время привлекает к себе все более пристальное внимание американских языковедов, разрабатывавших преимущественно проблемы *синхронии*.

На протяжении всех тринадцати глав автор оперирует терминами дескриптивной лингвистики, используя процедуры, основанные на критериях дистрибуции (отметим, что это не облегчает понимания и без того достаточно сложной темы представителям иных лингвистических направлений, в том числе и структуральных). На первых страницах автор, определив важность фактора времени для синхронической и диахронической лингвистики, вводит целый ряд терминов. Всякий речевой отрезок, безразлично какой протяженности, может подвергнуться в той же жизненной ситуации замещению новыми речевыми отрезками. Если идиолект (совокупность высказываний одного говорящего), условно рассматриваемый исследователем как нечто статическое [2], служит объектом синхронического описания, то замещения во всей их совокупности, являющиеся последствиями утраты или появления речевых феноменов, иначе говоря, языковые изменения, — объект диахронической лингвистики.

Новое изменение *не может быть* сформулировано, пока ранняя стадия и поздняя стадия не будут подвергнуты фонемическому и грамматическому анализу. Если оставить в стороне случаи, когда научное описание доступно непосредственно, подобный анализ потребует решения предварительной задачи: лингвистической интерпретации записанного текста. В случае отсутствия записанного текста, описательный материал для одной или обеих стадий получается посредством реконструкции: внутренней, возводящей несистемные единицы языка к системным, либо внешней (по мнению автора, неправомерно называемой сравнительным *методом*), требующей вовлечения нескольких языков. Оба типа реконструкции носят вторичный характер по отношению к непосредственно фиксируемым языковым фактам. Автору представляется целесообразным подвергнуть проверке строгость таких реконструирован-

[1] См. рецензии на эту книгу Дж. Лайонза («Bull. of the School of Oriental and African studies», XXIII, pt. 3, 1960), У. Вейфа («Language», XXXVII, 1, 1961), Э. Бенвениста (BSLP, LVI, 2, 1961), а также критический обзор Ф. Хаусхолдера (IJAL, 28, 1, 1962; там же опубликован ответ Г. Хёнигсвальда).

[2] См., например: Z. C. Harris, Structural linguistics, Chicago, 1960, стр. 9.

ных форм и последующих изменений на фоне данных, полученных путем использования лишь первичных источников, речевых или письменных. Г. Хёнигсвальд проводит в книге тщательную классификацию таких удостоверяемых изменений, устанавливает последствия этих изменений в языковой системе поздней стадии и указывает размеры, в каких эти подвергшиеся модификации формы позволяют реконструировать раннюю стадию.

Г. Хёнигсвальд избегает формулирования понятия языковой системы настолько, что затруднительно ответить, признает ли он систему, манифестирующую текст, т. е. считает ли ее объективно данным, или, как и у многих американских лингвистов, система как совокупность схем моделируется у него из объективно данного текста [3]. Изменения в языковой системе не могут быть поняты без соотношения с системой, которая лежит в их основе. Читатель не найдет в книге ответа на вопрос, в какой мере структурные законы системы ограничивают инвентарь возможных переходов от одного состояния к другому, — переходов, являющихся динамическим компонентом всей языковой системы [4]. Поскольку лингвиста должны интересовать в языковой структуре в конечном счете не единицы разных уровней, а зависимости между единицами и классами единиц [5] и поскольку Г. Хёнигсвальд оперирует постоянно только сегментами, возникает вопрос, не решается ли в книге проблема языковых изменений лишь частично.

Фиксируемые изменения, сопровождаемые замещением, следует отличать от аморфных изменений, не вызывающих замещения и являющихся «простым отражением исчезновения или появления новых жизненных ситуаций вне языка» (стр. 2). Различаются две разновидности аморфных изменений: устаревание (например, архаичное англ. *jesses* «путы на лапах ручного сокола») или появление, которое подразделяется в свою очередь на заимствование из другого источника (например, англ. *tea* «чай», заимствованное в конечном счете из южнокитайского) и намеренное изобретение (голл. *gas* «газ»). Изменения могут рассматриваться и под другим углом зрения: как безусловные (в английском три сегментные фонемы / ‡ kn / всегда модифицируются в / ‡ n /) и обусловленные (/k/ после стыка и перед /n/ замещается нулевым сегментом ϕ).

Во второй главе, посвященной графемике, затрагиваются проблемы интерпретации письменного текста. Указав, что графемы, за некоторыми исключениями, обозначают фонемы, морфонематические альтернации или морфемы, автор кратко характеризует графемы в фонемной репрезентации (включая сюда силлабическое письмо как обозначающее объединенные в слоги фонемы), в морфофонемной репрезентации, при которой обозначаются автоматические морфофонемы (лат. *es-t* «он есть» ~ *er-imus* «мы будем»), и в морфемной репрезентации. Фонетическая интерпретация графем немногое добавляет к тому, что является очевидным, кроме замечания о том, что внутреннего свидетельства, вероятно, никогда не бывает достаточно для установления фонетических значимостей; именно поэтому существен детальный анализ заимствований.

В главах с третьей по шестую детально проанализированы типы морфемных замещений. Вводится термин соответствие, которым обозначается связь между сегментами или классами сегментов двух языков или двух стадий одного и того же языка (в последнем случае соответствие называется замещением). Представление о соответствии и замещении иллюстрируется уже известным читателю примером двух архивов, из которых один содержит подлинные документы, тогда как другой — документы, составленные шифром; некоторые документы могут быть представлены в обеих формах и, следовательно, будут иметься в обоих архивах; другие документы существуют лишь в подлинной форме, тогда как третьи могут встречаться лишь в зашифрованном виде [6]. В некоторых важных отношениях, пишет автор, речевые отрезки двух стадий языка ведут себя подобно документам в двух архивах. Физическое соответствие не играет большой роли при определении соответствия в процедурах Хёнигсвальда: историческая лингвистика изобилует примерами наличия отношений соответствия или замещения между фонически весьма различными элементами (франц. *le cheval* «лошадь» является одним из замещений лат. *equus*; и.-е. сочетание фонем / * ‡ *dw* / в армянском замещено посредством /‡*erk-*/). К сожалению, в книге проблема отождествления морфем при отсутствии фонического сходства не решается. Г. Хёнигсвальд устанавливает два главных критерия для анализа языкового изменения: 1) модельзамещения и 2) сходство, существующее между фонами и морфами, участвующими в процессе замещения. Кроме того, различаются: 3) источник замещения, который может восходить к заимствованию, перераспределению имеющихся морф, семантическому изменению или изменению по аналогии, и, наконец, 4) возможность предсказания изменений на основе определенных черт, характеристических для подвергающихся изменениям языков

[3] См., например, сб. «Readings in linguistics», ed. by M. Joos, Washington, 1957, стр. 80.

[4] Ср. R. Jakobson, Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics, «Reports for the 8-th International congress of linguists», Oslo, 1957, стр. 10.

[5] См. P. L. Garvin, Structure and variation in language and culture, в сб. «Indian tribes of aboriginal America», ed. by Sol Tax, Chicago, 1952, стр. 216.

[6] См. H. M. Hoenigswald, Some uses of nothing, «Language», XXXV, 2, 1959, стр. 409.

и речевых общностей. Из перечисленных лишь первые два критерия доступны формальному обозначению.

Разбирая в синхронном плане совокупности всех речевых окружений для двух сегментов (*A* и *B*), автор при помощи диаграммы описывает элементарный случай морфемной дистрибуции:

Позиции / Сегменты	I	II	III	IV
A	+	+	−	−
B	+	−	+	−

Члены первой пары речевых отрезков *A* и *B* в позиции I отличаются один от другого и составляют класс контрастного окружения. В других речевых отрезках встречающееся *A* исключает оккурренцию *B* (позиция II), а *B* в свою очередь встречается в позиции III, исключающей *A*. Позиции II и III рассматриваются как классы характеристических окружений. В позиции IV ни один из сегментов не фиксируется.

В основу своей классификации морфологических и фонологических изменений Хёнигсвальд кладет тождественные модели замещения: однооднозначное замещение, слияние (два на один) и расщепление (один на два). Морфные замещения типа один на один сопровождаются звуковыми изменениями (англ. /knok/ замещается /nok/ с фонемным соответствием /k/ > ϕ), заимствованием (англ. *ey* «яйцо» замещается сканд. *egg*), семантическим изменением [ст.-англ. *wonge* «щека» замещается *cheek* (*ceace* «челюсть»), которое претерпевает сдвиг как в плане выражения, так и содержания] и замещением одной из двух соалломорф другою, иначе говоря — изменениями по аналогии (например, трансформация «сильного» спряжения в англ. *wax* «расти»: в совр. англ. при соалломорфах [-*en*] и [-*ed*] *wax-en* замещается *wax-ed*). Слияние может быть сопряжено с заимствованием (лат. *avunculus* «дядя по отцу» и *patruus* «дядя по матери» замещено в итал. *zio*, заимствованным из др.-греч.), семантическим изменением [франц. *oncle* (< лат. *avunculus*), претерпев изменение в значении, заместило *avunculus* и *patruus*] и развивающейся комплементарностью, или синкретизмом (так, англ. *go* и *wend*, на ранней стадии принадлежавшие к разным морфемам, превратились в алломорфы с характерной дополнительной дистрибуцией). Расщепление также может быть связано с заимствованием, сопряженным с семантическим изменением (англ. *sheep*, некогда означавшее как барана, так и его мясо, в последнем своем значении было замещено заимствованием из франц. *mutton*), и с дифференциацией алломорф на самостоятельные морфемы (лат. *deus* «бог» и *dīvus* «божественный» восходят соответственно к *de-* и *deiv-*, альтернантам одной морфемы на ранней стадии).

В инвентарь моделей замещения включаются также явления утраты морфных границ без опущения (лат. *vidua* «вдова», переставшее на поздней стадии восприниматься как конструкция свободных морфем *wy* «отдельно» и *dhe* «класть») и возникновения новых морфных границ без инкремента [ст.-англ. *peas*(*e*) «пирог», которое, подобно *sheep* «овца», имело ϕ мн. числа, было переинтерпретировано как *pea-s* «пироги» с «обратным образованием» *pea* «пирог»]. Такой детальный анализ изменений с учетом их источника, безусловно, весьма ценен. Однако представляется недостаточным подведение под одну классификацию фонологических и морфологических изменений при частичном или полном игнорировании соответственно лексических и грамматических изменений. Целесообразно было бы различать все эти изменения, точно так же как изменения чисто фонетические и семантические, лежащие в зонах прелингвистики и металингвистики, а также показать, в какой мере изменения, вызванные одним из вышеуказанных четырех источников изменения, воздействуют на структуру языка.

Г. Хёнигсвальд обоснованно акцентирует внимание исследователя, применяющего процедуры внутренней реконструкции, на необходимости учитывать отношения между звуковыми изменениями и морфологическими различиями, предлагая различать типы замещений, при которых сохраняется фонемное сходство между участниками замещения (лат. *avunculus* и франц. *oncle*); такое фонемное сходство может иметь место, во-первых, между морфофонемически связанными дублетами замещения (лат. *honōs* «честь» ~ *honor*) и, во-вторых, при диалектном заимствовании или при заимствовании из близкородственных языков (иран. *garm* «теплый» замещает в урду форму *gharma* с тем же значением, но санскритского происхождения).

Краткая седьмая глава показывает возможности восстановления элементов семантического и морфологического планов посредством сравнительного метода и внутренней реконструкции.

В следующих двух главах, посвященных звуковым изменениям, автор, предлагая модели возможных фонических замещений, выдвигает ряд теоретических соображений; прежде всего, подвергается сомнению тезис о постепенности звуковых изменений и рассматривается утверждение о действующей в языке тенденции к облегчению артикуляции. Вызывает интерес рассуждение Г. Хёнигсвальда о нетождественности фонетического изменения, которое может реа-

лизоваться постепенно и неощутимо [7], и фонемического изменения, носящего внезапный и дискретный характер (стр. 72—73). Хотя данное положение в книге остается в рамках критического отношения к концепции постепенного фонетического изменения, при условии подкрепления убедительными данными оно может пролить дополнительный свет на проблему расхождения фонетических и фонемических изменений [8].

Некоторые случаи контактной ассимиляции анализируются с точки зрения замещения одного дифференциального признака другим под влиянием смежной фонемы (обусловленное изменение); в качестве безусловного изменения называется внутрисегментная ассимиляция дифференциальных признаков (в ряде индоевропейских языков протоиндоевропейская аспирата *dh* перешла в *d* в результате ассимиляции дифференциальных признаков звонкости и придыхательности). При наличии гиперформ, в которых наблюдаются неожиданные изменения, и при целом ряде оговорок соображения фонетической вероятности используются в целях контроля над возможностями, оставляемыми процедурами реконструкции и основанными на самом контрасте. В определенном противоречии себе автор несколькими страницами позже признает, что направление звуковых изменений невозможно предсказать, а аргумент: «вследствие облегчения артикуляции» — слаб и в лучшем случае служит сужению возможностей изменения.

Автор считает, что при звуковом изменении слияние является центральным процессом; само фонемное расщепление в большинстве случаев вызвано слиянием или приводит к нему; помимо этого, по мнению Хёнигсвальда, в этой сфере целесообразно отличать первичное расщепление, при котором сохраняется прежнее окружение, от вторичного расщепления, когда прежние различия в окружении исчезают в результате слияния (и.-е. $*k^we$ и $*k^wo$ с контрастирующими гласными модифицировались в индо-иран. *ka* и *ča* с контрастирующими согласными вследствие слияния гласных).

Слияние порождает омонимию и потому создает опасность для коммуникации. Автор считает целесообразным поискать обратное соотношение между сферой действия слияния и множеством реальной омонимии, которую она породила или может породить. Угрожающая омонимия рассматривается как противодействующая силам «артикуляционного облегчения» в предупреждении слияния и в сохранении фонемического контраста, даже когда он минимален. Более того, автор предлагает рассматривать фонетические системы как обнаруживающие тенденцию к состоянию равновесия, исключающего как крайности в частотности оккуренции, так и отсутствие симметрии, что в равной мере относится к инвентарю фонем и их дифференциальных признаков. При заимствовании фонем расширяются, в частности, комбинаторные возможности дифференциальных признаков, как и сам их инвентарь.

В разделе об ареалах конвергенции высказывается ряд неоспоримых мыслей относительно зависимости языковых (прежде всего фонических) изменений от языкового контакта. Несомненно, мысль автора о том, что языковой ареал следует рассматривать как один из важнейших факторов в сфере диахронии, является весьма плодотворной [9]. Вместе с тем приходится отметить, что автор не освещает в достаточной мере возможности случайных совпадений, не являющихся ни заимствованиями, ни импликациями генетического родства [10].

Для уяснения подхода автора к обоснованию внутренней реконструкции важна десятая глава, посвященная альтернациям, фонологическим и морфологическим. В сфере последних существенно различие между супплетивной альтернацией [англ. *go* и *wend* (в *wen-t*) как члены одной морфемы] и морфофонемической [англ. *roof* и *roov* (в *rooves*)]. Прежде чем приступить к изучению морфофонемических последствий звуковых изменений, Г. Хёнигсвальд признает очевидным, что процессы слияния не оставляют никаких последствий, кроме учащенной встречаемости результата слияния, и не ведут к грамматическому усложнению.

В одиннадцатой главе ставится проблема относительной хронологии. Задача исследования формулируется так: каковы формальные отношения между последовательными звуковыми изменениями, если имеются более чем две последовательные стадии одного языка?

В двенадцатой главе автор представляет процедуры сравнительного метода, используя термин «ряд соответствий» («a set of correspondences») [11]. Этим термином обозначаются, например, фонемы *x* и *z* (в виде *x*/*z*) двух родственных языков, восходящих к их общему предшественнику, в котором эти фонемы выступали как *y*. Весьма важны в этой главе выводы о достоинствах и ограниченности обоих методов реконструкции — внутренней и сравнительной.

В основе внутренней реконструкции лежит тот принцип, что альтернирующие

[7] См. об этом также: Ch. F. Hockett, A course in modern linguistics, 2-nd printing, New York, 1959, стр. 439.

[8] См. об этой проблеме также: A. Hill, Phonetic and phonemic change, «Language», XII, 1, 1936, стр. 15; H. M. Hoenigswald, Sound change and linguistic structure, «Language», XXII, 2, 1946, стр. 138.

[9] Ср. также: M. B. Emeneau, India as a linguistic area, «Language», XXXII, 1, 1956, стр. 7.

[10] См. о подобных совпадениях: J. H. Greenberg, Historical linguistics and unwritten languages, в сб. «Anthropology today», Chicago, 1953, стр. 268.

[11] Против этого термина решительно возражает У. Чейф, считая, что вполне достаточно применять здесь термин «соответствие» (см. W. L. Chafe, указ. рец., стр. 118).

фонемы представляют собой — полностью или частично — прежние соаллофоны. Внутренняя реконструкция может восстанавливать процессы расщепления при условии, что морфные границы встречались между фоной, о которой идет речь, и фоной (или фонами), составляющей окружение. Она восстанавливает процессы слияния, поскольку последние носят побочный характер по отношению к процессам расщепления. Возможности успешной внутренней реконструкции уменьшаются по мере того, как утрата морфемы, изменение по аналогии и дальнейшие звуковые изменения скрывают последствия расщепления.

В основе сравнительного метода лежит тот принцип, что ряды воспроизводящихся фонемных соответствий между двумя родственными языками сохраняют сочетания позиционных аллофонов от материнского языка; поэтому если такие ряды подводятся под анализ в соответствии с фонами синхронической фонетики, реконструкция достижима. Если расщепление постигает ту же самую протофонему в каждом «дочернем» языке («daughter language»), частичное сходство между рядами соответствий ослабляется, но их дистрибуция остается нетронутой. Если та же самая протофонема подвергается слиянию в каждом «дочернем» языке, слияние не должно быть сдвоенным, т. е. тот же самый ряд не может возникнуть дважды в одном и том же окружении, и первоначальный контраст не поддается восстановлению.

Сравнительным методом нельзя восстановить сдвоенного слияния (например: и.-е. **dh* в славянском и иранском сливается с *d* и из ряда соответствий слав. *d*/иран. *d* нельзя реконструировать индоевропейскую протофонему **dh*), а безусловное слияние не может быть восстановлено при помощи внутренней реконструкции (протосемит. ⊂ и γ слились в γ в древнееврейском и ряде других семитских языков). Применение внутренней и сравнительной реконструкций в их сочетании оказывается во многих случаях весьма плодотворным.

Заключительная тринадцатая глава указывает возможности классификации языков одной семьи по отношению к реконструируемому языку, к языку промежуточной стадии и к взаимоотношениям генетического родства. Автор указывает, в какой мере глоттохронология способна также пролить свет на данную проблему.

Лингвист найдет в книге Г. Хёнигсвальда достаточно строгую классификацию фонологических и морфологических изменений на материале преимущественно индоевропейской семьи языков; в соответствии с классификацией намечены возможности реконструкции. Достаточно явственно делается упор на необходимость согласования результатов реконструкции с типологическими возможностями. Установление моделей замещения на уровне фонологии и морфологии, равно как и выявление возможностей реконструкции, составляют главное достоинство книги, хотя название последней призвано говорить, видимо, о более широком диапазоне классификации: мы имеем в виду синтаксис и семантику. Метод трансформационного анализа здесь лишь упомянут как инструмент, при помощи которого достигается сокращение совокупности речевых отрезков. Что касается семантических изменений, то автор стремится проанализировать таковые при помощи дистрибуционной техники: две формы признаются синонимичными, если они характеризуются одними и теми же контрастными окружениями. Утверждения автора представляются, однако, в этой сфере незавершенными и недостаточно убедительными. Механизм изменений и процедуры реконструкций во многих случаях стали яснее; однако необходимо провести проверку предложенных процедур на материале различных языковых семей.

Серьезный характер темы, специфичность терминологии и чрезмерная экономия в словах не являются единственными причинами, затрудняющими восприятие книги: создается впечатление, что автор изложил свои наблюдения и соображения в области, в которой он еще продолжает свои исследования. Г. Хёнигсвальд отнюдь не склонен подвергать сомнению надежность методов внутренней и сравнительной реконструкций, положения новейшей фонологии, в частности системы различительных признаков, равно как и лексикостатистики. Он использует их в качестве рабочего инструмента: его интересуют детали процедур при строго классифицированных моделях замещения. Автор не закрывает глаза и на ограниченные возможности метода. К сожалению, книга плохо откорректирована. Но, на наш взгляд, имеющиеся недочеты редакционной обработки [12] не могут заметно снизить достоинства этого детального исследования, классифицирующего процедуры диахронической лингвистики.

Ю. Я. Глазов

[12] Перечень недочетов см.: W. L. C h a f e, указ. рец., стр. 120; F. W. H o u s e h o l d e r, указ. соч., стр. 79.

И. Леков. **Насоки в развоя на фонологичните системи на славянските езици.**— София, 1960. 116 стр. (Издание на Българската Академия на науките).

Монография известного болгарского лингвиста, автора многих исследований по сравнительной грамматике славянских языков проф. И. Лекова имеет своей целью установление путей формирования и развития фонологических систем в славянских языках, а также выяснение хронологического и территориального распределения отдельных фонологических явлений.

Потребность в подобном исследовании очень велика. По существу со времени выхода работы Р. Якобсона «Замечания о фонологической эволюции русского языка в сравнении с другими славян-

скими языками» [1] не было обобщающих трудов, посвященных систематическому анализу развития славянских фонологических систем. Это обстоятельство обусловливает известный пробел в славянском языкознании, хотя в последние годы появилось немало интересных работ, посвященных анализу фонологического развития отдельных славянских языков или анализу отдельных фаз этого развития в пределах всей славянской группы, а также монографическому описанию истории отдельных элементов славянской фонологической системы [2].

Книга И. Лекова состоит из введения и четырех глав. Во «Введении» (стр. 3—13) вслед за пражскими и московскими фонологами он квалифицирует взаимоотношение звука и фонемы как неразрывное единство двух разных сторон одного и того же явления. Звук и фонема — это частное и общее, материальное и знаковое в звуковом плане языка. И. Леков справедливо подчеркивает, что, несмотря на единство функциональной (нематериальной) и звуковой (материальной) стороны языка, отождествлять звук и фонему нельзя. Но при этом он считает, что в языковом акте, объединяющем материальное и абстрактное, первичным является материальное, так как звук выступает как организатор коммуникативной функции языка (стр. 4); при этом не учитывается то обстоятельство, что утверждать это — значит по существу отрицать единство звуковой и функциональной стороны языка, поскольку между звуковой и функциональной стороной языка отсутствуют подобные иерархические отношения и обе они являются в равной мере первичными. В отличие от сторонников дистрибутивного определения фонем, которое, по мнению И. Лекова, вообще является перспективным, он считает, что в определение фонемы как необходимый элемент должно входить понятие смыслоразличительной функции (стр. 6).

В общей форме И. Леков затрагивает вопросы о характере, причинах и закономерностях фонологического развития; причины фонологического развития, по его мнению, могут быть связаны как с фонетическими, так и с фонологическими факторами. В развитии фонологической системы могут играть роль как особенности артикуляционной базы, так и потребности системы. Нередко фонетические и фонологические причины образуют сложный следственный ряд (стр. 11). Здесь нельзя согласиться лишь с тем, что фонологические изменения всегда качественны в звуковом отношении, а фонетические — количественны; тем более, что в качестве примеров, иллюстрирующих то и другое, приводятся изменения $k'>č$ и $k'>k''>k'''$. Подобное утверждение является по существу отождествлением звука и фонемы. Нередко качественные звуковые изменения могут не иметь фонологических последствий (так, $ć$ из t' в польском языке продолжает функционировать как представитель фонемы t [3]) и в то же время незначительные количественные звуковые изменения бывают сопряжены с фонологическими результатами (ср. смягчение полумягких в праславянском, приведшее в конечном счете к появлению новых фонем).

Обращаясь непосредственно к разбору основной части книги, следует заметить, что нередко принимаемые автором принципы пражской и московской фонологических школ не соблюдаются последовательно при анализе конкретных данных фонологических систем славянских языков.

Первая глава (стр. 15—32), посвященная сравнительной характеристике современного состояния фонологических систем славянских языков, открывается общим обзором фонологической системы праславянского языка. В некоторых случаях И. Леков безо всякого основания переносит в праславянский период отношения, характерные для современных языков. Так, он пишет, что в первый период праславянской общности в консонантизме имеется корреляция глухости — звонкости: $p — b$, $t — d$, $s — z$, $k — g$ (стр. 16). Но противопоставление коррелятивных фонем, как известно, должно подвергаться нейтрализации [4]. А такая возможность для глухих и звонких создалась лишь в результате падения редуцированных [5]. Также без всякого основания И. Леков отождествляет праславянское позиционное по своему содержанию смягчение согласных с появлением новых фонем (стр. 17). Неясно, почему в системе праславянского консонантизма опускается спирант j. В применении к первому периоду праславянской общности говорить о дефонологизации j было бы преждевременно.

Переходя к анализу фонологических систем современных славянских литературных языков, И. Леков подчеркивает не-

[1] R. Jakobson, Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves (TCLP, 2), 1929.

[2] См.: Z. Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa, 1952; M. Komárek, Historická mluvnice česká. I, Praha, 1958; M. Komarek, Zur Entwicklung des tschechischen Vokalsystems, ZfS, I, 4, 1956; П. Ивић, Два главна правца развоја консонантизма у српскохрватском језику, «Годишњак филозофск. фак-та у Новом Саду», II, 1957; П. Ивич, Основные пути развития сербохорватского вокализма, ВЯ, 1958, 1; F. V. Mareš, Vznik slovenkého fonologického systému a jeho vývoj do konce obdobi slovanské jazykové jednoty, «Slavia», XXV, 4, 1956.

[3] Ср. С. К. Шаумян, История системы дифференциальных элементов в польском языке, М., 1958, стр. 64.

[4] Ср. определение корреляции в книге: N. S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, Prague, 1939, стр. 76—77

[5] Ср. С. Б. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, М., 1961, стр. 261.

обходимость постоянного сравнения с праславянским состоянием на том основании, что все славянские языки «проявляют... склонность к архаизмам» (стр. 19) (ими, по мнению И. Лекова, являются носовые в польском, слоговые сонанты в чешском, гласный ъ в болгарском). Однако фонологическая система — понятие строго синхронное, и это делает неправомерным самое понятие «фонологического архаизма», т. е. элемента старого в новом окружении. Элементы системы, совпадающие с элементами более ранних синхронных срезов, являются органической частью новой системы, и нет никаких оснований считать носовые в польском или ъ в болгарском праславянскими архаизмами, тем более что различия в функциональной характеристике этих гласных очевидны. Фонологические архаизмы могут иметь стилистическое функционирование, но в этом случае речь идет о сосуществовании разных систем с дублетными формами. Ср. аканье и оканье в московском языке XVI—XVII вв.

Анализируя фонологические системы современных славянских языков, И. Леков нередко ошибочно определяет их состав, так как отождествляет звук и фонему. Так, в русском языке, вопреки убеждению И. Лекова (стр. 21), нет фонем *k'*, *g'*, *x'*: мягкие задненебные согласные являются позиционно обусловленными представителями фонем *k*, *g*, *x*[6]. Нет мягких задненебных фонем также ни в украинском, ни в белорусском. В украинском языке нет фонем *p'*, *b'*, *m'*, *v'*, так как мягкие губные согласные здесь в одних позициях отвердели, в других — выделили мягкость в самостоятельную артикуляцию, которая с предшествующим губным образует двухфонемное сочетание (ср. *pi̯anic'a* и *pi̯at'*). Мягкость же губных перед $i < ě$, $ō$ носит позиционный характер.

Основываясь лишь на качестве звуков, И. Леков считает, что в белорусском согласные *c'*, *dz'* образуют фонемы, парные по твердости — мягкости с *c*, *dz*, а в польском соответственно *dź* — *dz*, *ć* — *c* (хотя с артикуляционной точки зрения польские *dź*, *ć* находятся в паре с *dž*, *č*). Однако белорусск. *c'*, *dz'* и польск. *ć*, *dź* являются представителями фонем *t'*, *d'*, коррелятивных по твердости — мягкости с фонемами *t*, *d*; ср. возможность нейтрализации их противопоставления (белорусск. *pot*, *kos'c'* > > *potny*, *kostny*, польск. *m'edź*, *voda* > *m'edin'ca*, *vod'n'ica*). На этом же основании польские *s* и *ś*, *z* и *ź* являются представителями фонем *s* и *s'*, *z* и *z'*. Кстати заметим, что, вопреки мнению И. Лекова (стр. 22), в белорусском языке ни одна пара твердых — мягких фонем не нейтрализуется в *č*, *ž* или *š*, а в *d*, *t* нейтрализуется только противопоставление *d* — *dz'*, *t* — *c'*. Подводя итог сравнению славянских фонологических систем, И. Леков отмечает, что для разных славянских языков характерно сочетание богатого вокализма с менее разработанной системой консонантизма; напротив, богатый консонантизм сопровождается бедным вокализмом (стр. 25). Это положение было в свое время детально разработано А. В. Исаченко[7].

И. Леков группирует славянские языки в зависимости от степени развития в них противопоставления по твердости — мягкости. Вряд ли правомерно отождествлять оппозицию твердости — мягкости, характерную для восточнославянских и западнославянских языков, с оппозицией, образованной твердыми и мягкими согласными в сербскохорватском языке (стр. 25). Кажется более вероятным, что сербскохорватская оппозиция функционально не тождественна корреляции твердости — мягкости[8]. Определяя общее в фонологических системах славянских языков, И. Леков называет и стремление к твердости согласных *ž*, *š* (стр. 27). Однако для анализа фонологической системы это не существенно, так как мягкость согласных *ž*, *š* функционально незначима и поэтому легко утрачивается.

При выявлении фонологических особенностей славянских диалектов в сравнении с литературными языками И. Леков называет результаты изменений, не имевших функциональных последствий. Так, характерное для некоторых русских говоров изменение $a > e$ между мягкими согласными не меняет состава их вокализма: сохраняется как фонема *a*, так и *e*; *то же можно сказать об отсутствии изменения* $e > o$.

Вторая — основная — глава (стр. 33—75) посвящена развитию славянских фонологических систем. И. Леков исходит из того представления, что генетическому тождеству и различию соответствует фонологическое тождество и различие. Вследствие этого анализ фонологических изменений подменяется сравнительно-историческим рассмотрением тех звуковых изменений, которые имели место в славянских языках после выделения их из праславянского единства. Одни из них уходят своими корнями в праславянский период, другие относятся к периоду самостоятельного развития славянских языков. Однако многие из этих изменений не вызвали фонологических различий между славянскими языками. Таково, например, развитие групп **ort*, **olt*, **tort*, **tolt*. Нет никаких оснований называть полногласие в русском языке «структурным признаком» (стр. 47) в фонологическом смысле.

Развитие редуцированных также не вызвало фонологических различий в славянских языках: везде слабые редуцированные утрачиваются, а сильные совпадают с имеющимися нередуцированными фонемами. Не

[6] Ср. Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, стр. 186.

[7] A. Isačenko, Versuch einer Typologie der slavischen Sprachen, «Linguistica slovaca», I/II, Bratislava, 1939/1940.

[8] См.: P. Jakobson, Über die phonologischen Sprachbünde, TCLP, IV, 1931, стр. 237; П. С. Кузнецов, О фонологической системе сербо-хорватского языка, ИАН ОЛЯ, 1948, 2, стр. 136.

составляет исключения в этом отношении и болгарский язык, где ъ вокализовался в гласный, совпавший в конечном итоге с заменой *ǫ. Не связана с фонологическими различиями неодинаковая замена согласного *x' или праславянских сочетаний губных с j (стр. 68, 70), а также утрата в парадигме именного склонения чередования задненебных и свистящих (стр. 72), и т. д.

История фонологической системы — это ряд синхронных срезов, каждый из которых характеризуется специфическими взаимоотношениями составных элементов. И. Леков рассматривает каждое явление изолированно, вне системы, хотя и считает необходимым устанавливать отношение каждого явления: 1) к грамматическому строю, 2) к лексике, 3) к позиции в слове, 4) к звуковому контексту, 5) к просодическим особенностям (стр. 34). Следствием этого является последовательное отождествление звуковых изменений с фонологическими.

Так, И. Леков считает, что в зависимости от качества замены сильных ъ, ь славянские языки делятся на две группы: западную (чешский, польский, сербскохорватский, словенский), где фонематическая оппозиция ъ — ь была ликвидирована, и восточную (русский, болгарский), где эта оппозиция сохранилась и перешла в *о — е* (русск.), ъ — *е* (болг.). В действительности же в русском языке после падения редуцированных в связи с оформлением корреляции твердости — мягкости гласные *о* и *е* (в том числе и из ъ, ь) функционировали как позиционно обусловленные представители одной фонемы, т. е. были функционально тождественны, как и замены ъ и ь в польском. Лишь позже, в частности, в связи с изменением *ě* > *e*, вновь произошла фонологизация гласных *е* и *о* в русском языке. Кроме того, вряд ли можно отождествлять развитие редуцированных в чешском и польском, с одной стороны, и в сербскохорватском другой. Различи как причины, вызвавшие утрату противопоставления ъ — ь, так и хронология этой утраты. В польском и чешском совпадение замен ъ и ь было связано с их функциональным отождествлением, которое в свою очередь было обусловлено оформлением корреляции твердости — мягкости в этих языках после падения слабых редуцированных. Что касается сербскохорватского языка, то здесь, по всей вероятности, дефонологизация противопоставления ъ — ь произошла задолго до падения слабых редуцированных и была вызвана тенденцией к упрощению чрезмерно усложненной системы вокализма [9]. Развитие редуцированных в славянских языках является примером того, как разные звуковые результаты могут быть следствием одинаковых фонологических тенденций и, напротив, одинаковые звуковые результаты — следствием разных тенденций.

Рассматривая развитие слоговых сонантов (стр. 40), И. Леков принимает a priori, что слоговость сонантов всегда фонематически значима. В действительности же слоговые сонанты на протяжении истории славянских языков меняли свое фонематическое качество. В современном сербскохорватском они являются слогообразующими фонемами, в чешском и словацком — позиционно обусловленными представителями согласных фонем [10].

Останавливаясь на дифтонгизации (стр. 47), И. Леков объединяет совершенно разнородные явления. Нельзя в один ряд ставить дифтонгизацию гласных в чешском языке и появление сочетаний гласных с i̯ вследствие выделения мягкости согласных в самостоятельную артикуляцию (*deiść*, *kóin'*/*kói̯n*) в лужицких языках. В последнем случае речь должна идти о двухфонемных сочетаниях (н.-луж. *dei̯ść* как *dai̯śe*). Не образует дифтонга в фонологическом смысле и окончание род. падежа мн. числа *oц̯* < *ov*: это двухфонемное сочетание, *ц̯* функционирует как представитель фонемы *v*.

В разделе «Перегласовка гласных» (стр. 62) объединяются совершенно различные по функциональному содержанию явления. Это *ě* $\swarrow^{e}_{a}$ в польском и болгарском, *e* > *o* в восточнославянских и польском, *a* > *e*, *u* > *i* в чешском. Все эти изменения автор делит на три типа в зависимости от звукового качества результата изменения (передний или задний гласный), что не имеет отношения к фонологии. С функциональной точки зрения изменения *ě* $\swarrow^{e}_{a}$ (польск., болг.) и *e* > *o* (русск., белорусск., польск.) могут быть объединены в одну группу. К ним бы следовало еще прибавить польское изменение *ę̯* > *ǫ* (*ą̯* > *ȧ*). Все эти звуковые изменения были вызваны функциональным отождествлением передних и непередних гласных в пределах одного подъема вследствие оформления корреляции твердости — мягкости в этих языках и имели в конечном счете функциональные последствия, так как способствовали последующему функциональному обособлению передних и непередних гласных. Совсем иным по своему содержанию является изменение *a* > *e* в соседстве с мягкими согласными. Во всех языках это изменение чисто фонетическое как по своим причинам, так и по результатам. Кстати, совсем непонятно, почему И. Леков считает, что в русских *ёкать*, *ёлка*, *ёмкость* имеет место изменение *e* > *o* в абсолютном начале слова (стр. 63).

Анализ такого важного явления, как редукция гласных (стр. 60), также сведен всего лишь к констатации звуковых изменений. Между тем функциональное значение редукции состоит в том, что она обусловливает различие между вокализмом ударенных и вокализмом безударных слогов. Безударный вокализм может отли-

[9] Ср. П. Ивич, Основные пути развития сербохорватского вокализма, стр. 7.

[10] Ср. С. Б. Бернштейн, указ. соч., стр. 270.

чаться от ударенного не только меньшим количеством фонем, но и принципом построения. Ср. русские акающие говоры, где в предударных слогах система гласных фонем строится на основе различения двух степеней подъема, а не трех, как это имеет место в слоге под ударением.

И. Леков подробно останавливается на заменах *tj, *dj. В зависимости от качества звуков, выступающих на месте этих праславянских сочетаний, славянские языки делятся им на две группы: в русском, белорусском, чешском, словенском замены *tj, *dj образуют асимметричное отношение; в украинском, сербскохорватском, польском, словацком, македонском представлено симметричное отношение тех же замен (стр. 66—67). При этом остается невыясненным вопрос о том, сопровождается ли различное звуковое развитие *dj, *tj появлением фонологических различий в славянских языках. Здесь следует заметить, что в большей части случаев звуки, развившиеся на месте *tj, *dj, не образовали новых фонем, а примкнули к уже имеющимся фонемам (или сочетаниям фонем). И только в сербскохорватском аффрикаты ћ, ђ, а также, видимо, в украинском аффриката дж являются представителями фонем, развившихся именно вследствие тех процессов, которые претерпели *tj, *dj в этих языках.

Касаясь изменений согласного *l*, И. Леков не дифференцирует эти изменения в зависимости от того, ведут ли они к утрате оппозиции *l* — *l'* или нет (стр. 73—74). Так, нельзя отождествлять изменение $l > \mu$ в польском и белорусском языках. Неодинаковы позиционные условия этого изменения: польское изменение $l > \mu$ позиционно не ограничено, в белорусском же, а так же украинском, изменение $l > \mu$ имеет место на конце слова в причастиях мужского рода на *l* и слове *pol*, а в середине слова перед согласными в сочетаниях, восходящих к *tъlt. В соответствии с этим различны и фонологические результаты изменения $l > \mu$ в этих языках: в польском оппозиция *l* — *l'* утрачивается, в белорусском сохраняется. Нет никаких оснований расценивать изменение v, $l > \mu$ как вокализацию согласных (стр. 101). В украинском, польском, лужицком языках спирант μ является представителем фонемы v.

Не всегда можно согласиться с предложенными И. Лековым объяснениями причин некоторых фонологических изменений. Так, появление согласного γ (*h*) объясняется стремлением возместить отсутствующий член пропорции $k : x = g : o$. Сохранению пропорциональных отношений после появления γ (*h*) способствует наличие взрывного g в иноязычных заимствованиях (стр. 74). Вообще положение о том, что стремление к системной симметрии может вызвать фонетические и фонологические изменения, далеко не безусловно [11]. Кроме того, заметим, что изменение $g > \gamma$ (*h*) и не ведет к преобразованию непропорциональных отношений в пропорциональные, так как заимствованная лексика располагает особой системой фонем, отличной от основной системы. Если же слово перестает восприниматься как заимствованное, то в нем происходит изменение $g > \gamma$.

Глава третья (стр. 76—82) посвящена фонемной структуре слова в славянских языках. И. Леков выделяет три типа сочетаний фонем в зависимости от качества сочетающихся элементов. К сожалению, совсем не уделяется внимания сочетаниям согласных с гласными. А именно эти сочетания на протяжении истории претерпевали значительные структурные преобразования. Ср. наличие неразложимых сочетаний согласных с последующими гласными в период после смягчения полумягких до падения редуцированных. В современных славянских языках неодинакова сочетаемость согласных с некоторыми гласными. Ср. сочетания мягких согласных с последующим *и*. Принципиально неверной представляется нам постановка вопроса о различной степени зависимости и самостоятельности гласных в славянских языках (стр. 80). Понятие самостоятельности в этом случае неприменимо. В этой же главе высказаны соображения по поводу граничного сигнала слова, интонации в предложении, а также даны некоторые статистические характеристики употребления гласных и согласных в славянских языках.

В четвертой, заключительной, главе (стр. 83—102) И. Леков делает выводы о причинности и основных закономерностях славянского фонологического развития. Среди явлений, определивших специфику праславянского фонологического строя, И. Леков называет образование открытых слогов в сочетании с палатализацией согласных, делабиализацией гласных и гармонизацией слогов (стр. 89). При этом история слога в праславянском и позже в славянских языках рассматривается как ряд изменений первоначальной оппозиции «согласный — гласный» в начале и конце слова (стр. 84—85). Среди характерных особенностей славянского фонологического развития И. Леков называет цикличность, стремление к упрощению системы и к ее дихотомической организации (стр. 92) и в то же время разнообразие в направлении отдельных фонологических изменений — их однонаправленность и многонаправленность (стр. 94). Основной фактор фонологического развития определяется как сочетание внутренних (требования системы) и внешних (артикуляционная база) причин (стр. 93).

И. Леков указывает на цикличность таких характерных для славянских языков изменений, как лабиализация, палатализация, открытость слога, вокализация (стр. 92). Если иметь в виду фонологическое развитие, то не во всех приведенных И. Лековым случаях может идти речь о цикличности в развитии. Так, праславянская делабиализация *ū*, *ī* имела результатом перестройку вокализма на основе новых дифференциальных признаков; напротив, ла-

[11] Ср. С. Б. Бернштейн, указ. соч., стр. 296—297.

биализация гласных в славянских языках (*е* > *о*, *ѣ* > *и*) не имела подобных фонологических последствий. Таким образом, *в фонологическом плане эти два процесса* (стр. 90) не сопоставимы. По тем же соображениям нельзя сопоставлять делабиализацию гласных и развитие аканья (стр. 101).

И. Леков группирует фонологические изменения по принципу разнообразия в направлениях развития. К сожалению, примеры, приведенные автором, вновь свидетельствуют, что он имеет в виду только звуковые изменения. Так, в качестве максимальной многонаправленности фонологического развития приводится замена **dj* (*стр. 95*). *При определении направлений* в развитии консонантизма восточнославянские языки противопоставлены польскому на том основании, что первые имеют стремление к средней мягкости, а второй — к крайней мягкости (стр. 96). Но и это различие только звуковое (кстати, белорусский, так же как и польский, имеет «крайнюю степень» мягкости).

Определяя хронологические этапы славянского фонологического развития, И. Леков первый этап связывает с появлением корреляции твердости — мягкости и относит его к X в. (стр. 96). Это вызывает возражения, так как нет оснований говорить о существовании корреляции твердости — мягкости до падения редуцированных. Далее высказываются соображения по поводу территориальной группировки славянских языков с точки зрения синхронического и диахронического распределения фонологических особенностей (стр. 98). В заключение дается характеристика основных тенденций, определяющих развитие отдельных славянских языков (стр. 101—102).

Подводя итоги сказанному выше, *можно заметить, что отождествление звука* и фонемы, генетических и фонологических различий и схождений привело к тому, что анализ фонологического развития оказался подмененным сравнительно-историческим рассмотрением звуковых изменений, имевших место в славянских языках. В результате задача выявления основных закономерностей формирования и развития славянских фонологических систем оказалась далекой от разрешения.

Л. Э. Калнынь

A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. I. Bevezetés. Hangtan. Szótan.— Budapest, Akadémiai kiadó, 1961. 600 стр.

Выход в свет первого тома академической описательной грамматики венгерского языка, явившейся итогом многолетней кропотливой исследовательской работы коллектива Института языкознания Венгерской Академии наук и некоторых других учреждений, положил начало ликвидации значительного и досадного пробела в исследовании венгерского языка. До сих пор в Венгрии изучение родного языка велось в основном в историческом и сравнительно-историческом плане. Если учесть, что даже замечательная «Подробная венгерская грамматика» Ж. Шимони [1] не является подлинно описательной работой (к тому же она уже несколько устарела, а кроме нее в Венгрии до нашего времени издавались описательные труды лишь школьного или популярного типа), далее если вспомнить, что грамматики современного венгерского языка, изданные за пределами Венгрии (например, работы Дж. Лотца, О. Соважо, К. Е. Майтинской), рассчитаны не на венгров и поэтому соответствовали прежде всего своим особым задачам (например, в них мало внимания *уделяется вопросам культуры речи*), становится очевидным, что рецензируемая «Грамматика современного венгерского языка» является действительно первой в своем роде.

Естественно, что при создании описательной грамматики ее авторам пришлось преодолеть немало трудностей как теоретического, так и прикладного характера (уточнение старой и введение новой терминологии). Еще в процессе работы над книгой издавались материалы дискуссий, посвященных спорным вопросам, а также отдельные исследования по частным вопросам описательной грамматики, которые (ввиду прежнего доминирующего в венгерской языковедческой науке исторического направления) до сих пор вообще не изучались.

Рецензируемая книга состоит из двух частей, не считая «Введения»,— «Фонетика» и «Учение о слове», которые в свою очередь распадаются на ряд разделов и глав [2]. Фамилии авторов, написавших те *или иные разделы грамматики*, указаны в оглавлении перед каждым новым разделом. В конце каждого раздела приведен краткий перечень наиболее важной специальной литературы (в основном на венгерском, реже и на иностранных языках); в самом тексте ссылки на работы других авторов делаются только в исключительных случаях. В целом грамматика построена с учетом достижений новейшей венгерской, советской и западной специальной литературы. Многие разделы снабжены таблицами.

Петитом набрано изложение различных мнений по спорным вопросам (без указания источника), краткие справки по истории языка и диалектологии, перечни относящихся к данному разделу грамматики наиболее распространенных ошибок

[1] S i m o n y i Zs., Tüzetes magyar nyelvtan, Budapest, 1895.

[2] К сожалению, текст «Грамматики» не разделен на параграфы; это мешает читателю ориентироваться внутри книги, тем более что ссылки на страницы встречаются весьма редко, а указания типа «см. выше», «см. ниже» порой слишком неопределенны.

в произношении, правописании, употреблении грамматических форм, слов и выражений; здесь же даются советы по спорным вопросам культуры речи. К заслугам авторов следует отнести то, что они всегда учитывали общераспространенность явлений в современной речевой практике и во многих случаях сумели стать выше чрезмерного академизма, проявляя известную терпимость к употреблению многих форм, оборотов и т. д., считавшихся прежде неправильными и недопустимыми. Так, известная свобода предоставляется в отношении произношения в отдельных словах краткого или удвоенного *l* (стр. 86), употребления вариантов суффиксов в словах со смешанным вокализмом (стр. 98), произношения ассимилированных согласных на стыке морфем (стр. 104, 105), употребления некоторых неправильно созданных слов (стр. 187, 208) и некоторых типов развернутых определительных конструкций (стр. 280), а также относительно использования слов, неправильно образованных в период обновления языка (стр. 343), и т. д.

В отличие от многих предыдущих работ в описательной грамматике весь объемистый иллюстративный материал подобран заново из произведений самых различных жанров и стилей, начиная с литературы середины XIX в. и вплоть до наших дней. Особенно ценно, что сравнительно редкие языковые явления показаны иногда на большем количестве примеров, чем обычные и всем известные особенности. Следуя примеру академической «Грамматики русского языка» (I—II, М., 1952, 1954), авторский коллектив считал целесообразным по возможности придерживаться традиций, установившихся в прежних описательных грамматиках, но при этом оставался в разумных рамках.

Во «Введении» (автор — редактор I тома «Грамматики» Й. Томпа), состоящем из трех глав, рассматриваются такие проблемы, как система и закономерности функционирования языка, и обосновывается принятое в книге деление грамматического описания на три основные части: фонетику, учение о слове и синтаксис (стр. 22). Здесь же дается обзор разновидностей современного венгерского языка,— с одной стороны, литературного языка с разными стилями, общеразговорного языка и диалектов, с другой — «языков групп» (csoportnyelvek); к ним отнесен язык коллективов людей, например по профессии, занятию, возрасту и т. п. (канцелярский язык, профессиональные языки, воровской жаргон, детский язык и т. п.). В связи с общей характеристикой современного этапа венгерского языка затрагиваются вопросы периодизации; для старо- и средневенгерских периодов сохраняется наиболее распространенная схема; в нововенгерском языке усматривается ряд этапов его развития (период до движения за «обновление языка», период «обновления языка», период ортологической реакции, период между двумя империалистическими войнами, современный венгерский язык, начиная с освобождения после второй мировой войны).

«Фонетика» (автор Л. Деме) разделяется на восемь глав. В первой главе рассматриваются общие вопросы (предмет фонетики, сущность фонемы, речевой аппарат и его функционирование и т. д.), во второй, третьей и четвертой главах — артикуляция звуков и классификация гласных и согласных, в пятой — иллюстрированные схемами системы взаимоотношений звуков внутри вокализма и консонантизма, в шестой — взаимодействие звуков в речи, в седьмой — слог, в восьмой — ударение и мелодика. По распределению и компактности материала, широте охвата фонетических явлений, подлинно синхронному подходу в анализе, использованию достижений экспериментальных исследований эта часть описательной грамматики представляет собой наиболее обстоятельное и удачное среди имеющихся описание фонетики современного венгерского языка. Приведены статистические данные о пропорциональном использовании гласных и согласных. Следует отметить, что автор рассматривает *j* во всех положениях как согласный, не признавая, таким образом, дифтонгов в венгерском, а фонемы, обозначенные *ty* и *gy*, по их положению в системе венгерских согласных рассматривает в качестве палатальных соответствий к *t* и *d* (а не в качестве аффрикат, как их рассматривает, например, З. Гомбоц). Однако нельзя согласиться с тем, что вопросы ударения автор целиком относит к синтаксису (стр. 63), так как при этом остаются несистематизированными сведения об ударении категорий слов. Л. Деме не рассматривает вопроса о влиянии письма на произношение, хотя здесь можно было бы указать на постепенную замену гласного *é* звуком *e*, ослабевание сокращения долгих согласных на стыке компонентов сложных слов или двух морфем (ср. стр. 103 внизу), а также ослабевание выпадения согласных между согласными.

Третья, самая большая часть книги называется «Учение о слове». Чтобы наглядно показать, насколько широко понимается предмет изучения данной части грамматики в венгерской грамматической науке, перечислим названия глав: I — «Общие вопросы слова и словарного состава», II — «Значение слова», III — «Категории слов», IV — «Общие вопросы, связанные с морфемами», V—«Основы слов», VI — «Суффиксальное образование слов», VII—«Словосложение», VIII— «Редкие способы образования слов»,IX — «Формообразование» (в буквальном переводе «Агглютинация»). Включение лексикологии (см. две первые главы) в грамматику для венгерских языков является традиционным. Однако в то время, как во многих прежних грамматических трудах «Учение о слове» в основном содержало лишь лексикологию и словообразование (о категориях слов обычно приводи-

лись лишь самые общие сведения)[3], в рецензируемой книге здесь подробно рассматриваются также вопросы формообразования. Заслуживает внимания тот факт, что авторы описательной грамматики пришли, таким образом, к необходимости раскрытия формообразования не только в синтаксическом аспекте, но также и в морфологическом.

В двух первых (лексикологических) главах (их авторы — соответственно Д. Сепе и М. Темеши) рассматриваются особенности венгерского слова и его «эквивалентов» (фразеологических единиц), характер и направление развития лексики современного венгерского языка, отношение лексики и грамматики, общие вопросы семасиологии (знаковость слова, семасиология как наука, вопросы связи звукового состава и значения слова), значение слова (моносемия и полисемия, постоянное и узуальное значение), омонимы, синонимы, антонимы, вопросы субъективной оценки слов, особенности значения нарицательных и собственных имен и т. д. Здесь содержится много метких примеров; в частности, приведены весьма остроумные примеры использования некоторых словообразующих суффиксов в целях субъективной оценки слова (стр. 169); однако ничего не говорится о том, что формы словоизменения также могут играть известную роль. Так, присоединение окончаний объективного ряда *-nók* ~ *-nők* в условном наклонении вместо более обычного *-nánk* ~ *-nénk*, употребление форм типа *lakjék* вместо *lakjon* и т. д. используются для передачи оттенка официальности, торжественности, церемонности. Из других мелких замечаний укажем только, что слово *anya* «мать» едва ли может считаться синонимом к слову *nő* «женщина» (стр. 164).

В главе «Категории слов» (авторы Ш. Имре и М. Темеши) выделены следующие разделы: 1) «Общие вопросы», 2) «Глагол», 3) «Имена», 4) «Наречия», 5) «Слова, выражающие отношения» (viszonyszók), 6) «Междометие». Не довольствуясь результатами прежних исследований, авторы главы сами искали новые решения по ряду как общих, так и конкретных вопросов. Много подробностей читатель узнает, например, о значениях, выражаемых различными типами глаголов (стр. 202—210), об употреблении и неупотреблении артиклей (стр. 269—280), о переходе знаменательных слов в послелоги (стр. 283—284) и т. д.

Известно, что проблема категории слов, несмотря на то, что вопрос о сущности и принципах выделения лексико-грамматических разрядов слов поднимался неоднократно, относится к наиболее трудным и невыясненным. Естественно поэтому, что много спорного содержится также в соответствующей главе описательной грамматики венгерского языка; спорным, в частности, представляется утверждение авторов о том, что категории слов практически образовались в процессе употребления слов в предложении[4] (стр. 195). При выделении категорий слов авторы исходят все же из лексического значения, правда, учитывая при этом также морфологическое строение слова и его синтаксическую функцию (стр. 196).

К наречиям оказываются отнесенными (с некоторыми оговорками; см. стр. 213, 251, 257) лишь такие слова, которые выражают отношения (по времени, месту, количеству и т. д.), например *oldalt* «сбоку», *eddig* «до сих пор» и т. д., т. е. авторы главы не признают наречий, образованных от прилагательных, типа *szépen* «красиво», *hangosan* «громко», *gazdagon* «богато» и т. д., а считают их именами. Однако, по нашему мнению, как раз подобные слова составляют наиболее многочисленную группу наречий. К падежным формам имен их, как нам кажется, не следует относить по двум основным причинам: а) падежные формы в венгерском языке в основном характерны для существительных, а для остальных категорий слов — лишь в случае их субстантивного употребления; б) разграничение указанных двух категорий (имен и наречий) в современном языке ясно прослеживается даже на оформителях; суффиксы суперессивного падежа: *-n* ~ *-on* ~ *-en* ~ *-ön*, а суффиксы наречий: *-n* ~ *-an* (реже *-on*) ~ *-en* (хотя исторически суффиксы подобных наречий безусловно восходят к суффиксам падежей).

Помимо собственно наречий (называемых в книге «настоящими наречиями»), к этому разряду отнесены также деепричастия, частицы в собственном смысле слова (называемые módosító szók «уточнительные слова») и глагольные приставки. К «настоящим» наречиям авторы относят также местоименные наречия и далее (указывая на их переходной характер) личные формы слов типа *tőlem*, *tőled* «от меня, от тебя», *belém*, *beléd* «в меня, в тебя» и т. д., которые по своему положению в системе современного языка стоят ближе к местоимениям, чем к наречиям (на это, в частности, указывает также их способность изменяться по лицам). Авторы правильно поступили, отделив «уточнительные слова» от других групп наречий. По нашему мнению, нет достаточно оснований рассматривать глагольные приставки в качестве отдельных слов, хотя они могут отделяться от глагола и часто далеко отстоять от него; в то же время глагольные приставки в своей основной функции составляют с глаголом одну лексическую единицу (именно так они толкуются и подаются в словарях), объединены с глаголом общим ударением. Сами авторы отчетливо сознают переходный характер глагольных приставок, неоднократно оговаривают его, и противоречивое употребление приставок в целом раскрывается здесь очень подробно.

[3] См., например, Й. Балашша, Венгерский язык, М., 1951.

[4] Аналогичное положение И. И. Мещанинова (см. его «Члены предложения и части речи», М. — Л., 1945, стр. 5) многими языковедами оспаривается.

Местоимения в книге распределяются прежде всего по их отношению к именным категориям слов. Таким образом выделяются группы, куда входят соответственно местоимения-существительные, местоимения-прилагательные и количественные местоимения. (В пределах этих групп оттенки значений и функций различных местоимений, их переходное положение среди разрядов слов раскрываются очень подробно.)

К «словам,' выражающим отношения», правильно отнесены артикли, послелоги, союзы. Особенно подробно анализируется употребление артиклей; всесторонне рассматривается также своеобразный в венгерском языке разряд послелогов и их отношение к другим категориям слов. Здесь хотелось бы видеть также некоторые сведения нормативного порядка (особенно ценные для иностранных читателей); так, весьма полезно было бы перечислить все послелоги, принимающие личные окончания (стр. 285), а также те, которые могут принимать суффикс-*i*. Можно было бы сделать еще некоторые мелкие замечания. Например, в связи с фактитивными (каузативными) глаголами (стр. 203) следовало бы отметить, что исполнитель действия выражается именем (местоимением) в форме твор. падежа (например, *vele végeztette a munkát* «выполнить работу он велел ему»); ничего нет об этом также на стр. 581 в связи с перечислением функций падежных форм *-val* ~ *-vel*. (Читателю, вероятно, эти сведения будут еще сообщены в синтаксисе.) Иногда встречаются неудачные примеры (см. стр. 202, 208, 244).

Четвертая и пятая главы посвящены анализу морфем и основ слов (автор Ш. Карой). Имея таких предшественников, как З. Гомбоц и Г. Барди, написавших глубокие исследования основ и суффиксов родного языка, Ш. Карой в отличие от них в своей работе сумел соединить свои теоретические взгляды, часто весьма оригинальные принципы классификации с практическим нормативным распределением всех добавлений («добавление» является собирательным термином для словообразовательных суффиксов, признаков и прилепов), показывая это на материале огромного количества слов. Эти главы очень хорошо согласованы с главами по слово- и формообразованию: «добавления» *по морфологическим свойствам и сочетаемости* с разными типами основ разделены на три группы, а на принадлежность к той или другой из них каждого суффикса делаются ссылки в главах по слово- и формообразованию, причем эта принадлежность подтверждается материалом.

В шестой главе «Суффиксальное образование слов» (автор Э. Ружицки) суффиксы традиционно разделены в зависимости от того, образуют ли они глаголы или имена; в свою очередь, различаются глаголы отглагольного и отыменного образования и имена отглагольного и отыменного образования. Согласно всей концепции книги в разделе имен рассматриваются инфинитив, причастия и даже деепричастия. (Словообразование наречий отсутствует. По-видимому, это и является причиной присоединения деепричастий к именам, в то время как в главе о категориях слов деепричастия отнесены к наречиям; см. стр. 258—260.) Различая продуктивные и непродуктивные суффиксы, автор принципиально не разграничивает продуктивность суффиксов и продуктивность словообразовательных типов. Очень ценно, что (где только возможно) отмечаются семантические различия в употреблении синонимических суффиксов (например, у суффиксов *-dos* ~ *-des* ~ *-dös* и *-kod* ~ *-ked* ~ *-köd*). Можно спорить о том, действительно ли все суффиксы, характеризуемые в книге как сложные, являются таковыми; например, суффиксы *-szori* ~ *-szëri* ~ *-szöri* или *-szoros* ~ *-szërës* ~ *-szörös*, по нашему мнению, состоят из двух самостоятельных суффиксов.

В седьмой главе рассматриваются способы словосложения (автор Б. Э. Лернинци). Автор выделяет сложные слова, составленные «органически», т. е. соответствующие какому-либо из двух основных типов словосочетания (сочинительному или подчинительному), и сложные слова, составленные «неорганически», т. е. соположения слов, не связанных способом подчинения или сочинения. Как показывают материалы книги, приведенные группы неравноценны: огромное большинство сложных слов относится к первой группе, «неорганическими» оказываются лишь некоторые нетипичные образования типа сложных союзов *hacsak* «если только», *éspedig* «а именно» и единичные слова типа *egyszeregy* «таблица умножения» (дословно: «один раз один»). Заслуживают внимания особенно удачно выполненные части, как, например, анализ типов повторения (удвоения, редупликаций), анализ ударения слов, составленных способом сочинения, а также перечень слов, часто используемых в сложных словах стр. 450).

В восьмой главе (автор Й. Томпа) впервые в систематизированном виде описываются редкие способы словообразования, каковыми являются обратное словообразование, создание новых слов, по своему строению параллельных существующим и отличающихся от них только *по гармонии гласных* (например, *csücsörít* ~ *csucsorít* «выпячивает»), а также создание новых слов путем народной этимологии, контаминации, сокращения, гаплологии, искажения звукового состава и т. д.

В последней главе (авторы Й. Томпа и А. Хамори) изучаются вопросы формообразования. Продолжая традиции, установившиеся в венгерских грамматических работах, авторы разделяют формообразующие «добавления» на признаки (показатели) и прилепы (агглютинаты). Признаками (jelek) называются оформители, соединяющие некоторые особенности прилепов и словообразующих суффиксов; при-

лепы же являются оформителями, выражающими отношения в предложении (стр. 476). Отдавая должное детальному описанию отдельных оттенков употребления форм, например, форм спряжения с *-ik* и без *-ik* (стр. 501, 506), степеней сравнения (стр. 526), форм личной притяжательности (стр. 533, 534), падежей, использования соединительных гласных (стр. 518) и т. д., нельзя, скажем, согласиться с определением суффиксов *-szor* ~ *-szêr* ~ *-ször*, *-n* и *-lag* ~ *-leg* как прилепов имен (т. е. как падежных окончаний): известно, что падежные окончания характерны прежде всего для существительных, а слова на *-lag* ~ *-leg* и *-szor* ~ *-szër* ~ *-szôr* не являются существительными, поскольку не могут изменяться по числам или лицам, не могут определяться числительными или прилагательными. Хотя авторы оговариваются, что в отношении склонения между индоевропейскими языками и венгерским имеются существенные различия (стр. 553), однако, как нам кажется, эти различия к данному случаю не могут быть отнесены.

Можно и здесь указать на отдельные мелкие упущения; в частности, следовало бы более подробно остановиться на стилистических оттенках употребления формы будущего времени (fog jönni) по сравнению с формой настоящего времени в значении будущего (jön).

Наши замечания касаются в основном спорных вопросов теоретического характера или незначительных упущений и нисколько не могут повлиять на общую оценку книги. По содержанию, по тщательной разработке множества деталей, по систематизации описания грамматических явлений, по богатству примеров, по полноте охвата описываемых вопросов, по решению ряда методических задач и уточнению терминов это произведение займет подобающее место не только в венгерском, но также и в финно-угорском языкознании и послужит образцом для составителей грамматик многих из этих родственных языков.

К. Е. Майтинская

ОБ ОДНОМ ИЗДАНИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ АН СССР *

В 1961 г. Комитет технической терминологии АН СССР (КТТ) выпустил очень нужное и полезное издание: книгу Д. С. Лотте «Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики», составление и редактирование которого выполнили научные сотрудники КТТ Я. А. Климовицкий и С. И. Коршунов; им же принадлежит и «Введение» (стр. 3—6). В начале 30-х годов вопросы терминологии стояли очень остро; это было связано и с потребностями науки и промышленности, и с первыми попытками организации прикладной лингвистики. В то время были организованы терминологические комиссии и при ЦК Нового алфавита, и в Научно-исследовательском институте языковедения (*НИЯЗ*), и в Научно-исследовательском институте ОГИЗа (НИИПиП) и в других местах. Откликом на эти потребности была и инициатива Д. С. Лотте, принимавшего участие в указанных организациях, когда он начал публиковать в печатных органах Академии наук свои первые статьи по научно-технической терминологии [1]. При поддержке академика С. А. Чаплыгина эта инициатива привела к образованию в 1933 г. Комиссии технической терминологии при Отделении технических наук АН СССР, преобразованной в 1938 г. в Комитет технической терминологии АН СССР на правах института [2].

С тех пор прошло четверть века, нет уже в живых его основателей С. А. Чаплыгина (ум. в 1942 г.) и Д. С. Лотте (ум. в 1950 г.), а КТТ продолжает плодотворно развивать свою деятельность, упорядочивать различные отраслевые терминологии, публиковать критические списки различных терминологий и отдельные труды по общетеоретическим и частным вопросам терминологической работы [3]. Среди этих работ особое место занимают труды Д. С. Лотте, публиковавшиеся в 40-е годы в «Известиях АН СССР, ОТН» и поэтому мало известные широкому кругу лингвистов а для лингвистов здесь, кроме нового материала, есть и очень много интересного в чисто лингвистическом плане. Поэтому издание этих трудов в одном томе следует всячески приветствовать.

В рецензируемый однотомник вошли не все опубликованные работы Д. С. Лотте, но и те, что вошли, достаточно «весомы» и интересны. Особенно интересна «тетралогия» под общим названием: «Образование системы научно-технических тер-

---

* Д. С. Лотте, Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики, М., 1961, 158 стр.

[1] Д. С. Лотте, Очередные задачи технической терминологии, ИАН СССР, Отд-ние обществ. наук, 1931, 7; его же, Упорядочение технической терминологии, «СОРЕНА», 1932, III.

[2] См. С. А. Чаплыгин и Д. С. Лотте, Задачи и методы работы по упорядочению технической терминологии, ИАН СССР, Отд-ние обществ. наук, 1937, 5.

[3] См., например: А. М. Терпигорев, Вопросы научно-технической терминологии, «Вестник АН СССР», 1950, 8; его же, Об упорядочении технической терминологии, ВЯ, 1953, 1; С. И. Коршунов, Синонимы в технической терминологии, ИАН СССР, ОТН, 1952, 10; Н. К. Сухов, Международная работа в области научно-технической терминологии, ВЯ, 1956, 3 и др.

минов», состоящая из следующих статей: «I. Элементы термина», «II. Влияние классификации на точность терминологии», «III. Условия точности и отчетливости терминологии» и «IV. Построение кратких форм терминов путем пропуска составляющих», где сосредоточены главные теоретические высказывания Д. С. Лотте.

Уже в первой части этой «тетралогии» — «Элементы термина» — Д. С. Лотте подчеркивает: «... термин должен обладать определенными систематизирующими свойствами, и эти свойства приобретают тем большее значение, чем больше понятий охватывается каждым классификационным рядом данной дисциплины» (стр. 72), что автор иллюстрирует на примере эволюции понимания системы сплавов. Вспомним у Энгельса рассуждение о том, что «значение какого-нибудь тела, а, следовательно, также и название его, не зависит уже просто от его состава, а обусловлено скорее его положением в том *ряду*, к которому оно принадлежит...» («Диалектика природы») [4]. По мысли Д. С. Лотте, «роль термина *нельзя ограничить лишь функцией „наименования“*. Научная терминология должна представлять собой не простую совокупность слов, а систему слов и словосочетаний, определенным образом между собой связанных... Термин нельзя рассматривать и оценивать изолированно... качества термина должны оцениваться в свете точности всей системы терминов и их систематизирующих свойств» (стр. 72—73).

Таким образом, здесь имеется в виду и систематичность в отношении понятий (чему посвящена вторая часть «тетралогии»: «Влияние классификации на точность терминологии»), и системность в отношении выбора терминологических слов и словосочетаний. Здесь, как нам кажется, Д. С. Лотте нащупал очень существенную особенность терминологии среди других лексических «полей», а именно то, что, являясь наиболее упорядоченным «полем слов», терминология тем не менее не может считаться в отношении системности идеальным или даже образцовым «полем» в силу своей двуплановости: система слов здесь в значительной мере подчиняется системе понятий, что совсем не то же самое.

В этой же статье есть один параграф, озаглавленный: «§ 2. Независимость термина от контекста», что автор формулирует так: «... „контекстное“ изменение значения термина является одним из наиболее существенных пороков терминологии, и его не следует ни в коем случае допускать. Смысловое содержание термина обусловлено тем понятием, которое данный термин должен выражать; его значение (так же как и форма и синтаксическая конструкция) не может зависеть от того предложения, в котором он употреблен, а должно определяться лишь всей системой *понятий и соответственно терминологией* данной дисциплины, области знания и т. п.» (стр. 74). Это положение далеко не общепризнано, но тем более приятно было его прочитать автору данных строк, излагавшему аналогичные мысли [5]. Правильная мысль высказана Д. С. Лотте и об однозначности термина: «Для точности терминологии вполне достаточно, чтобы термин обладал свойством „относительной однозначности“, т. е. чтобы он был однозначащим в пределах данной и родственных дисциплин» (стр. 75).

В конце этой работы Д. С. Лотте очень своевременно предостерегал: «Необходимо избегать также перенесения в готовом виде термина из одной дисциплины в другую для выражения того же или иного понятия без поэлементного анализа этого термина, так как системы терминологии в разных дисциплинах могут быть различны» (стр. 97). Мы сейчас свидетели пагубности этого «перенесения», когда термины математики, физики, механики опасно наводняют лингвистику.

Во второй статье этого цикла — «Влияние классификации на точность терминологии» — Д. С. Лотте ставит очень интересный *вопрос о необходимых и достаточных* признаках в образовании составных терминов и как пример приводит термин *тепловоз*, который «надо считать по существу неправильным, так как в нем отражен не тот признак, который следовало бы отразить. Для данного понятия непосредственно отраженный признак хотя и является необходимым, но он не принадлежит к числу достаточных» (стр. 98). Вопрос о необходимых и достаточных признаках больше принадлежит сфере логики, но для терминологии это обязательно, особенно если речь идет о нормализации терминологии. В этой статье систематика называемой предметности превалирует над чисто лингвистической систематикой (хотя автор и понимает, что это два сопряженных аспекта, см. выше), но, например, в § 8 автор ставит уже чисто лингвистически интересный вопрос о том, как «в качестве элементов или составных частей термина используются обычные слова, не имеющие явно выраженного значения в данной системе терминологии» (стр. 110).

В третьей части — «Условия точности и отчетливости терминологии» — очень интересно рассуждение о терминах *многоцилиндровая паровая машина* и *одноцилиндровая паровая машина*, где с точки зрения логики и лингвистики — возражений нет, но ... техническая онтология протестует против второго термина (стр. 113—114). В § 9 ставится вопрос о порядке сочетания элементов, под чем разумеется «определенная последовательность расположения элементов термина», что важно «для систематичности терминологии, в частности, для ее классификационной отчет-

[4] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 609.

[5] См. А. А. Реформатский Что такое термин и терминология, М., 1959, стр. 9—10 (см. также эту работу в сб. «Вопросы терминологии», М., 1961, стр. 51).

ливости» (стр. 125). Пожалуй, в этой части лингвисту меньше всего можно найти интересного; порой создается впечатление, что автор забыл то, что он писал раньше, и всецело ушел в сферу технической предметности.

Четвертая часть — «Построение кратких форм терминов путем пропуска составляющих» — скорее методика, чем теория. Здесь Д. С. Лотте разбирает разные способы образования «кратких форм технических терминов», «контекстный пропуск составляющих», «применение родового термина для обозначения наиболее часто употребляемого видового понятия»; это во многом перекликается со статьей «Изменение значений слов как средство образования научно-технических терминов»; я имею в виду такие пункты, как: «Перенос составляющих термина», «Видородовой перенос составляющих», «Отнесение признака „части“ к „целому“» и, наоборот, перенос по сопряженности и т. д. Конечно, в данной статье все эти явления подчинены общей теме: «Построение кратких форм терминов путем пропуска составляющих», но типы и случаи здесь повторяются. Что же касается отдельной статьи «Изменение значений слов как средство образования научно-технических терминов», то в ней безусловный интерес для лингвистов представляет параграф «Превращение обычного слова в научно-технический термин», где Д. С. Лотте показывает, как «с превращением обычного слова в научно-технический термин это слово в данной системе терминов получает вполне определенное содержание, т. е. к ранее зарегистрированным значениям такого слова прибавляется еще новое значение» (стр. 38). Однако после этого справедливого замечания его детализация кажется несколько случайной (стр. 38—39). Любопытны одновременные расширения и сужения значения термина *тормоз* в связи с укрупнением и детализацией тормозного устройства (стр. 40).

Рассуждения Д. С. Лотте о «переносе термина по аналогии» в общем не идут далее привычных определений младограмматиков и не учитывают новых семасиологических работ; но и тут есть свежие наблюдения и соображения, например, рассуждение о мыслях инженера Е. Вюстера (автора книги «Международная стандартизация языка в технике», Л. — М., 1935, перевод с нем.), где сказано: «... Вюстер под перенесением значения, как и многие лингвисты, понимает то, что мы обозначили как перенос термина с одного понятия на другое. Последнее выражение более правильно, так как переносится именно термин, а не его значение» (стр. 45). Действительно, отношение: слово — понятие — вещь требует более точных дефиниций; очевидно, Д. С. Лотте это по-своему понимал. Во всяком случае пункты и примеры автора на различные случаи «переносов» для лингвистов интересны и поучительны.

Отдельная статья посвящена вопросам омонимии: «Омонимия в научно-технической терминологии». Лингвистически эта статья, пожалуй, наиболее уязвима, так как автор судит не только о случаях омонимии в технической терминологии, но и вообще в языке, а эти рассуждения не учитывают всей сложности вопроса омонимии и всех тех случаев «равноименности», которые встречаются в языке (см., например, сноску 2 на стр. 62 о мнении Л. А Булаховского). Конечно, совпадение таких усечений, как *пром-* от *промышленный* и от *промежуточный* или *бенз-* от *бензин* и от *бензол*, при образовании сложносокращенных терминов — явление нежелательное (стр. 64), но суть омонимии этим не покрывается [6]. Почему, например, нельзя называть *газоходом* «часть парового котла» и совсем в иной области — «газогенераторное речное судно»? (стр. 66). Справедливо здесь вспомнить то, что писал об омонимии в «удаленных сферах понятий и эмоций» Л. А. Булаховский [7]. Таковы основные лингвистические вопросы, содержащиеся в данной публикации статей Д. С. Лотте.

Из его наследия не вошла в сборник статья «Очередные задачи технической терминологии» (ИАН СССР, Отд-ние обществ. наук, 1931, 7), где главным образом на материале автомобильной терминологии ставятся очень важные вопросы о синонимии в терминологии, о функциональной правильности семантики терминов, о языковых средствах образования терминов и об основных путях изучения терминов. Программа этой статьи во многом определила дальнейшие работы Д. С. Лотте (например, статью «Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов» в данном сборнике), а поэтому ее отсутствие здесь ощутимо. Отсутствие же второй статьи Д. С. Лотте («Упорядочение технической терминологии») вполне оправдано: это статья скорее популяризаторского стиля, повторяющая во многом положения первой статьи, к тому же еще снабженная широковещательным, но, как и всегда, маловразумительным и демагогическим предисловием Н. Я. Марра.

Что же касается тех статей Д. С. Лотте, которые вошли в сборник, то его составители (Я. А. Климовицкий и С. И. Коршунов) бережно сохранили их текст, сделав только те купюры, которые были вызваны вполне разумными соображениями.

---

[6] О том, сколько разноречия и разномыслия имеется в вопросе об омонимии в лингвистической среде, можно судить по «Дискуссии по вопросам омонимии» на открытом заседании Ученого совета Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (см. «Лексикографический сборник», IV, М., 1960, стр. 35—92).

[7] Л. А. Булаховский, Из жизни омонимов, сб. «Русская речь», Новая серия, II, Л., 1928, стр. 49, 55; кстати, пример с омонимами *газоход* приводит Р. А. Будагов в «Очерках по языкознанию» (М., 1953, стр. 31), правда, без упоминания статьи Д. С. Лотте.

Так, в совместной статье С. А. Чаплыгина и Д. С. Лотте «Задачи и методы работы по упорядочению технической терминологии» выпущены те абзацы, где речь шла об оперативных планах текущего года, о кадрах того времени и т. п.; в статье «Изменение значений слов как средство образования научно-технических терминов» опущен абзац с цитатой из Н. Я. Марра по поводу «созвучий» в свете «палеонтологии речи», совершенно не связанный с текстом всей статьи в целом. Значительную работу провели составители по упорядочению ссылок и сносок, многое уточнив и сократив; правда, попадаются и не очень удачные «уточнения»; так, например, *А. И. Томсон* (как это и было правильно в первой публикации данной статьи) стал *Томпсон* (стр. 39, 50, 55, 59), но зато ошибочный инициал А. у Леонарда Ольшки не выправлен (стр. 26, 60). Но это мелочи.

Весь процесс редакционной подготовки данного издания его составителями подробно разъяснен во «Введении», где правильно подчеркнуто, что «основной идеей работ Д. С. Лотте было представление о термине как члене терминологической системы» (стр. 4); там же сказано об идее Д. С. Лотте о независимости термина от контекста, о различии между научно-техническим термином и обычным словом (стр. 4) и др. Все это правильно ориентирует читателя сборника.

В целом надо порадоваться, что главные статьи Д. С. Лотте собраны и опубликованы в одном томе, что́ очень нужно сейчас при обостренном внимании к терминологии как практически со стороны техников и составителей словарей и справочников, так и теоретически со стороны лингвистов.

А. А. Реформатский

ТРУДЫ I И II КОНГРЕССОВ ЖИВОЙ ЛАТЫНИ

Материалы I и II международных конгрессов живой латыни *, состоявшихся в 1956 г. в Авиньоне и в 1959 г. в Лионе, дают картину широко развернувшегося в последние годы движения, которое ставит целью восстановление функций латинского языка как орудия международной связи, прежде всего в области научной работы, но в известной мере и за этими пределами — при всякого рода культурных сношениях между разноязычными народами. Само собой разумеется, что при этом речь идет не о замене латинским языком языков национальных, а об использовании его как вспомогательного, «универсального второго» языка, преимущественно для информационных бюллетеней, для прилагаемых к научным статьям резюме и в тому подобных случаях.

На обстоятельства, вызвавшие движение живой латыни и обусловившие особенный подъем его в наши дни, указал в своей вступительной статье, открывающей труды авиньонского конгресса, один из главных его организаторов, бывший ректор Нансийского университета проф. Ж. Кашель. Непрерывно прогрессирующее многоязычие научной литературы делает уже в настоящее время практически невозможным для научного работника самостоятельное ознакомление хотя бы с наиболее важными публикациями, появляющимися в области его научной специальности.

Вполне очевидно, что единственным средством, которое может устранить трудности, создаваемые многоязычием в науке, является надлежащее использование в этой области вспомогательного международного языка. Сложнее вопрос о том, какой именно язык должен быть принят в качестве международного. Здесь сторонники живой латыни прежде всего отказываются от решения, которое может показаться простым и легко реализуемым,— использовать в качестве международного тот или иной из наиболее распространенных живых национальных языков. Они полагают, что такое решение мало приемлемо, ибо оно ставит в привилегированное положение тот или иной национальный язык.

Второе положение, из которого исходит движение живой латыни, состоит в невозможности удовлетворить требованиям, предъявляемым к языку науки, приняв в качестве такового какой-либо искусственный язык. Практически при этом речь может идти не об универсальном «философском» языке, создание которого мыслимо в будущем, а только о реально предлагавшихся для целей международного общения языках типа эсперанто, идо и т. п. Их принципиальным недостатком является отсутствие устойчивой фразеологической нормы, в силу которого какой бы то ни было текст на этих языках может возникнуть только как более или менее приблизительная передача содержания, формулированного на том или ином естественном языке. Точный смысл написанного или сказанного на эсперанто, вообще говоря, уясняется лишь с учетом специфики определенного «языка-источника», и это обстоятельство, мало ощутимое или вовсе не ощутимое в тех случаях, когда высказываемое содержание не выходит за пределы элементарных понятий повседневного бытового общения, делает изложение на искусственном языке неполноценным, если оно ставит перед собой более сложные задачи. Чем более глубокий и творческий характер имеет научная работа, тем более резко сказывается на ней недостаточность выразительных возможностей, заключенных в лексико-грамматической системе искусственного языка. Изложенные соображения и приводят с принудительной нее обходимостью к мысли о возвращении функций международного языка науки тому языку, который безупречно выполнял их

* См.: «Premier congrès international pour le latin vivant. Avignon, 3—6 septembre, 1956», Avignon, 1956; «2-me congrès international pour le latin vivant. Lyon-Villeurbanne, du 8 au 10 septembre, 1959», Avignon, 1960.

на протяжении долгих столетий — от эпохи античности до XVIII в., а в более ограниченной области (классическая филология, ботаника) сохраняет поныне, а именно — латинскому.

Оба конгресса были посвящены разработке практических проблем, возникающих в связи с использованием латинского языка в качестве средства международного общения. В порядок дня авиньонского конгресса были включены следующие основные доклады:

1. «Вопросы грамматики живой латыни» (докладчик проф. Ж. Б а й е, директор французской школы в Риме). Докладчик подчеркнул необходимость сохранить полностью грамматическую структуру литературного латинского языка, но вместе с тем указал на опасность для живой латыни какого бы то ни было ригоризма в следовании нормам классического стиля. Латинская грамматика обладает достаточной гибкостью, чтобы предоставить говорящему и пишущему в каждом случае простые и ясные способы выражения мысли. Вполне допустима, например, замена синтетических форм степеней сравнения прилагательных описательными формами с *magis*, *maxime*, употребление сравнительной частицы *quam* вместо *ablativus comparationis*, в синтаксисе сложного предложения — отказ от пространных сложноподчиненных периодов, для которых всегда можно подыскать удовлетворительный эквивалент в виде более простых паратактически организованных структур, и т. д. Докладчик высказал мысль о возможности и желательности весьма сжатого изложения важнейших правил латинского синтаксиса на нескольких страницах в качестве общеобязательного свода для всех пользующихся живым латинским языком.

2. «Латинское произношение» (докладчик проф. Кильского университета Э. Б у р к, председатель немецкого Общества классической филологии). Вопрос о произношении, как это само собой понятно, имеет первостепенное практическое значение для живой латыни. Докладчик привел факты, иллюстрирующие значительные расхождения в так называемом традиционном латинском произношении различных стран, и наглядно показал, что единственным средством для достижения необходимой унификации является принятие в принципе произношения классической эпохи. В самом определении объема тех особенностей античного произношения, которые могут быть воспроизведены в нынешней произносительной практике, докладчик пошел довольно далеко, считая желательным, например, сохранение количественных различий между гласными не только в открытых, но и в закрытых слогах. Существенную уступку требованиям практической осуществимости «классического» произношения он допускает, однако, в отношении ударения, отказываясь от попыток воспроизвести латинское музыкальное ударение и постулируя, таким образом, «произношение латинских слов, соответствующее эпохе Цицерона и Вергилия». Как мы увидим ниже, в принятых конгрессом решениях была занята более реалистическая позиция в определении нормы «классического» произношения живой латыни.

3. «Создание слов для обозначения новых понятий» (докладчик проф. Г. П а ч и т т и, директор «Латинского отдела» Института римских исследований в Риме). Докладчик указал прежде всего на обширные лексические ресурсы латинского языка, остающиеся обычно вне поля зрения пишущих по-латыни, как не принадлежащие языку так называемых образцовых авторов. Необходима актуализация этого словарного запаса, полностью учитывающая и возможности обогащения его новыми значениями. Дальнейшим источником пополнения латинского словаря, главным образом в отношении новой научной и технической терминологии, является узаконение в качестве латинских слов тех терминов, которые возникли в новых языках на основе латинского корнеслова. Восходящая к античной эпохе традиция латинизации греческих слов открывает путь для усвоения латинской лексикой также и терминов греческого происхождения. Наконец, словообразовательные ресурсы латинского языка дают достаточный простор для калькирования тех терминов, которые принадлежат собственному словарному составу новых языков. Лишь в сравнительно небольшом числе случаев приходится прибегать к сохранению в терминах иноязычных основ, латинизируя их грамматическое оформление (например, *gasum* «газ» и т. п.).

Докладчик сообщил также о ведущейся в настоящее время большой работе по систематизации и нормализации новолатинской лексики. Основным пособием является составленный А. Баччи «Словарь трудно переводимых на латинский язык слов», содержащий в третьем издании 1955 г. свыше 10 000 слов. В дополнение к этому словарю общего характера Институт римских исследований подготовил терминологические словники по тридцати различным дисциплинам (в докладе перечислены акустика, психология, финансы, философия, электрология, астрономия, арифметика, алгебра, сейсмология, геодезия, метеорология, аэрология, физика, география), а для восьми из них выработан и латинский перевод. Принципы и методика составления этих специальных словарей освещены автором словаря по экспериментальной психологии Дж. Пиги в статье, опубликованной в журнале «Aevum» (1939, 1).

4. Делегат США д-р Г. Б и ч сделал доклад, посвященный вопросам школьного преподавания латинского языка, уделив преимущественное внимание вопросу о выборе текстов для чтения, способных увлечь учеников своим содержанием, а также способам внедрения в преподавание латинского языка методических приемов, выработанных в практике преподавания новых иностранных языков.

Кроме четырех основных докладов, в трудах авиньонского конгресса опубли-

ковано 24 выступления делегатов как по вопросам, поднятым в основных докладах, так и с собственными сообщениями по специальным вопросам. Среди этих выступлений значительный интерес представляет сообщение работника французского министерства здравоохранения д-ра Ж. Фолькрингера на тему «Латинский язык на службе здравоохранения». Д-р Фолькрингер указал на особую практическую важность установления единой международной номенклатуры в области медицины и фармакологии и сообщил о принятой в 1925 г. на Международной фармацевтической конференции в Брюсселе инструкции по составлению международной фармакопеи на латинском языке.

В своих решениях конгресс принял развернутые рекомендации, обращенные в первую очередь к сторонникам движения живой латыни, но в значительной мере имеющие и более общее значение. Прежде всего это относится к правилам латинского произношения, формулированным в следующих пяти рекомендациях: 1) в произношении гласных и дифтонгов следовать норме «классического» произношения; 2) читать буквы *c* и *g* во всех положениях как заднеязычные; 3) соблюдать лабиовелярный характер произношения *qu*; 4) сохранять произношение смычного в сочетаниях *sc-*, *ti-*, *gn-*; 5) пользоваться для обозначения латинского произношения транскрипционными знаками Международной фонетической ассоциации.

Отсутствие в первом пункте специального упоминания о количественных различиях латинских гласных следует, очевидно, понимать как отказ от чрезмерных требований в этом направлении, выдвинутых докладчиком. С другой стороны, только недосмотром можно объяснить отсутствие указания на несоответствие классической норме широко распространенного в нынешней произносительной практике озвончения *s* в интервокальном положении.

В области пополнения словаря конгресс рекомендовал: 1) прежде чем создавать новое слово для выражения нового понятия, убедиться в том, что наличные лексические ресурсы латинского языка действительно исчерпывающим образом приняты во внимание; 2) при отсутствии пригодного слова прибегать к словообразованию и словосложению в пределах латинской лексико-грамматической системы; 3) в третью очередь обращаться к источнику, дарованному греческим языком; 4) в случае недостаточности указанных способов латинизировать новоязычное слово, избегая при этом погрешностей против духа латинского языка.

Значительное место в своих постановлениях конгресс уделил вопросам преподавания латинского языка в средней школе. В качестве исполнительных органов, содействующих проведению в жизнь принятых решений, были созданы три комиссии: 1) комиссия по вопросам словаря; 2) комиссия по вопросам грамматики и произношения; 3) педагогическая комиссия, уполномоченная вступать в связь с соответствующими инстанциями в отдельных странах.

Весьма важным результатом конгресса было учреждение постоянного печатного органа движения живой латыни — журнала «Vita latina», издающегося в Авиньоне.

*

Успех, достигнутый в движении живой латыни за три года, отделяющие лионский конгресс от авиньонского, получил некоторое выражение в том, что на втором конгрессе значительно большая часть выступлений делегатов по сравнению с предыдущим была произнесена и опубликована на латинском языке. Как несомненный положительный результат авиньонского конгресса можно отметить и то, что предпринятые им шаги к унификации латинского произношения на основе «восстановленного» произношения классической эпохи получили практическое осуществление в речах большинства делегатов, говоривших по-латыни.

К вопросу о произношении лионский конгресс вернулся в информационном сообщении директора Института классической филологии Германской Академии наук проф. Ирмшера «О школьном латинском произношении в социалистических странах Европы». В этом сообщении намечена также, хотя и в суммарной форме, общая картина положения латинского языка в системе народного образования СССР и стран народной демократии.

Основные доклады, сделанные на лионском конгрессе, были посвящены вопросам практики живой латыни в различных областях учебной и культурной деятельности.

1. «Латинский язык как средство общения между учениками в школе» (докладчик проф. Франкфуртского университета Э. Борнеман). Докладчик обстоятельно развил мысль о необходимости ориентировать методику преподавания латинского языка и используемые при этом пособия на овладение живой латинской речью как центральную задачу.

2. «Латинский язык как средство общения между учеными» (докладчик проф. Ж. Капель, директор французского Национального Института прикладных знаний). Докладчик решительно возражает против того мнения, что в эпоху, когда объем знаний, необходимых для работы в области естественных и точных наук, чрезвычайно возрос, было бы расточительностью уделять время на изучение латинского языка. Переходя к основному вопросу об использовании живой латыни в научном общении, докладчик подчеркивает неизбежное несовершенство переводов, и особенно машинных переводов, по сравнению с авторским изложением научного труда, хотя бы и сокращенным. Пригодность латинского языка для изложения научного труда, к какой бы области науки он ни относился, не вызывает у докладчика сомнений.

3. Широкий круг вопросов живой латыни охватил в своем пространном докладе профессор католического университета в Саламанке Х. Хименес Дельгадо. Доклад, озаглавленный «Латинский язык

должен быть общим языком ученых», представляет интерес благодаря содержащемуся в нем солидному библиографическому аппарату, но требует критического отношения вследствие ясно выраженной католической окраски.

4. «Латинский язык как средство молодежной связи за пределами школьной деятельности» (докладчик Ж. Лафоре, генеральный секретарь молодежной секции Ассоциации Гийома Бюде).

Кроме четырех основных докладов, в трудах конгресса опубликованы выступления 31 делегата. Эти выступления касались методики преподавания латинского языка, путей пополнения латинского словаря и других сторон сложной проблемы живой латыни. В принятых конгрессом решениях были полностью подтверждены рекомендации авиньонского конгресса. В дополнение к ним конгресс постановил: 1) прилагать к научным публикациям указатели содержания на латинском языке; 2) просить ЮНЕСКО и другие международные организации обратиться к научным журналам и международным конгрессам с призывом пользоваться латинским языком для резюме своих публикаций; 3) выразить пожелание, чтобы ЮНЕСКО предприняла публикацию аннотированной научной библиографии на латинском языке.

*

Помимо протокольных материалов конгрессов, оба рецензируемые отчета содержат значительное количество появлявшихся в печати откликов, свидетельствующих о широком общественном интересе к поставленным проблемам. Тем не менее оценка перспектив живой латыни требует известной осторожности. Она сравнительно благоприятна для стран, сохранивших в той или иной мере традицию преподавания латинского языка в средней школе. Гораздо труднее достигнуть такого распространения знания латинского языка, при котором он мог бы служить целям международного общения, в тех странах, где его изучение вовсе не имеет корней в системе народного образования. Нельзя, однако, недооценить огромную важность установления языковой общности в области научной работы, хотя бы для ограниченного круга стран, в которых эта работа ведется с наибольшей интенсивностью.

Я. М. Боровский

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

23—25 ноября 1961 г. в Минске состоялось 2-е региональное совещание по диалектологии восточнославянских языков. В совещании приняли участие представители Института русского языка АН СССР и институтов языкознания АН БССР и АН УССР, а также представители языковедческих кафедр ряда университетов и пединститутов Украины и Белоруссии. Открывая совещание, председатель комиссии по координации диалектологической работы в СССР член-корр. АН СССР Р. И. Аванесов отметил, что к настоящему времени диалектология восточнославянских языков достигла значительных успехов в связи с составлением ряда диалектологических атласов, которые дают возможность не только локализовать каждое отдельное явление, но и изучать эти явления в их сложных структурных и территориальных взаимоотношениях. В связи с созданием атласов был не только собран и научно обработан новый громадный материал, но и проделана значительная теоретическая работа. В настоящее время назрела необходимость в новой проблематике, которая, будучи связана с теоретическими проблемами современного языкознания, обеспечила бы дальнейшее развитие диалектологии как лингвистической науки.

На совещании были заслушаны и обсуждены доклады, посвященные различным аспектам диалектологических исследований. Некоторые теоретические вопросы диалектологии были рассмотрены в докладах д-ра филол. наук проф. В. Г. Орловой (Москва) и кандидатов филол. наук С. В. Бромлей и Л. Н. Булатовой (Москва). В своем докладе «Типы изоглосс по их значению для разработки вопросов исторической диалектологии» В. Г. Орлова устанавливает основные типы территориальных противопоставлений, наблюдаемых в в распространении соотносительных членов соответственных явлений на материале диалектологических атласов русского языка. Как показывает исследование, наиболее характерными для русского языка являются двучленные одноплановые противопоставления в области фонетики, морфологии и синтаксиса и многочленные противопоставления для лексических диалектных различий. В докладе были также рассмотрены основные типы взаиморасположения соотносительных членов и значение различных типов для истории развития отдельных явлений и для формирования диалектных группировок. В докладе С. В. Бромлей и Л. Н. Булатовой «Типология морфологических диалектных различий» говорилось о многоплановости, сложности и других свойствах структуры морфологических диалектных различий. Особое внимание было уделено анализу различных видов многоплановых морфологических различий.

Ряд докладов был посвящен диалектологическим атласам восточнославянских языков и проблемам исследований, связанных с методом лингвистического картографирования. Общая проблематика таких исследований была намечена в докладе канд. филол. наук О. Н. Мораховской (Москва) «К итогам работы над диалектологическим атласом русского языка. Состояние работы и проблематика», в котором указывалось, что в свете новых данных встает задача систематического и типологического описания диалектных различий в области фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики. Требует существенного пересмотра понятие диалекта и диалектных группировок и проблема классификации диалектов современных национальных языков.

В докладе д-ра филол. наук проф. Ф. Т. Жилко (Киев) «Возникновение особенностей диалектного членения украинского языка» была сделана попытка сопоставить современное диалектное членение украинского языка с предполагаемыми диалектными группами более ранних эпох, в частности с диалектами восточнославянских племен, и поставить вопрос о возможных путях формирования современных диалектных группировок.

В докладе кандидатов филол. наук Ю. Ф. Мацкевич, А. Г. Мурашко и А. В. Орешонковой (Минск) «Итоги картографирования по атласу белорусских народных говоров» охарактеризованы основные зоны изоглосс. Материалы белорусского атласа при сопоставлении с данными украинской диалектологии позволили сделать вывод об общности ряда языковых черт юго-западных говоров белорусского языка с соседними говорами украинского языка. Многие из этих особенностей свойственны не только говорам белорусского и украинского языков, но прослеживаются также в польском и чешском языках, что может указывать на общее происхождение

этих черт в разных славянских языках. Такую же общность можно предполагать и для тех диалектных явлений, которые свойственны северо-восточным говорам белорусского языка и большим массивам говоров русского языка, расположенных на смежных территориях.

На материалах диалектологических атласов были основаны также доклад канд. филол. наук Н. Т. Войтович (Минск) «Окающе-акающий вокализм в белорусских говорах», в котором рассматривались говоры, находящиеся на юге БССР, и доклад Т. В. Назаровой (Киев) «Украинско-белорусская языковая граница в районе Нижней Припяти». Последний из указанных докладов вызвал при обсуждении наиболее оживленную дискуссию: дебатировался вопрос о возможности установления языковой границы близкородственных языков на основании тех или иных диалектных черт при условии, что на пограничной территории существует исконное население. Большинство выступавших выразило мнение, что попытка провести границу украинского и белорусского языков в районе Нижней Припяти, по-видимому, является преждевременной.

В прениях по докладам выступили Р. И. Аванесов, Н. В. Бирилло, Н. Т. Войтович, В. К. Журавлев, Ф. Т. Жилко, П. И. Приступа и др.

На совещании были заслушаны также доклады, посвященные изучению диалектной лексики. В своем докладе «Из опыта работы по составлению словаря одного говора» канд. филол. наук И. А. Оссовецкий (Москва), отмечая, что материал, на базе которого строится такой словарь, находится в пределах одной лексической системы, обращает внимание на то, что словарь одного говора, естественно, не сможет полностью представить эту систему в своих статьях. Однако материал словаря должен быть подан так, чтобы его специфика как фрагмента лексической системы была показана в словарных статьях со всей возможной полнотой. И. А. Оссовецкий остановился также на конкретных вопросах, связанных с работой по составлению словаря одного говора.

Доклады кандидатов филол. наук Н. В. Бирилло (Минск) «К вопросу о типах и принципах составления областных словарей белорусского языка» и А. А. Кривицкого (Минск) «О словаре говоров восточного Полесья» были посвящены той большой работе по составлению областных словарей важнейших диалектных групп БССР, которая началась в настоящее время и будет осуществляться белорусскими диалектологами по единому плану, разработанному в Институте языкознания АН БССР. В первом докладе был охарактеризован тип дифференциальных областных словарей, изложены принципы отбора лексики, которую следует считать диалектной, описана структура словарных статей. Во втором выдвигалась программа составления полного словаря одного говора. В выступлениях по докладам о составлении областных словарей наибольшее внимание привлекли вопросы об отборе диалектной лексики и о практических трудностях лексикографической работы.

Подводя итоги совещания, Р. И. Аванесов отметил ту большую исследовательскую работу, которая, как выявилось на совещании, ведется в области диалектологии восточнославянских языков. Здесь в особенности заслуживает упоминания сдача в печать таких коллективных трудов, как монография «Вопросы теории лингвистической географии» (Ин-т русского языка АН СССР) и «Курс белорусской диалектологии» (Ин-т языкознания АН БССР), а также работа над коллективной монографией, посвященной вопросам формирования основных диалектов русского языка (Ин-т русского языка АН СССР), и аналогичная работа, ведущаяся на Украине. Однако вся эта работа не выходит пока за пределы той проблематики, которая была поставлена перед диалектологией еще в начале работы над атласами, и не охватывает таких, например, вопросов, как предмет диалектологии, различие диалектологии описательной и исторической и их отношение к истории языка. Правомерны задачи дальнейшего углубления структурного изучения диалектного языка, построения мета-языка (или языка-эталона) при описании диалектного языка на разных его уровнях. Актуален вопрос о типах диалектных словарей (в связи с общей теорией лексикографии).

В итоге работы совещания была принята резолюция, признающая своевременным и необходимым составление диалектологических атласов и областных словарей, а также создание работ, популяризирующих научные достижения в области диалектологии восточнославянских языков.

О. Н. Мораховская (Москва)

В Институте языкознания АН БССР в Минске с 27 ноября по 1 декабря 1961 г. проходила I Всесоюзная конференция по вопросам славяно-германского языкознания. На конференцию были представлены 23 доклада; 17 из них были заслушаны и обсуждены, с остальными участники конференции ознакомились по опубликованным тезисам*.

В своем вступительном слове директор Института языкознания АН БССР канд. филол. наук М. Р. Судник напомнил, что Координационным совещанием по актуальным проблемам славяноведения Институту языкознания АН БССР отведена роль головного института по проблеме славяно-германских языковых связей. Это определило задачи настоящей конференции, которая призвана объединить силы уче-

* «Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на I Всесоюзной конференции по вопросам славяно-германского языкознания» [Ин-т языкознания АН БССР], Минск, 1961.

ных, специализирующихся в данной области, и наметить конкретный план их совместной работы. Приведение объекта и методов исследования славяно-германистики в соответствие с достижениями современного теоретического языкознания также требует участия большого коллектива исследователей. Канд. филол. наук О. С. Широкова (Черновцы) в докладе «Албано-балто-славянский и германский (опыт славянской и индоевропейской глоттохронологии)» предложил усовершенствовать лексико-статистический метод М. Сводеша и Р. Б. Лиза путем принятия во внимание частот встречаемости исследуемых слов и введения в формулу «распада словаря» критерия частотности. В результате подсчетов он установил, что распадение албано-балто-славянского «единства» относится к рубежу II и I тысячелетия до н. э., а «разделение» германского и албано-балто-славянского — к середине III тысячелетия до н. э.

Д-р филол. наук А. И. Савченко (Ростов н/Д) выступил с докладом «Славянские и балтийские местоимения в отношении к местоимениям индо-иранским и германским», в котором разнообразие местоименных форм рассматривалось как критерий диалектного членения индоевропейского языка. Подобного рода анализ местоименных образований приводит, по мнению докладчика, к следующим выводам: новообразования, объединяющие балто-славянский и германский, возникли сравнительно поздно, особенности же личных местоимений, объединяющие балто-славянский с индо-иранским, более древнего характера, и, следовательно, балто-славянский принадлежит к «восточной группе». В докладе канд. филол. наук В. П. Мажюлиса (Вильнюс) «Из балто-славяно-германской морфологии» были сообщены результаты исследований по истории некоторых форм балтийского склонения с учетом соответствующих фактов славянских и германских языков. Пересмотру подверглась, в частности, установившаяся в науке точка зрения на происхождение некоторых падежных окончаний и были предложены новые реконструкции. В. А. Дыбо (Москва) в докладе «Славяно-германские акцентологические соответствия» установил важные соответствия балто-славянской и германской акцентологических систем, позволяющие пересмотреть некоторые вопросы диалектного членения индоевропейского языка. В частности, анализ языкового материала дал основание предположить существование в германском у причастий на *-to-* двух акцентных парадигм, генетически связанных с соответствующими парадигмами в балто-славянском.

Доклад канд. филол. наук В. В. Мартыновa (Минск) «О некоторых закономерностях становления семантических микроструктур (на материале праславянского и прагерманского языков в их взаимодействии)» был посвящен методике установления факта лексического проникновения при помощи сопоставительного анализа взаимодействующих в процессе славяно-германских языковых контактов разноязычных семантических микроструктур. В. М. Иллич-Свитыч (Москва) выступил с докладом «К акцентуации славянских заимствований из германских языков (*-ā*-основы)». В докладе было показано, что включение большинства заимствованных из германского имен женского рода в славянский тип *ā*-основ диктуется тенденцией к сохранению колонной акцентуационной парадигмы слова-источника (класс *-ā*-основ характеризовался колонной акцентуацией, в то время как у класса *-ā*-основ господствующей была подвижная акцентуационная парадигма). В докладе В. В. Мартыновa «Акцентологическая адаптация славянизмов в прагерманском языке» были выдвинуты предварительные соображения о характере приспособления древнейших славянизмов к прагерманской акцентологической системе. Доклад. канд. филол. наук А. Е. Супруна (Фрунзе) «К вопросу о немецком влиянии на числительные в некоторых славянских языках» был посвящен специфическим закономерностям взаимодействия систем числительных в условиях славяно-германских языковых контактов. При этом было указано на то, что более проницаемыми в отношении заимствования среди числительных оказываются «узловые». Кроме «узловых» числительных заимствуются способы и системы счета.

К. К. Трофимович (Львов) в докладе «Немецкое влияние на словосложение в чешском языке» определил продуктивность данного типа словообразования как результат чешско-немецкого двуязычия. Пополнение языка немецкими генетивными кальками привело, по мнению докладчика, к качественному изменению чешского словообразования (появились чешские генетивные новообразования).

Доклад канд. филол. наук Л. И. Ройзензона (Самарканд) «К истории лужицко-немецких языковых связей (германизмы в староверхнелужицком памятнике письменности 1696 г. Agenda)», зачитанный на конференции К. К. Трофимовичем, содержал исследование немецких лексических элементов памятника. Подобного рода исследование памятников древнелужицкой письменности помогает, по мнению автора, понять процесс формирования верхнелужицкого литературного языка в обстановке лужицко-немецкого двуязычия, характеризующегося двумя различными формами: устно-разговорной и письменно-книжной. В докладе А. К. Рейцак (Таллин) «К вопросу о заимствованиях из германских языков в русской лексике XV—XVII вв.» была определена необходимость рассмотрения заимствований с точки зрения заимствующего языка, сформулированы методы установления причины заимствования и роли заимствованных слов в словарном составе русского языка XV—XVII вв. В результате удалось внести поправки к этимологии и датировке ряда германизмов. Канд. филол. наук А. И. Журавский (Минск)

в докладе «Германизм в памятниках белорусской письменности XV—XVII вв.» на основании фронтального обследования большого текстового материала определил значительное число ранних германизмов в белорусском языке. Он также рассмотрел звуковое оформление, словообразовательную продуктивность заимствованных слов и пути их проникновения в словарный состав белорусского языка.

Доклад канд. филол. наук О. Ф. Рипецкой (Львов) «Славянские лексические заимствования в восточнонемецких диалектах» был посвящен исследованию славянизмов прусско-немецкого, силезско-немецкого диалектов и немецких говоров на чешско-моравской территории. Этот материал был дополнен собранной докладчиком лексикой немецких говоров Закарпатья. При этом были определены основные закономерности ассимиляции славянских заимствований немецким языком. Канд. филол. наук М. М. Копыленко (Алма-Ата) выступил с докладом «Опыт сравнительного изучения фразеологии греческого, старославянского и готского языков». В докладе была предпринята попытка разработать метод объективного исследования идиоматичности и связанных с ней явлений в текстах, написанных на не употребляемых ныне языках. Описанный метод исследования, по мнению докладчика, применим и к современным языкам. В докладе А. Е. Карлинского (Алма-Ата) «Древневерхненемецко-старославянская билингва из „Синайского требника“» доказывалось, что перевод одной из молитв рассматриваемого памятника письменности осуществлен с не дошедшего до нас списка Сант-Эммеранской молитвы. Докладчик определил время и место осуществления перевода. А. А. Вержбовский (Минск) в докладе «Ономастические данные о расселении индоевропейских племен в Польше, Прибалтике, Белоруссии и на Украине в связи с древнейшими из известных археологических культур (к вопросу о балто-германо-славяно-кельтских взаимосвязях)» предпринял попытку обоснования в период до новой эры локализации балтов и кельтов между славянами и германцами. О. Ф. Рипецкая выступила с докладом «Некоторые типы немецкой топонимии славянского происхождения», в котором доказывалось, что преобразование суффиксов является одним из основных факторов при преобразовании славянских топонимических моделей в соответствующие топонимические модели, типичные для германизированных названий.

На конференцию были присланы и опубликованы тезисы следующих докладов: канд. филол. наук В. Н. Топоров (Москва) «К вопросу о типологической классификации германо-славянских языковых контактов», канд. филол. наук И. И. Ревзин (Москва) «О синхронной точке зрения в теории славяно-германских контактов», д-р филол. наук Ю. С. Маслов (Ленинград) «Проблема сходства и различия между славянскими и германскими языками в области глагольного вида», канд. филол. наук А. М. Рот (Ужгород) «Германские заимствования в лексике украинских говоров Закарпатья», канд. филол. наук В. В. Акуленко (Харьков) «Вопросы изучения восточнославянских заимствований в лексике английского языка» и «О составлении словаря „ложных друзей“ англо-русского и русско-английского переводчика», д-р филол. наук А. В. Федоров (Ленинград) «Некоторые вопросы сопоставительной стилистики немецкого и русского языков». Доклады, прочитанные на конференции, подверглись широкому обсуждению. Некоторые из них способствовали весьма оживленной дискуссии. Наибольший интерес вызвали выступления П. В. Верхова (Минск) и канд. филол. наук В. К. Журавлева (Минск). П. В. Верхов доказал нетипичность слова *партач* для белорусской словообразовательной модели и обнаружил для нее немецкий источник. В. К. Журавлев предложил правило семантической соотнесенности синонимов (заимствованного и исконного) путем определения меньшей частотности (resp. маркированности) одного из них по отношению к другому. В перерыве между заседаниями конференции было созвано организационное совещание узкого состава, на котором обсуждался Проект плана работы в области славяно-германского языкознания. На заключительном заседании были приняты тексты резолюции, плана работы и анкеты по наиболее важным вопросам славяно-германистики.

Сектор общего и славянского языкознания обращается ко всем славистам и германистам, интересующимся славяно-германской проблематикой, с предложением присылать ответы на перечисленные ниже вопросы (объем ответа до 5 стр. машинописи) по адресу: БССР, Минск, Ленинский проспект, 66, Институт языкознания АН БССР.

Анкета, принятая I Всесоюзной конференцией по вопросам славяно-германского языкознания

1. Каковы основные принципы сравнительно-типологического изучения славянских и германских языков?

2. Необходимо ли разграничивать сравнительно-типологическое и сравнительно-историческое изучение славянских и германских языков и, если необходимо, то в чем должно заключаться подобного рода разграничение?

3. Какова была локализация славян в разные периоды их существования, и где в связи с этим возникало славяно-германское языковое пограничье?

4. Какие виды языковых контактов возникали в районе славяно-германского языкового пограничья?

5. Где и когда существовало славяно-германское двуязычие и каковы его характерные черты для разных периодов славяно-германских контактов?

6. В чем заключается существо балкано-германской проблемы?

7. Какова абсолютная и относительная хронология древнейших германизмов у славян?

8. Какова абсолютная и относительная хронология древнейших славянизмов у германцев?

9. В чем заключалось влияние славянской фонологической системы на фонетическую субституцию в германских лексических проникновениях (для разных периодов славяно-германских языковых контактов)?

10. В чем заключалось влияние германской фонологической системы на фонетическую субституцию в славянских лексических проникновениях (для разных периодов славяно-германских языковых контактов)?

11. Каковы закономерности акцентуации германизмов в славянских языках?

12. Каковы закономерности акцентуации славянизмов в германских языках?

13. Как влияла германская словообразовательная система на славянское словопроизводство в разные периоды славяно-германских контактов?

14. Как влияла славянская словообразовательная система на германское словопроизводство в разные периоды славяно-германских контактов?

15. В какой мере и для каких периодов определимо отражение славяно-германских языковых контактов в синтаксисе славянских и германских языков?

16. Какие типы семантического анализа являются наиболее эффективными для изучения славяно-германских языковых отношений?

17. Как на основании изучения одноязычных заимствований определять территориальные зоны с типичным для каждой из них кругом заимствований?

18. Каковы критерии определения хронологических пределов для отбора заимствованной лексики в отдельно взятых языках?

19. Каковы характерные черты культурно-исторического взаимодействия славянских и германских языков?

20. Какие древнейшие славянские памятники следует считать возникшими на германской почве и каковы общие принципы их изучения?

21. Какова роль топонимических данных при определении славяно-германских языковых контактов в разные периоды их существования?

В. В. Мартынов (Минск)

25—27 декабря 1961 г. в Ленинграде состоялась организованная Институтом языкознания АН СССР вторая дискуссия, посвященная проблеме морфологической структуры слова*. В дискуссии приняли участие языковеды Института языкознания АН СССР, Ленинградского гос. университета, Ленинградского пединститута им. Герцена, Института славяноведения АН СССР, Московского гос. университета, Карельского филиала АН СССР и некоторых других научных учреждений.

Открывая заседание, член-корр. АН СССР Б. А. Серебренников (Москва), отметив условность существующей морфологической классификации языков вообще и понятия «агглютинативный строй», в частности, подчеркнул, что предметом дискуссии будет широкий круг вопросов, связанных с понятием агглютинации и агглютинативного строя: морфологическая классификация языков и понятие морфологического типа языка, элементы агглютинации в неагглютинативных языках, проблема однозначности аффикса, причины превращения флективных языков в агглютинативные и пр.

О. П. Суник (Ленинград) в докладе «Проблема соотношения агглютинации и флексии» обратил внимание на неразработанность основных понятий и принципов лингвистической типологии, напомнив, что традиционная типологическая схема, основанная на различении способов соединения различных компонентов слов (агглютинация, фузия) или особенностей аффиксации (моносемия и полисемия аффиксальных морфем), давно вызывает много возражений и нуждается поэтому в серьезной критике. Как в языках агглютинативных (например, в алтайских), так и во флективных (например, в русском) основным способом образования слова и его форм является аффиксация, причем и в тех и других языках наличны как фузионные, так и агглютинативные способы соединения компонентов слова; в тех и других языках существуют как однозначные, так и многозначные суффиксы, а также применяется, хотя и в различной мере, внутренняя флексия.

Различия между особенностями морфологической структуры языков носят во всех указанных отношениях не качественный, а количественный характер и, таким образом, их традиционное типологическое противопоставление лишено достаточных оснований.

В докладе А. А. Реформатского (Москва) «Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова» были рассмотрены существовавшие в языкознании взгляды на сущность морфологического типа языка и дан анализ предложенных в свое время Э. Сепиром понятий «агглютинация» и «фузия». Тип языка определяется, по мнению докладчика, господствующей в данном языке тенденцией в морфологическом строении слова. При этом агглютинация и фузия противопоставляются друг другу по четырем основным признакам (однозначность — многозначность, стандартность — нестандартность аффикса, четкое — нечеткое разграничение морфем, самостоятельность — несамостоятельность основы). Агглютинация может сочетаться как с изоляцией, так и с инкорпорированием, тогда как фузия в

* См. отчет о первой дискуссии в ИАН ОЛЯ, 1961, 5, а также см.: «Понятие агглютинации и агглютинативного типа языков (Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР)», Л., 1961.

таких сочетаниях, по мнению А. А. Реформатского, невозможна. Различны в агглютинирующих и фузионных языках также понятия основы и лексемы. Следствием проявления указанных двух тенденций — агглютинации и фузии — является общая грамматическая направленность того или иного языка в сторону аналитизма или синтетизма.

И. А. Мельчук (Москва) в докладе «О термине „внутренняя флексия" в связи с агглютинацией» считает неприменимым термин «внутренняя флексия» к явлениям типа англ. *foot-feet*, принципиально отличающимся от семитской внутренней флексии. Такие явления уместнее именовать термином «значащие чередования», причем эти чередования вполне могут сосуществовать в языке с прочими аспектами агглютинации (например, с моносемантизмом аффиксов). И. А. Мельчук предложил обозначить термином «трансфикс» набор гласных семитского слова, выполняющий ту же, по его мнению, роль, что и аффиксы языков других морфологических типов. Целесообразно, с другой стороны, сузить значение термина «агглютинация», имея в виду под последней лишь отсутствие изменений на стыках морф, поскольку разные аспекты агглютинации (в ее нынешнем понимании) являются абсолютно независимыми друг от друга и логически никак не связаны.

С. Е. Яхонтов (Ленинград) посвятил свой доклад «О морфологической классификации языков» некоторым уточнениям традиционной морфологической классификации языков. С его точки зрения, нет необходимости отказываться от классификации языков по трем основным типам — флективные, агглютинативные, аналитические (аморфные) — в соответствии с преобладающим в языке способом выражения грамматических значений. Он обратил также внимание на полное типологическое тождество языков аналитических, с одной стороны, и аморфных (изолирующих, корневых),— с другой.

Б. А. Серебренников выступил с докладом «Причины устойчивого сохранения агглютинативного строя на протяжении многих веков» (на материале тюркских и финно-угорских языков). Такими причинами он считает отсутствие классного деления имен существительных, чем устраняется возможность слияния показателей основ с падежными суффиксами, наличие твердого порядка слов (определение + определяемое), крепкая спаянность словосочетаний, постоянное воспроизводство послелогов; далее, гармония гласных, являющаяся препятствием для возникновения многообразия падежных и словообразовательных суффиксов, и отсутствие групп согласных в начале и конце слова, что предохраняет морфологические показатели от деформации. Своеобразие значений падежных форм (слабое развитие субъектно-объектных падежей) и широкое развитие аналитических глагольных форм являются дополнительными факторами, способствующими консервации агглютинативного языкового строя.

А. К. Боровков (Ленинград) в докладе «Агглютинация в тюркских языках» охарактеризовал некоторые специфические особенности агглютинации в тюркских языках, касающиеся в первую очередь системы словоизменения. Формы словоизменения в тюркских языках однозначны в грамматических значениях, но имеют очень широкий синтаксический диапазон. Такой формой может обладать и отдельное слово и группа однородных имен, и часть слова. К. Е. Майтинская (Москва) выступила с докладом «Образование и классификация суффиксов в агглютинирующих языках». В качестве наиболее характерных для финно-угорских языков явлений ею отмечены процессы перехода знаменательных слов в словообразующие суффиксы, служебных слов — в формообразующие морфемы; специфической чертой морфологии этих языков является также обилие словообразующих суффиксов и формообразующих морфем. К. Е. Майтинская считает необходимым выделять в финно-угорских языках морфемы, промежуточные между слово- и формообразующими, а также падежи полноценные и неполноценные, не утратившие связи с послеложными конструкциями.

Ю. В. Рождественский (Москва) в докладе «О некоторых предпосылках агглютинации и изоляции», основанном на материале китайско-тибетских и индоевропейских языков, подверг рассмотрению вопрос о связи между фонемным устройством языка и его типологической характеристикой. Возможность появления флексии связана, по мнению докладчика, с наличием определенного минимума потенциальных звуковых оболочек (примерно 80 тыс.). Если же их количество ниже этого минимума, то добавочные грамматические значения могут выражаться только добавлением других языковых элементов «извне», что характерно для агглютинации и изоляции. Вяч. В. Иванов (Москва) в докладе «Об агглютинации в индоевропейском основообразовании и формообразовании» привел доказательства в пользу предположения об агглютинативном происхождении индоевропейской флексии. Об этом говорят как анализ и сравнение структуры слова в ряде древних индоевропейских языков (хеттском, санскрите, лувийском, тохарских), так и их типологические сопоставления с неиндоевропейскими языками. Ссылаясь на статистические данные, опубликованные американским лингвистом Дж. Х. Гринбергом, докладчик признал деление языков на агглютинативные и флективные весьма условным, поскольку оно основано на чисто количественных различиях, поддающихся статистической регистрации.

С докладом «Порядок и иерархия аффиксов в агглютинативных языках» на материале языков тунгусо-маньчжурской группы выступила В. И. Цинциус (Ленинград). Она особо подчеркнула, что порядок расположения морфем в тунгусо-

маньчжурском слове обычно прямо противоположен расположению членов предложения, а это, по мнению докладчика, заставляет пересмотреть традиционную точку зрения на возникновение грамматических формантов из знаменательных слов. Тем же вопросам в применении к тюркским языкам был посвящен доклад Н. А. Баскакова (Москва) «Порядок и иерархия аффиксов в основе слова в тюркских языках». Заметив, что подавляющее большинство тюркских слов состоит из корневой морфемы, двух типов аффиксов словообразования и аффиксов словоизменения, докладчик дал детальную классификацию указанных компонентов слова в соответствии с выражаемыми ими типами грамматических значений. Н. М. Терещенко (Ленинград) в докладе «К проблеме соотношения агглютинации и флексии в самодийских языках» отметила, что самодийские языки, по ее мнению, несомненно должны быть причислены к агглютинативным, хотя агглютинация и проявляется в них, в связи со слабым развитием сингармонизма, в своеобразной форме. Вместе с тем, как известно, самодийские языки довольно широко используют в качестве словоизменительного средства внутреннюю флексию.

П. Я. Скорик (Ленинград) в докладе «О соотношении агглютинации и инкорпорации» выступил сторонником мнения, согласно которому морфологический тип языка определяется преобладающими в морфологии данного языка техническими приемами. В этой связи он подробно остановился на соотношении между элементами *агглютинации и инкорпорации* в чукотском языке, рассматривая их как два самостоятельных, взаимосвязанных и взаимообусловленных технических приема, причем преобладающим приемом является *инкорпорация*. П. Я. Скорик высказал предположение, что чукотские инкорпоративные комплексы возникли как результат развития префиксально-суффиксальной агглютинации. С мнением П. Я. Скорика полемизировала в своем докладе «Агглютинация и сингармонизм в языках чукотско-камчатской группы» А. Н. Жукова (Ленинград). Инкорпорация и агглютинация, с ее точки зрения, понятия несоотносимые. Инкорпорация — специфическое синтаксическое явление; что касается агглютинации, то она является основным способом образования слов и форм слов в языках чукотско-камчатской группы. Таким образом, выделение языков чукотско-камчатской группы в особый морфологический тип — инкорпорирующий — неправомерно. А. Н. Жукова поддержала содержавшуюся в докладе О. П. Суника критику традиционной морфологической классификации.

В докладе В. З. Панфилова (Москва) «О происхождении склонения в нивхском языке» рассматривались вопросы происхождения склонения в агглютинативном нивхском языке, который иногда еще причисляют к инкорпорирующим. Докладчик подчеркнул, между прочим, что для типологической характеристики агглютинативных языков не меньшее значение, чем особенности структуры слова, имеет учет специфических черт грамматических категорий — наличие основной (исходной) формы, противопоставляющейся другим формам внутри категории; факультативность формального выражения частных значений категории; возможность совмещения в пределах одной словоформы двух показателей частных значений одной и той же грамматической категории. Л. Б. Никольский (Москва) в докладе «О второй стороне агглютинации», основываясь на материале корейского языка, высказал мнение, что агглютинация характеризуется двумя основными признаками: моносемией аффиксов и их относительной подвижностью, проявляющейся, в частности, в явлении «групповой флексии». Существенно также наличие в агглютинативных языках более четких границ между морфемами в слове.

Н. А. Сыромятников (Москва) в докладе «Есть ли основный падеж в японском языке?» возражал против применения к неоформленному падежным суффиксом имени в японском языке термина «основный падеж», поскольку такое имя не имеет определенного синтаксического значения и может быть использовано в качестве любого члена предложения. Уместнее считать такую форму не особым падежом с *нулевым аффиксом*, а именем, в котором не выражено падежное значение. Н. В. Солнцева и В. М. Солнцев (Москва) выступили с докладом «К вопросу об агглютинации в китайском языке». Докладчики отметили сходство свойств служебных морфем китайского языка выражающих частные грамматические категории (вида, залога, числа и т. п.), с аффиксами агглютинативных языков. Своеобразие китайской агглютинации заключается в том, что она не нарушает общего изолирующего строя китайского языка, так как агглютинативные элементы не служат здесь для выражения синтаксических отношений между словами (эти отношения выражаются служебными словами).

Т. А. Бертагаев (Москва) выступил с докладом «Чередование фонем и сингармонизм в агглютинативных языках» (на монгольском материале). Описанию структуры агглютинативного слова и выяснению удельного веса агглютинации в морфологии отдельных языков были посвящены также доклады: Г. А. Меновщикова (Ленинград) «Моносемия суффиксов в эскимосском языке», И. Ф. Вардуля (Москва) «О природе японских „ганио“», Н. Ф. Алиевой (Москва) «Некоторые особенности индонезийской агглютинации».

Большинство выступивших в прениях затронуло вопрос о морфологическом типе языка. По мнению А. В. Десницкой (Ленинград), дискуссия показала, что неудовлетворительными являются и концепция строго определенных, самодовлеющих, численно ограниченных типов морфологической структуры языка, и введение понятия «переходных», «смешан-

ных» типов. Агглютинация и флексия — способы грамматического строения слова, которые в разном количественном соотношении могут быть представлены в разных языках. На примере языков банту, считавшихся рядом исследователей наиболее типичными представителями агглютинативного строя, Н. В. Охотина (Москва) показала несовершенство принципов, положенных в основу существующей морфологической классификации языков и защищавшихся на дискуссии А. А. Реформатским. По одним признакам (стандартность аффиксов, четкость разграничения морфем в лексеме) эти языки должны быть признаны агглютинативными, по другим (многозначность аффиксов, несамостоятельность основы) — фузионными. Это свидетельствует либо об отсутствии внутренней связи между отдельными признаками агглютинации и фузии, либо о необходимости выделения особого фузионно-агглютинативного морфологического типа.

В. Н. Ярцева (Москва) высказала мнение, что определение морфологического типа должно базироваться на строго синхронном анализе языковой структуры. При этом весьма важно принимать во внимание характер не только аффиксальных, но и корневой морфемы. Б. А. Серебренников поддержал ту точку зрения, согласно которой ясное представление о морфологическом типе может дать не выбор каких-либо отдельных критериев, которые могут иметь случайный характер, а цельное описание морфологического строя языка с учетом как ведущего, так и сопутствующих способов соединения морфем и тенденций в развитии этих способов.

В выступлении С. Д. Кацнельсона (Ленинград) было сформулировано наметившееся на дискуссии различие во взглядах на сущность морфологического типа языка. Одна из точек зрения (наиболее последовательно проведенная в докладе И. А. Мельчука) рассматривает морфологический тип языка как конгломерат различных не связанных друг с другом аспектов, что по существу означает отрицание морфологического типа. Сторонники другой точки зрения признают наличие морфологического типа, но применяемые ими критерии различны. С одной стороны, это выделение арифметически доминирующего признака; с другой,— признание того факта, что морфологический тип является совокупностью разных аспектов морфологического строя, причем связь между этими аспектами является не механической, а гибкой и подвижной. С. Д. Кацнельсон присоединился к последней из этих точек зрения.

Г. П. Мельников (Москва) говорил об органической связи между агглютинацией и сингармонизмом как средством оформления слова в монолитном комплексе. Однако агглютинация не обязательно предполагает наличие сингармонизма; так, языки банту пользуются иным средством членения речевого потока, именно, классными показателями. Г. П. Мельников обратил внимание на известную аналогию, существующую между указанными явлениями и употреблением пограничных сигналов в искусственных языках (например, в *Q*-коде). Большой материал, свидетельствующий о наличии связи между гармонией гласных и агглютинацией в тюркских языках, привел в своем выступлении Э. Р. Тенишев (Москва).

В выступлении акад. И. И. Мещанинова (Ленинград) указывалось на существование принципиальных различий между агглютинацией и инкорпорированием. Агглютинация является способом оформления слова, в то время как инкорпорирование — способом оформления синтаксической группы, т. е. сочетания слов; ставить поэтому в один типологический ряд так называемые инкорпорирующие и агглютинирующие языки нельзя. Вопросам, связанным с различным толкованием морфологических типов языков, а также с уяснением соотношения роли различных морфологических приемов в структуре отдельных языков, были посвящены выступления В. В. Сенкевич-Гудковой (Петрозаводск) (саамский язык), Ю. Н. Мазура (Москва) (корейский язык), А. А. Кумахова (Москва) (адыгские языки), П. С. Скорика и А. Н. Жуковой (палеоазиатские языки), Н. А. Сыромятникова и Ю. В. Рождественского (японский язык), Н. М. Терещенко (самодийские языки), Т. А. Бертагаева (монгольские языки), В. И. Цинциус (тунгусо-маньчжурские языки).

А. Л. Грюнберг (Ленинград)

29 января — 1 февраля 1962 г. на филологическом факультете МГУ состоялась Межвузовская конференция по проблемам стилистики художественной литературы [1]. В ней приняли участие около 400 филологов из 51 города страны. Всего было заслушано 20 докладов; в прениях выступили около 50 человек.

В широком круге выдвинутых конференцией проблем центральное место занял вопрос о том, является ли стиль произведений художественной литературы предметом лингвистической, литературоведческой или особой филологической науки. Этой проблеме посвятили свои доклады В. В. Виноградов, Г. Н. Поспелов и А. Н. Соколов.

По мнению акад. В. В. Виноградова (Москва), высказанному им в докладе «Поэтика, стилистика и лингвистика» [2], «следовало бы различать по крайней мере три разных круга исследований, тесно соприкасающихся, часто взаимно пересекающихся и всегда соотносительных, однако наделенных своей проблематикой, своими задачами, своими критериями и категориями. Это, во-первых, стилистика языка

[1] См. «Тезисы докладов Межвузовской конференции по стилистике художественной литературы», М., 1961.

[2] Основные положения доклада изложены в статье «О теории поэтической речи» (ВЯ, 1962, 2).

как „системы систем" или структурная стилистика, во-вторых, стилистика речи, т. е. разных видов и актов общественного употребления языка, в-третьих, стилистика художественной литературы. К последней примыкает теория и история поэтической речи».

В докладе «Проблема стилистики и проблема стиля» Г. Н. Поспелов (Москва) поставил вопрос о двух стилистиках — теоретической, в составе литературоведения, изучающей особенности художественной речи в связи с художественным содержанием, и исторической, в составе лингвистики, изучающей возможности стилеобразования в разных «видах речи» (явление, обозначаемое лингвистами термином «функциональные стили»). В докладе «Принципы стилистической характеристики языка литературно-художественного произведения» А. Н. Соколов (Москва) говорил о необходимости отграничения стилистики литературного и общенародного языка от стилистики художественной литературы. Первая является областью лингвистики, вторая, изучая систему речевого стиля как элемент художественной формы произведения искусства,— областью литературоведения. Внимание докладчика было сосредоточено на историческом взаимодействии различных факторов, воздействующих на стиль художественного произведения и объединяемых внутри него личностью автора.

Проблемам соотношения художественной речи и общенародного языка были посвящены доклады: Р. А. Будагова (Москва) «Индивидуальное в языке и стиле художественного произведения как историческая категория», в котором на материале французской литературы XVI—XIX вв. было показано, что степень яркости индивидуального стиля определяется степенью его отталкивания от обычного литературного языка; А. Л. Гришунина (Москва) «Об использовании языковых дублетов в целях атрибуции»; И. К. Белодеда, Г. П. Ижакевич и З. Т. Франко (Киев) «Соотношение стилей украинского литературного языка в советской период его развития»; А. В. Чичерина (Львов) «Эстетическое рассмотрение внутренней формы слова», где было дано определение внутренней эстетической формы слова как звуковой образной и смысловой его выразительности, обнаруживаемой в поэтическом контексте. И. Г. Чередниченко (Черновцы) в докладе «К вопросу о фоностилистике и объектах фоностилистического наблюдения и исследования» на материале украинского языка показал, что наука о стиле художественной литературы не может обойтись без учета звуковых стилистических показателей речи, без изучения рифмообразовательных, эвфонических и аллитерационных потенций языка, имеющих глубоко национальную специфику.

Б. Н. Головин (Горький) в докладе «О возможностях количественной характеристики речевых стилей» предложил опыт вероятностно-статистического исследования и статистического описания языка Тургенева, Толстого, Чехова и других писателей. В докладе Р. Г. Пиотровского (Ленинград) «Стилистика и методы математического языкознания» были представлены данные об энтропии беллетристического, делового и разговорного стилей русского литературного языка и сделан вывод о том, что уровень энтропии тем ниже, чем выше лингвостатистическая связанность текста.

Доклады А. П. Чудакова (Москва), М. Б. Борисовой (Саратов) и С. В. Шервинского (Москва) были посвящены конкретному анализу структуры произведений Чехова, Федина и Пушкина.

В докладе Р. М. Самарина (Москва) «Проблемы стиля в современной зарубежной науке» был дан критический обзор различных стилистических концепций зарубежных филологов, охарактеризована деятельность международных конференций и конгрессов 1958—1960 годов. Р. М. Самарин подчеркнул, что современная наука Запада не выработала точной формулировки понятия «стиль художественной литературы», не определила места науки о нем в ряду других филологических наук. В докладе был подвергнут критике метод, применяемый к изучению стиля художественной литературы Р. Якобсоном (сведение задач поэтики к изучению словесных структур, отрыв формы от содержания и др.), и отмечена плодотворность стилистических работ Грамши, Павлова, Шумахера, Ваймана, Шобера, Кауфмана, Бехера и Арагона, исходящих в своих исследованиях из принципа единства содержания и формы. Ю. С. Степанов (Москва) в докладе «Стилистика в ее отношении к гносеологии» подверг критическому рассмотрению позитивистский (Ш. Брюно) и субъективистский (Л. Шпитцер) подход к стилю художественной литературы. Как проявление своеобразного компромисса между этими двумя подходами Ю. С. Степанов охарактеризовал «принцип относительности» Дж. Девото.

Большинство выступавших в прениях говорило о бесплодности борьбы между литературоведами и лингвистами за монопольное право применения своих сил в области изучения стиля художественной литературы, о необходимости объединения общих усилий для разрешения важнейших проблем стилистики художественной речи. А. Г. Соколов (Москва) указал, что на состоянии науки отрицательным образом сказывается утрата традиции подготовки филологов широкого профиля. Выступавшие отметили, что обилие, с одной стороны, литературоведческих работ, анализирующих содержание художественных произведений в отрыве от формы его воплощения, а с другой — лингвистических, изучающих эту форму лишь как форму национального мышления вообще, а не мышления художественного, не может быть признано нормальным. Описательный характер большинства исследований, увлечение анализом стиля отдельных произведений, отсутствие работ общетеоре-

тического и сопоставительного характера являются серьезными недостатками современной стилистики. Развитие ее тормозится отсутствием исторических словарей русского языка, словарей языка писателей, а также специальных библиографических справочников. И хотя в последнее время наблюдается оживление интереса к изучению стиля художественной литературы (основные работы охарактеризовал в своем выступлении А. В. Чичерин), единая стилистика художественной речи, сказал С. Е. Шаталов (Арзамас), еще только складывается, и процесс этот идет параллельно, в руслах лингвистики и литературоведения.

О том, что лингвисты все чаще обращаются к изучению языка художественной литературы с целью изучения закономерностей искусства слова, говорили в своих выступлениях А. И. Ефимов, И. С. Ильинская, В. Д. Левин (Москва) и другие, полемизировавшие с Г. Н. Поспеловым, ограничившим в своем докладе задачу лингвиста изучением функциональных разновидностей речи. В периоды складывания новых наук, отмечалось в прениях, всегда наблюдается разнобой в терминологии, отсутствие единства мнений по ряду вопросов. До сих пор наблюдается смешение терминов «литературный язык» и «язык художественной литературы», употребление термина «стиль» в самых различных значениях. Для ряда специфических явлений, отметил С. А. Копорский (Москва), вообще отсутствует терминологическое обозначение. Ведутся споры по вопросу о том, входит ли язык художественной литературы в систему функциональных стилей литературного языка, о том, как исторически видоизменяются категории стиля художественной литературы и индивидуального стиля писателя, в каком соотношении находятся слово и образ в художественном произведении.

О необходимости признания стиля художественной литературы одним из функциональных стилей литературного языка говорили И. Р. Гальперин (Москва) и А. И. Ефимов. В. Д. Левину, утверждавшему, что на определенном этапе развития литературного языка, с расцветом индивидуальных стилей писателей, происходит разрушение единства стиля художественной литературы, возражали С. А. Копорский, указавший на общий процесс эволюции сказа в русской художественной литературе XIX в., М. Ф. Коцюбинская и С. Я. Скляр (Киев). Об образности художественной речи как ее основном качестве в отличие от речи научной говорила в своем выступлении А. М. Кожина (Пермь), об образной и экспрессивной силе художественного слова — С. Ш. Чагдуров (Улан-Удэ), о необходимости пересмотра традиционного учения о тропах как средоточии словесно-художественной образности — С. А. Копорский.

Большинство выступавших исходило в своих высказываниях из понимания произведения художественной литературы как сложной структуры. В словесной структуре художественных произведений, подчеркнули И. С. Ильинская и В. Д. Левин, для ее элементов необходимо различать функцию обозначения определенных реалий и функцию выражения отношения писателя к языку как к объекту, а не только средству искусства. Это отношение, отметил А. А. Семенов (Ярославль), может быть двоякого рода — либо отражением системы общенародного языка, либо эстетически мотивированной ее трансформацией. Примеры подобных художественно мотивированных отступлений от нормы приводились в выступлениях Л. Г. Барласа (Шахты), И. Р. Гальперина, И. А. Федосова (Ростов-на-Дону) и др.

Участники конференции пришли к общему выводу, что принцип историзма является одним из основных при изучении стиля художественной литературы. Большинство согласилось с тем, что «алгеброй можно проверять гармонию». Иной взгляд высказал А. А. Щербина (Киев), по мнению которого применение математики к эстетике невозможно. Выступавшие подчеркивали, что стилистика требует применения не одного, а целого комплекса методов (стилистического сопоставления, стилистического эксперимента, вероятностно-статистического и др.), что применение математических методов должно осуществляться с точным учетом вероятности правильных выводов, характера подсчитываемого материала, в связи с определением условий и целей подсчета, на основе марксистского учения о диалектике перехода количества в качество [Р. А. Будагов, Д. Д. Ильин (Ташкент), В. А. Корнилов (Ростов) С. А. Копорский, П. Г. Пустовойт (Москва)].

И. Р. Гальперин, М. Ф. Коцюбинская, Н. И. Кравцов (Москва) и А. С. Чудаков охарактеризовали в своих выступлениях работу, которая ведется по изучению стиля художественной литературы в ГДР, Венгрии, Польше и Югославии. Выступавшие говорили о значении науки о стиле художественной речи для решения общих вопросов культуры речи, для проблем перевода, для художественной практики советских писателей [Е. В. Авдошенко (Тамбов), С. Ш. Чагдуров, А. А. Щербина, С. А. Копорский и др.].

В прениях приняли также участие: Л. М. Лосева (Черновцы), Ю. К. Щеглов (Москва), М. Р. Натадзе (Тбилиси), Ф. Г. Бирюков (Москва), А. Г. Волков (Москва), Д. Е. Горелик (Оренбург), В. В. Гурбанов (Краснодар), В. Д. Дувакин (Москва), Э. Л. Львова (Баку), М. И. Привалова (Ленинград), Е. Б. Тагер (Москва), В. И. Эрлиц (Тарту), Е. Г. Эткинд (Ленинград), И. А. Федосов и др.

Конференция поставила важные теоретические вопросы, показала, что стили-

стике художественной литературы принадлежит самостоятельное место в ряду других филологических дисциплин.

И. А. Старкова (Москва)

На той же конференции по стилистике особо работала секция романо-германской филологии. Е. Г. Эткинд (Ленинград) прочитал доклад на тему «Так называемый „стиль художественной литературы" и система функциональных стилей языка», в котором выступил против понятия «стиля художественной литературы», применяемого к литературе реализма; это понятие защищается многими исследователями и ставится ими в один ряд с функциональными стилями языка, причем основным критерием служит понятие «отбора» средств. По мнению докладчика, художественная литература реализма не обладает избирательностью, она вбирает и переплетает все функциональные стили, и художественный эффект рождается из их столкновения. В литературе реализма реально существуют только индивидуальные авторские стили (в отличие от литературы классицизма и романтизма, где существовали замкнутые словесно-стилистические системы).

В докладе Е. И. Клименко (Ленинград) «Индивидуальный стиль Шелли» понятие «индивидуальный стиль» понимается ею как развивающееся от эпохи к эпохе и внутри литературных направлений одной эпохи. Шелли способствовал установлению (к 30-м годам) романтической поэтики и ее принятию читателем. При всей «индивидуальности» стиль Шелли остается в рамках романтизма, так как для направления характерны прежде всего не отдельные «приметы стиля», а цели и общие принципы отбора стилистических средств.

И. А. Жирмунская (Ленинград) выступила с докладом «Шиллер — переводчик Расина („Федра"). К вопросу о сопоставительной стилистике». Сопоставительный стилистический анализ — один из путей для различения языкового и индивидуально-литературного стилей. Принадлежность Расина и Шиллера к одному литературному направлению и их в общем равное мастерство делают анализ наиболее показательным. Изменение стилистической системы в переводе «Федры», будучи связано с национальными особенностями обоих языков, вместе с тем отражает эстетические воззрения Шиллера веймарского периода.

И. И. Балашов (Москва) свой доклад «Структура стихотворения Брентано „Лорелея" и не формальный анализ» полемически обращает против структурного и формального анализа поэтических произведений, как он проводится, например, в статье Р. Якобсона «Структура последнего стихотворения Х. Ботева» («Език и литература», 1961, 2). Анализ известного произведения Гейне, навеянного отчасти стихотворением Брентано, показывает, что поэт воспринимал и структуру и содержание стихотворения Брентано, однако не формально, а в нерасторжимом единстве целого.

Л. С. Гордон (Пермь) прочитал доклад «Борьба стилей во французской литературе XVIII в. как отражение противоречий французского Просвещения». Исследователи запрещенной литературы предреволюционной Франции воспринимают ее стилистику как абсолютное новаторство. Между тем анализ показывает, что уже ранее развивались черты языка и стиля, противостоящие классицистической традиции. Особенно ярко запечатлелись они в творчестве Дюмарсэ и Дюлорана. Стиль Руссо, обычно считающийся индивидуальным отклонением, исключением, на самом деле вписывается в эту демократическую традицию.

К. А. Долинин (Ленинград) выступил с докладом «Проблема стилизации». По мнению докладчика, стилизация в широком смысле вообще свойственна человеку как лингвистическое «приспособление» к среде («естественная форма стилизации»). То же «приспособление к среде» находим в разном виде и в художественной литературе. От стилизации в широком смысле слова надо отличать собственно стилизацию, которая имеет место тогда, когда самый стиль делается объектом искусства. Стилизация — это языковой аспект литературоведческой проблемы рассказчика. В литературе XIX—XX вв. любой субъект повествования, не тождественный автору, предполагает стилизацию. Намеренная стилизация возникает раньше, в литературе конца XVIII в. и особенно в эпоху романтизма.

Выступившие в прениях уделили много внимания понятию «стиля художественной литературы». Резкие возражения некоторых участников конференции вызвали положения доклада Е. Г. Эткинда. Б. Н. Головин подчеркнул, что данные Р. Г. Пиотровского, характеризующие незначительность расхождения между разными «стилями» по степени связанности элементов текста и предсказываемости последующего элемента, не опровергают существование стиля художественной литературы. Вообще энтропия разных систем характеризуется лишь незначительно отклоняющимися друг от друга цифрами. Р. А. Будагов выдвинул логические и исторические обоснования существования стиля художественной литературы.

С. Д. Берестнев (Калининград) отметил, что стиль — свойство всякой речи. У стиля есть количественные характеристики (преобладание тех или иных слов, частей речи и пр.) и качественные характеристики (структура словосочетания, сочетаемость слов и пр.). В художественной литературе функциональные стили выступают как материал; они стандартны, а индивидуальный стиль, «слог» — неповторим. С. Д. Берестнев высказался в пользу идеи о существовании общего стиля художественной литературы.

Методы сопоставительного стилевого исследования обсуждались В. Г. Гаком (Москва), который подчеркнул необходимость четкого разграничения нацио-

нального и индивидуального в стиле писателя. При отсутствии такого разграничения есть опасность усмотреть идейную подоплеку там, где имеется всего лишь общенациональная языковая техника (например, в шиллеровском переводе «Федры»).

Обсуждение вопроса о подготовке нового качества языка революционной поры в борьбе тенденций предреволюционной эпохи вызвал замечания Б. В. Горнунга (Москва), который, в частности, указал, что классицизм в своих истоках также обращался к народному языку. Б. В. Горнунг высказал некоторые соображения и по поводу понятия стилизации в художественной литературе.

Б. И. Ваксман (Кишинев) отметил удачную постановку в докладе Р. А. Будагова вопроса об индивидуальном и общем в языке писателя. В Румынии только сравнительно недавно под влиянием работ советских языковедов стали разграничивать язык художественной литературы и литературный язык. В молдавском языкознании не существует четкого разграничения языковых стилей. Б. И. Ваксман считает, что в первой половине XIX в. в Молдавии существовал единый стиль художественной литературы и публицистики; к концу века произошло размежевание стилей.

А. Б. Карлош (Черновицы) отметила важность вопросов, выдвинутых в выступлениях Р. А. Будагова. А. Б. Карлош обращает внимание на проблему роли «великих» и «малых» писателей в развитии литературного языка, она отметила также важность математических приемов анализа.

Ю. С. Степанов (Москва)

При Томском гос. пединституте организована **картотека топонимов Западной Сибири**. Организация этой картотеки создает базу для научной работы по различным вопросам истории, общего языкознания, русской диалектологии, исторической географии и этнографии, связанным с территорией Западной Сибири. К таким вопросам относятся, например: 1) история основания русских поселений в отдельных областях Западной Сибири; 2) определение границ расселения дорусского населения Западной Сибири; 3) древние передвижения народов на территории Западной Сибири по данным топонимики; 4) словообразовательные типы русских топонимов Западной Сибири; 5) соотношение типов географических названий и их ареалов с русскими диалектными границами в Западной Сибири; 6) вопросы написания и произношения русских топонимов нерусского происхождения; 7) типы хантыйских топонимов и ареалы их распространения; 8) топонимы самодийского происхождения; 9) тюркские топонимы Западной Сибири; 10) селькупские топонимы; 11) топонимы кетского происхождения; 12) географические названия палеосибирского происхождения; 13) мансийские топонимы; 14) особенности языков и диалектов дорусского населения по отражениям в географических названиях; 15) вопросы топонимической стратиграфии (субстрата и субсубстрата) и др.

В настоящее время, помимо двух штатных научных сотрудников, в работе картотеки активное участие принимают преподаватели-языковеды Томского пединститута, Томского университета и научные сотрудники Томского областного краеведческого музея. Значительную помощь работникам картотеки оказали студенты Томского пединститута и Томского университета. Картотека топонимов Западной Сибири уже насчитывает около 160 тысяч карточек, которые расставлены в прямом и обратном алфавитном порядке.

В ходе выписывания и предварительного изучения карточек выяснилось, что ареалы ряда топонимов выходят за пределы намеченной территории. Это вызвало необходимость расширить район исследования. В данный момент в картотеке имеется около 60 тысяч карточек с топонимами из Восточной Сибири и Европейской части СССР, Казахстана и Средней Азии.

Картотека топонимов Западной Сибири практически уже доказала целесообразность своего существования. Многие научные учреждения, вузы и отдельные лица неоднократно обращались в картотеку с различными вопросами о географических названиях. На основе материалов картотеки и дополнительных личных сборов написан ряд научных работ по кетской топонимике (А. П. Дульзон), хантыйской топонимике (Л. И. Калинина). Написана кандидатская диссертация Л. И. Калининой на тему «Хантыйские топонимы Сибири», готовятся диссертации: Э. Г. Беккер на тему «Селькупские топонимы», Г. П. Вуоно — «Топонимы Южного Приуралья», В. Н. Поповой — «Топонимы Северного Казахстана». По материалам картотеки топонимов многие студенты Томского пединститута и университета написали свои курсовые и дипломные работы.

А. И. Кузьмина (Томск)

SOMMAIRE

Articles: A propos de l'étude de l'état actuel et de l'évolution des langues nationales littéraires des peuples de l'URSS; S t. R o s p o n d (Wrocław). Perspectives pour l'évolution d'onomastique slave; I. K a z l a u s k a s (Vilnius). Sur le développement du système vocalique en baltique; **Discussions:** M. M. G u c h m a n (Moscou). La notion du système en synchronie et diachronie; A. A. U f i m c e v a (Moscou). Sur le système lexico-sémantique de la langue; R. B. L e e s (Urbana, EUA). Possibilités de vérification des thèses linguistiques; Sur l'atlas linguistique slave; **Matériaux et notices:** V. S. S o k o l o v a (Moscou). Sur quelques signaux délimitatifs des mots en français moderne; M. Y. B l o c h (Moscou). Sur la notion de construction encadrée de la phrase; M. D. B o g o l j u b o v (Léningrad). Sur l'origine de la construction encadrée en allemand moderne; L. V. B o n d a r k o, L. R. Z i n d e r (Léningrad). Caractéristique phonétique des différents types des combinaisons syntactiques en nivkh; **Consultations:** Y. K. L e k o m c e v (Moscou). Principes fondamentaux de glossematique; **De l'histoire de la linguistique:** A. Č i k o b a v a (Tbilisi). Sur les premiers textes écrits des langues ibero-caucasiques montagnards; **Matériaux publiés dans les périodiques étrangers:** A. H i l l (Austin, EUA). Sur la grammaticalité; N. C h o m s k y (Cambridge, EUA). Quelques remarques méthodologiques sur la grammaire générative; **Critique et bibliographie; Vie scientifique.**

CONTENTS

Articles: On the present state and development of the national literary languages in the USSR; S t. R o s p o n d (Wrocław). Trends in the evolution of Slavonic onomastics; I. K a z l a u s k a s (Vilnius). On the development of the Baltic vowel-system; **Discussions:** M. M. G u c h m a n (Moscow). The notion of system in synchrony and diachrony; A. A. U f i m c e v a (Moscow). On the lexico-semantic system of language; R. B. L e e s (Urbana, USA). On the testability of linguistic predicates; On the Slavonic linguistic atlas; **Materials and notes:** V. S. S o k o l o v a (Moscow). On some junctures in modern French; M. Y. B l o c h (Moscow). On the notion of the frame-construction of the sentence: M. D. B o g o l j u b o v (Leningrad). On the origin of the frame-construction in German; L. V. B o n d a r k o, L. R. Z i n d e r (Leningrad). The phonetic characteristics of different syntactic combination-types in the nivkh language; **Consultations:** Y. K. L e k o m c e v (Moscow). The basic principles of glossematics; **From the history of linguistics:** A. Č i k o b a v a (Tbilisi). On the first text-records in the mountain Ibero-Caucasian languages; **From foreign periodicals:** A. H i l l (Austin, USA). Grammaticality; N. C h o m s k y (Cambridge, USA). Some methodological remarks on generative grammar; **Critics and bibliography; Scientific life.**

ИСПРАВЛЕНИЯ

в «Передовой» статье в журнале «Вопросы языкознания», № 4, 1962 г.

Стр.	Строка сверху	Строка снизу	Напечатано	Следует читать
5	5	—	. . . усиливается подвижность и миграция населения, сильно расширяет . . .	. . . усиливается подвижность и миграция населения, что сильно расширяет . . .
7		12	грубокого	глубокого
7		7	принципами	принципам
8		11	эхону	эпоху